

СКОРИНА



Олег
Лойко



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Известный белорусский писатель Олег Лойко рассказывает о жизни и творчестве замечательного деятеля белорусской культуры, ученого, основателя книгопечатания в Белоруссии и Литве Франциска Скорины. В книге использованы архивные фотографии.

[Адаптировано для AlReader]



FB2 книгу сделал mefysto

-
- [Олег Лойко](#)
 -
 - [Introductio, или введение в книгу о многославном ученом муже Франциске Скорине, в котором очень кратко повествуется о затмении солнца в Полоцке, о конце света божьего и о великом веселии на земле Полоцкой.](#)
 - [«...Выкладом, пилностию и працею...», или день первый — глава, в которой рассказывается о полностью вероятных и полностью невероятных событиях, происшедших в типографии досточтимого Павла Северина на Старом Мясте в Чешской Праге 6 августа 1517 года...](#)
 - [Когда города становятся славными, или глава, в которой весьма правдиво повествуется о трех знаменитых городах земель близких и неблизких — о золотой Праге, мудром Кракове, веселой Падуе, а также о вековечном Полоцке — родном городе Франциска Скорины.](#)
 - [Человек-солнце, или весьма необычная глава третья, в которой повествуется о том, как судьбой Франциска Скорины интересовались знаменитейшие доктор Иоганн Фауст, великий мистр-чернокнижник пан Твардовский, шут короля Жигимонта Станислав Станьчик, а также глиняный человечек из Праги Голем и другие.](#)

- Вроцлава не минуть, или глава четвертая — не самая краткая, поскольку повествуется в ней о долгой дороге Франциска Скорины из великого чешского места Пражского в славное место Виленское, а также о том, что может и чего не может обминуть на своем пути человек.
- Не из корысти, а из радения, или глава пятая, в которой довольно подробно повествуется о первых радостях и огорчениях досточтимого ученого мужа Франциска Скорины в Вильне, о его волнующей поездке в родной город Полоцк, а также о печатании в славном месте Виленском «Малой подорожной книжки» и о немалых хлопотах как вокруг нее, так и вокруг издания «Деяний апостолов», которым лишний раз было доказано, что не бывает пророков в своих монастырях и многое другое.
- Пожар в Вильне, или глава шестая, в которой с превеликой скорбью повествуется о Пламени Втором, настигшем многосведущего мужа в науках Франциска Скорину в Вильне, и о лютой жестокости неумолимого мора, что отнял у него любимую Маргариту и незабвенного брата Ивана, а также о менее достойных печали приключениях того же самого Франтишека Скорины в Кёнигсберге.
- Познаньская эпопея, или глава седьмая, последняя и самая невеселая, повествующая о сто девятнадцатом дне и сто двадцатой ночи в познаньской тюрьме Франтишека Скорины — секретаря и придворного лекаря виленского епископа Яна, а также о том, как в тюрьме вели себя давние знакомцы Великого Печатника доктор Фауст, пан Твардовский, шут короля Жигимонта Станислав Станьчик, человечек из глины Голем и другие.
- Post scriptum, или тройная заключительная глава книги о многодостоинном ученом муже Франциске Скорине, в которой во всех возможных подробностях словами finis[173] рассказывается не только о конце жизни Великого Печатника, но и о всех его друзьях и недругах, с судьбой его связанных, и совсем ничего не рассказывается о других и другом.
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- ИЛЛЮСТРАЦИИ
 -
 -
 -



- [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [INFO](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)

- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)

- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)

- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)

- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)

- [167](#)
 - [168](#)
 - [169](#)
 - [170](#)
 - [171](#)
 - [172](#)
 - [173](#)
 - [174](#)
 - [175](#)
 - [176](#)
 - [177](#)
 - [178](#)
 - [179](#)
 - [180](#)
 - [181](#)
 - [182](#)
 - [183](#)
 - [184](#)
 - [185](#)
 - [186](#)
-

ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 2

(693)

Олег Лойко

СКОРИНА



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

*

Авторизованный перевод с белорусского
Геннадия Бубнова

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

В. КОВАЛЕНКО, член-корреспондент АН БССР

Г. БОГАТОВА, доктор филологических наук

В. КОЛЕСНИК, профессор, кандидат филологических наук

© Издательство «Молодая гвардия», 1989 г.

Introductio, или введение в книгу о многославном ученом муже Франциске Скорине, в котором очень кратко повествуется о затмении солнца в Полоцке, о конце света божьего и о великом веселии на земле Полоцкой.

С точностью неизвестно — в 1490 или в 1486 году родился Франтишек. Но так или иначе, а родился он накануне или даже в самый год события, которое явилось для его родителей, равно как для всех полочан, черным предвестьем конца, ибо событием этим было затмение солнца.

Тогда никто не любовался им через закопченное стеклышко, дабы отчетливей видеть небесное чудо. Тогда человек, как и попросту все живое, остро, панически ошеломленно реагировал на затмение. Затмение тогда было полным, и, как всегда при таком затмении, кони одичало ржали, коровы обреченно мычали, овцы испуганно блеяли, а собаки в отчаянье выли, и все птицы земные смолкли, рыбы из-под каждой коряги, из крутых водоворотов, из глубин и с отмелей Двины со всеми ее близкими и неблизкими от городища Полоцкого притоками — из Полоты и Уллы, Ушачи и Оболи, — из всех недалних и дальних от Полоцка озер — из Чарсвят, Язны, Умильно, Рясны, Вечелья, Усомниц, Вировли, Нещедры — вдруг выбились-выпрыгнули наружу — понад гладью заводей и стремнин, — ибо все живое рвалось-тянулось к солнцу, которое угасало, все живое как бы внезапно, в одно мгновенье, уразумело, что без *света*^[1] нельзя. И было то естественной мудростью немудрой живой природы. Только ни конь, ни собака, ни плотица не связывали затмения солнца с гибелью мира и мраком небытия, как связывали его с ними в своих представлениях тогдашние люди.

Отец Франтишека Скорины, как глава семьи, хозяин, был в тех обстоятельствах спокойнее, молчаливее. Жена его, мать его детей, — и потому, что жена, и потому, что мать, — сдержанной, как ее муж, быть не могла. Может, в то время как раз она и рожала Франтишека, может, уже и родила. Но и в том, и в другом случае испуганно, как листва на осине,

дрожало ее сердце. Когда еще носила его, осторожно ступая, чувствуя всем телом упругие удары его разгулявшихся ножек, разве не мелькали перед ее глазами призраки мертворожденных младенцев и мертвых рожениц? А когда пришло рожать, то, может, бежала в сполохе затмения из подворья на замок, падала на бревна, которыми был вымощен их купеческий двор, или на узкой улочке-мостовой, в которую упирались их резные ворота. Через них опа, может, в страхе и выскакивала — подальше от скорининских строений с их внезапно потемневшими щелями-окнами. А может, она засветло еще успела на соседский посад — на Верхний замок, на большой детинец, куда при каждой напасти сбегались полочане, там ища спасения от напасти, там верша свои городские веча. Может, голосила там на коленях, веря, что это — уже *конец*, и поднимала руки в почерневшее небо, и заслоняла ими глаза свои, будто надеясь защитить от небес и того, кого в своем чреве имела...

Сам Франтишек всего этого не знает, ибо человеку, пока нет его на свете, неведомо, что он будет, как неведомо поначалу и то, что он уже есть, что есть у него отец и мать, которые ждали его, есть земля и солнце, где он родился. Но все же Франтишек немало чувствует из того, что происходило *тогда* в Полоцке. Почему, по какой причине — знать не знает; яйцо ведь курицы не помнит, сосунок сосунком себя не помнит. Только он как будто бы помнит себя младенцем. И сейчас он думает: не потому ли помнит, что, слепя глаза над Полоцкой летописью, всегда с особой жадностью читал о гибели солнца:

«Изьгибе солнце и сокры луча своя от земля... и зъезды явишася яко в ноци», «в солнци аки гвоздие черно...» «солнце потемнело, и страх был великий на земли Руской...», «и видели двѣ звездѣ в той же час на заход от слопца, одна бѣла, а другая черлена. А всего того могло быти польтори години, а потом темность одышла проч...».

Как долго темень не сходила с полоцкого неба над матерью Франтишека Скорины, доподлинно неизвестно. Однако о том, что время всей той темноты, сама т а темнота были ужасом матери Франтишека Скорины, минутами или часами ее обмиранья и захлебыванья страхом, легко догадаться. И горели или не горели во мраке полоцкого неба две звезды — одна белая, другая красная — как две звезды надежды, спасения, сострадания, мы тоже не знаем. Знаем только наверное, что как долго ни держалось *тогда* затмение, оно кончилось. Мать Франтишека Скорины перетерпела его, переждала. Но, переждав, как всякая средневековая полочанка, до конца дней своих о нем уже как о *знамении* думала: «Как же плыть теперь ее сынам на стругах купеческих к Готскому берегу? Как

путем Ольгердовым в сторону Вильны подаваться? Как вообще в любой край им отныне выбраться — близкий или неблизкий, знаемый или незнаемый, слыханный или неслыханный?..»

Но отошло, как нашло, затмение, но ушел, как пришел, год 1492-й, а свет не кончался, и оставались жить на этом свете мать и отец Скориничи, и продолжали подрастать их дети — братья Иван и Франтишек, и стоял по-прежнему под солнцем город Полоцк, и лежала вокруг земля Полоцкая. Ничего не изменилось, и вместе с тем немало изменилось и многое еще изменится на этой земле.

Велик был страх на земле Полоцкой, но и великое веселье охватило теперь землю Полоцкую. И, может, было оно еще большим как раз от него — от страха недавнего, что теменью с неба обрушивался на людей. Знал или не знал о той безбрежной радости маленький Франтишек, но отныне и мысли его, и чувства уже не только сливались с памятью страха, и страха прежде всего божьего, в котором вообще пребывал человек средневековья, но и полнились отзвуком повсеместного ликования, что свет устоял-таки, не кончился.

О чем говорили в той радости простые люди в городах и весях, на торжищах и в харчевнях. О вере говорили простые люди сплошь по всей Русской земле, о том толковали в своем веселье, что вот конца света и не наступило, а «святых отец писания ложна суть и подобает сих писаний огнем сжещи». Огнем жгли средневекового человека отцы, огню готов был предать обман святых отцов этот простой человек средневековья.

И наверняка ведь слышал голоса тех городов и весей, торжищ и харчевен и сын полоцкого купца Лукаша Скорины Франтишек Скорина. Для него, однако, колокола Софии и Сельца, Бельчиц и Острова, святой Троицы и Борисоглебского монастыря, костела бернардинцев с торжественной надписью на нем «Врата Небес» звучали звонче ярмарочных голосов, авторитетней. Франтишек остался при святом писании, что означало при книжной мудрости. Иной мудрости в его эпоху, в его Полоцке не было. И хранилась она в голубнице^[2] Софии, в сводчатых подвалах Святотроицкой церкви, земли которой с 1501 года были переданы бернардинскому костелу, дав стенам Борисоглебского монастыря, что вскоре стал базилианским. София дала ему грамоту русинскую; бернардинцы, совершавшие службу по обряду греко-православному, но на языке латинском, могли научить его грамоте латинской. Пусть у православных — светских и духовных — феодалов передача бернардинцам земель Святотроицкой церкви польским королем и великим князем литовским Александром и вызвала резкое недовольство, но в самом

Полоцке и бояре, и мещане, и купцы, и люд ремесленный тогда еще не половинились и не троились враждебно, воинственно на православных, бернардинцев, базилиан. И это была та благодатная почва, которая обеспечивала молодому сыну купеческому Франтишеку широту миропонимания, подняла его над вероисповедными распрями, помогла ему осознать первичность своего полочанства, своей принадлежности прежде Полоцку, а затем уже церкви или костелу, той или другой вере. Впрочем, и в конце для Франциска первичной осталась книжная мудрость, вне церкви и костела, но служащая поспольству^[3], всему полоцкому люду, но славящая материнский язык. «Кто в этом языке есть, будет рожден», тому он, Франциск Скорина, непосредственно и адресует книжную мудрость, книгу. Поклон же и благодаренье многолюдному, мудрому в своей веротерпимости Полоцку, подготовившему на это великое подвижничество сына своего Франциска Скорину.

**«...Выкладом, пилностию и працею...», или
день первый — глава, в которой
рассказывается о полностью вероятных и
полностью невероятных событиях,
происшедших в типографии досточтимого
Павла Северина на Старом Мясте в
Чешской Праге 6 августа 1517 года...**

*...Сладок мед из сотов пчелиных и сахар добр, но
добрее и того и другого книжный разум...*

Кирилл Туровский^[4]

Что день этот исторический, он знал, понимал. И главное — понимал, ибо знание еще не понимание: можно много чего знать, а что есть что — совсем не разуметь. Да и само это понимание иногда кажущееся — приблизительное, ограниченное, противоречивое, а то и вовсе странное — не только в своей фантастичности, но и в путанности. А тут понимание того, что почти целую неделю совершалось, было полным и до основания осознанным, и потому не без гордости он перечитывал строки своего послесловия. И в низковатой, с узкими, хотя и достаточно вытянутыми, оконцами типографии досточтимого Павла Северина явственно слышалось:

— Скончылася Псалтыр сия з божию помощью повѣлѣнием и працею избранного мужа в лѣкарских науках доктора Франциска, Скорина сына с Полоцька, у старом месте Празском лѣта по божьем нарожению тысещного пятьсотого и семогонадедеть^[5] месеца августа, дѣня шестаго...

«Дѣня шестаго», — еще раз, подняв высоко над собой, словно в самое небо, листы с отпечатанным «Послесловием», торжественно, с ударением на слове «шестаго», прочел — точно весь мир оповещал — Скорина. И шестое здесь у него не случайно шестое. Будучи христианином, Скорина верил в бога, верил в святое писание, в Библию с ее заглавным мифом о сотворении мира: в первый день бог разделил свет и тьму; во второй —

создал небо и воду; в третий — землю, травы, деревья; в пятый — рыб, птиц и гадов и в шестой — зверей, Адама и Еву. И был этот шестой день днем творения человека, разума его и рук, а значит, и всего того, что они, разум и руки человеческие, создавать могут, как бы дела творца своего оправдывая, как бы уподобляясь ему. А ведь и впрямь, если бог сотворил человека по образцу своему, то какая нужда у него отторгать от себя человека и дела его? Почему человек не может в делах своих узреть себя если и не под стать творцу, то хотя бы в тени его тенью его?

Только не тенью бога стоял Франциск Скорина посреди типографии досточтимого Павла Северина с поднятым над собой первым оттиском, остро пахнущим свежеею краскою, и сам этот запах пьянил Скорину, он жадно вдыхал его полной грудью, и сердце в ней билось еще взволнованней: «Шестаго!»

Скорина запомнит этот день своей жизни навсегда, потому что станет шестое августа славным зачином в исполнении его замысла, его задумы. Его мечта, что он осуществить намеревался, на глазах обретала плоть реальности, и вот уже то, что вчера еще было лишь мыслью, теперь у него в руках. А если оно у него в руках, то, значит, может быть передано и в другие руки — для научения: для наставления в поступках добрых и благих, богу и человеку угодных, и для отклонения от помыслов негодных и разбойных. Об этом он прежде всего и написал в своем первом предисловии к Псалтыри. А еще о том, что Псалтырь есть не что иное, как музыкальный инструмент, похожий на полоцкие гусли. Только у полоцких гуслей побольше струн, а псалтырь-гусли — десятиструнные, как бы специально приспособленные славить десять божьих заповедей, врученных всевышним на горе Синай. «Пойте богу хвалу на псалтыри и гуслих», — завещал пророк, получивший заповеди. Иначе говоря, восхвалите бога словом и звуком, восславьте в песнях и гимнах. И если не ваша судьба — эти струны, мелодия, пенье, то уж, наверное, ваша планида — слово, оно — ведь исток и основа песни, запева. А вы еще спрашиваете, почему я Псалтырь избрал для первопечатания, — вовсе, кажется, не видите, что не книгу, а гусли я держу над собою, вовсе, кажется, не слышите, что поют эти гусли, а не безмолвствуют?..

Где-то далеко-далеко на севере, в том городе, название которого в «Послесловии» к Псалтыри стало рядом с названием Златой Праги, многострунные гусли звенели. Шестое августа! К шестому августа уже и на северных берегах Западной Двины дожиналось жито, на денники^[6] снопы свозились, и песни на токах заводили веселые цепы. И только в типографии досточтимого Павла Северина никаких особенных звуков

слышно не было, хотя и носил печатный первенец Франциска Скорины звонкое гуслево имя. А впрочем... Ничто не мешало Франциску Скорине и его челядникам, его помощникам в трудном печатном деле радоваться своему первенцу и шутить. Подручные, возможно, и не догадывались, как много значила для их мастера Псалтырь, как тяжело доставалась ему некогда первая наука по рукописной Псалтыри — в родимой Софийке-Софии, в кельях, специально для того отведенных...

Каких же только на купеческих подворьях, на мельницах и в закромах, на воскобойнях и сукновальнях, в клетях и кладовых, в ятках и корчмах не было товаров, полоцкими торговыми людьми на Готский берег и в Новгород, Псков, Москву вывозимых, и каких же там не было товаров, ими с Готского берега, из Новгорода, Пскова и Москвы привозимых! Ведь не одну лишь Западную Двину считали купцы-полочане своей рекой, но и Днепр и Волгу, что в разные концы света растекались из близкого к Полоцку леса. Жито, пшеница, зола, которыми они торговали в Риге и вообще в Ганзе^[7], лежали в каморах лаштами^[8]; воск грудился камнями-берковесками; мука хранилась мешками; шкурки соболя, куницы, хоря, горностая, белки, выдры держались сороками; масло стояло ведрами, смола — бочками; дубовые клепки высились штабелями; громоздились тюки пеньки и хмеля. Хватало вдосталь и того, что полоцкие купцы привозили со всех четырех стран света: их строения и пристройки были попросту завалены поставами одамашка^[9], бархата, атласа, сукна; фунтами сахара, имбиря, гвоздики, мускатного цвета, шафрана; тысячами бутылок и бочками мальвазийского вина и немецкого пива, заморских уксуса и масла; корзинами инжира и изюма; дюжинами топоров и ножей. Много чего из Полоцка вывозили и многое в Полоцк привозили полоцкие купцы, а вот книгами купцы полоцкие похвалиться не могли. Были они столь дорогими, что даже отец Франтишека Скорины вряд ли купил бы книгу высокочтимую. Правда, при желании одну, возможно, и купил бы. Но разве сполна утолить Франтишекову жажду к чтению ему было под силу?

А потому и бегал младший сын Лукаша Скорины на Верхний замок, едва только освоил русскую грамоту, бегал, постигнув со временем и латынь; на Верхнем замке находил он то, чего не было на Нижнем, не было ни в одном из пяти других посадов старинного Полоцка, не было в стенах родительского дома.

Да, там, дома, на берегах Двины и Полоты, начинал он брать и брал, чтоб отдавать, ибо есть на свете только две великие науки: умение брать и умение отдавать, брать душой и отдавать душой. И вот как раз ради того,

чтоб было что отдавать, он и покидал свой Полоцк, о котором сейчас думает, — покидал ради Кракова, ради Падуи, теперь вот — ради Праги, покидал, как бы идучи к самому себе нынешнему, стоящему тут, в Праге, возле черного печатного станка. Все в его прошлом словно было направлено сюда и только сюда — в Прагу, как будто воплотилась в нем сама целеустремленность. И настоящая радость охватывает его в этот миг полноты духовной. Но в то же время и страшно тяжела взваленная им на себя ноша. И он облегчает ее, он разгружает свою душу тем, что отдает книжную мудрость люду посполитому, полочанам, отчине своей, как назовет он в предисловиях свою родину, говоря о «любви отчины».

И сейчас он думает не о своем обогащении, не о том, что будет он иметь от продажи Псалтыри, — он думает о людях. Духовно богатый человек не может не поделиться своим богатством с другими, ибо только тогда человек ничем не делится, когда ничего за душой не имеет. Имея, нельзя не делиться; имея, должен делиться, обязан жертвовать, и жертвовать прежде всего собой. Вот это и есть дух духа его, соль соли земной, свет света дневного, солнечного.

Сейчас он в Полоцке из хлопчиков-подростков — таких, каким был сам когда-то, — никого не знает. Но это перво-наперво ради них он тут, в древней чешской Праге, дает свое «повѣлѣние» тиснуть-печатать Псалтырь — тиснуть-печатать в типографии досточтимого Павла Северина велит он этим вот друзьям подручным, что рука об руку с ним, что задерживаются с ним еще и после долгого августовского дня — сумерничают в пражском полумраке возле усталого, как сами они, печатного пресса. В их руки въелась черная типографская краска — не отмывается. Не отмывается она и с его рук. Но если души у людей, замыслы у них светлы, то и руки, хотя и запачканные, разве у них не чисты?! И временный хозяин типографии славного Павла Северина доволен, что краска, которая не отмывается с его рук и рук его челядников, — тоже ведь знак их содружества, их согласия. Здесь он для них «повелитель»? Не только. Он в первую очередь — мастер, и как «повѣлѣнием» его, так и «працею»^[10] его подвигается дело. И правильно, что не преминул он об этом сказать в послесловии, которое только что здесь писал. Оно — первое, а значит, и самое важное, как и первое предисловие, как и в целом первая отпечатанная Псалтырь. Потому-то поистине историческим и стал этот день! Потому-то и надо было непременно отметить его белым камнем, утвердить как дату эпохальную, незабываемую, связанную с его именем, с его Полоцком. Да разве только с Полоцком?! И с Вильной, и с Киевом, и с Новгородом, Москвой, Псковом, Львовом — со всей необъятной землей, где понимают старославянский,

который Скорина называет словенским языком, а значит, прочтут и поймут Псалтырь везде, где живет и звучит слово, которое он печатает «простым людям», объясняя им не всегда понятное слово книжное старославянское.

...Был он тогда еще мальцом. И еще меньшим казался он сам себе возле Софеи, как называли на свой лад полочане Софийский собор. Не однажды он стоял под сенью ее величия, высоты, каменной красоты. Софея была за ним и над ним как мать, и, пристраиваясь у розовой, как заря, стены, выложенной из плинфы, он смотрел и смотрел на тот берег Двины, что простиралась и плыла в долине ровно как вдоль тяжелого, приземистого основания, так и мимо всего фасада Софеи, так и под его босыми, утопающими в мураве ногами. Выше по своему течению Двина омывала, словно зеленое свое сердце, остров, на котором виднелся Островской посад Полоцка с монастырем Иоанна Предтечи. За Островским посадом на том берегу реки, Скоринич знал, в трех верстах находились Бельчицы — селенье с летними хоромами бывших полоцких князей, с монастырем Пречистой Богородицы и святых мучеников Бориса и Глеба. Переводил Франтишек свой жадный взор и направо — за струистую, более узкую, чем Двина, Полоту, давшую название его родному городу. Он любил эти городские стены Заполотья с их четырьмя башнями-стражницами. И всегда над Зополотьем золотился крест над церковью, а подворья там были такими же, что и в посаде, в котором он сам жил. Но с некоторых пор Франтишек все чаще и чаще ловил себя на мысли, что все уже здесь, в Полоцке, он понял, постиг. И это, как говорила его мать, от земли не успеет отрасти. Ведь совсем еще недавно, зачарованный, следил он за руками необыкновенных полоцких мастеров-ремесленников, а были среди них гончары и скорняки, портные и сапожники, шорники и седельники, сыромятники и кожевники, а также кузнецы, слесари, каменщики, плотники, столяры и скоморохи. Он любил удушливый запах кож, и особенно сыромятный — от нового седла, конской сбруи... Влекли его и резкий дух строительной извести, и аромат стружек из-под плотницкого топора или столярного рубанка. Не говоря уже о скоморошьях игрищах, и о том, как пялился он глазами на всякое подворье, привлекавшее хоть чем-нибудь его внимание, куплей или продажей, к примеру, куплей самым известным в Полоцке боярином Иваном Зиновьевичем Корсаком и продажей самой обыкновенной посадской мещанкой Лайковой Синцовой двора напротив церкви святой Пятницы — между подворьями Тишки и Федосовского. Или опять же, раньше Франтишека не удержать было на отцовском подворье, до позднего вечера носился, ладно уж, если на Уроде или на Просмужице и Лучне, близко, возле монастыря Николая, а ведь мог,

того гляди, и до Савиноного ручья добраться, даже до самой Чарсвятки, сливающейся с Полотой в целых четырех верстах от двора в Чарсвятках.

О, мать стала диву теперь даваться: и что это с хлопцем ее случилось?! Только к Софее, и никуда больше. А он действительно: переступал порог монастырских громадин и забывал о солнце, о синеве широкого над Двиною, над Задвиньем и Заполотьем неба. Однако и за монастырскими стенами он жмурился — жмурился от того же, от чего и сейчас, — от света, излучаемого буквами, от их таинственности, высшей, божественной предназначенности. Что он знал тогда? Ничего не знал! Не знал даже, что красивую вязь кириллицы дали Руси Кирилл и Мефодий^[11], и замирал перед каждой книгой в самом простом, а не пышном серебряном или золоченом окладе, словно перед обликом всесвятейшего и всевластнейшего бога. А сейчас таинство букв у него в руках, и он будто крестный отец их, он смотрит на эти буквы свои, что легли на белую бумагу и ее водяные знаки, как, видимо, сам бог-творец взирал на твердь-сушу земную, на океан-воду земную. Эти буквы свои он видел еще, когда их не было, они снились ему, когда их не было! И хоть он не Кирилл и не Мефодий, но как бы заново все создавал, наделяя абрисом, обликом, образом каждую буквицу: и эту вот высоковатую, стройную, как полоцкая сосенка в бору; и эту — полувоздушную, словно крона у березы-полочанки; и эту — копыстную, как наддвинский можжевельник, и, как тот же можжевельник, с боков закругленную в нижней части, словно заземленную в твердом грунте. Пусть не Полоцкая летопись в его руках, но все же как напоминают скорининские письма буквы из Полоцкой' летописи! Душа Скоринича поет, душа его радуется: буквы в печатном тексте тоже вроде бы немного клонятся вправо, как и в Полоцкой летописи, клонятся, словно человек при ходьбе, в походе, в великом движении вперед!..

«Красиво, действительно красиво!» — думает Скорина. А как же иначе! Он и мысли не допускает, что могло быть иначе. Ведь не только же ради знаний обошел он университеты — пол-Европы, не только ради постижения таинств ремесла посещал он типографии едва ли не всех германских земель. Учась ремеслу, он учился красоте. А красоты его душа не может не взыскивать — красотой она еще дома возвращена, в Полоцке.

И тут он вспоминает, как в своей домашней, Полоцкой летописи читал о своих же далеких предках: «Придохом в немци, и видехом в храмах многи службы творяща, а красоты не видехом *никакое яже*». Потому и не латинскую веру тогда избрали, а ту, что показалась более красивой, — византийскую, греко-православную с ее литургией, с полными солнечного света иконами, с посверком жемчуга на ризах и клобуках, с

головокружительным запахом раньше не виданных на Руси кадил.

В нынешней же Германии он, наследник своих предков, нашел для себя то, за чем сегодня в осажденный турками-османами Царьград ходить и не подумаешь. О страна многославных и многочисимых Иоганна Гутенберга^[12] и Альбрехта Дюрера^[13]! Первые увиденные Скориной буквы были его — Иоганна. И это же твои гравюры, Альбрехт, — от мятежного Апокалипсиса до спокойных, словно живых, изображений матери и отца и выразительных твоих автопортретов — пленяли его на шумных базарах-ярмарках Виттенберга, Аугсбурга, Нюрнберга. Часами Скорина простаивал перед прилавками, за которыми бойкие перекупщики теми картинами торговали. Дюреровский трехликий бог, дюреровская симметричность линий, узоров из стилизованных листьев и цветов, дюреровская символика вещей! Скорина, однажды их увидев, навсегда запечатлел в душе и в памяти как мастерство над мастерством, красоту над красотой. И разве он, Скорика, без устали не повторяет своим помощникам—челядникам наставление, вычитанное им тоже где-то в Германии на одном гостеприимном постоялом дворе: «Если ты ценишь выгоду, тогда трудись без мастерства, в противном же случае — без выгоды».

Ведь и впрямь, только ли для удобства перед Вильной, перед Краковом мать заказывала ему в дорогу чеботы, чтоб непременно с подошвой самой твердой, с каблуком самым высоким да еще чтоб со швом поверху. Сама же она свои мягкие домашние поршни каким только швом *не* вышивала — «веревочкой», «гусью», «назад иглою»! По старинному полоцкому обычаю, уходящему в незапамятные времена, мать называла этот рисунок на обуви мерей...

Вспоминает Франтишек, что было в их доме. Нет, не одни только шершавые тупаки для выделывания кож, с которыми будто бы срослись руки его отца, руки отцовских родителей. Скорняжный семейный промысел и дал им фамилию. Но разве единственно острые и тупые шилья, иглы, ножницы заполняли их подворье, чистую половину дома?..

В доме у них всегда было как в праздник. Да только ли у них — в любой сотне, в любом конце^[14] любого посада полоцкого чувствовалась праздничность. Он сейчас и не может сказать себе определенно, чего же у матери по комнатам вообще было больше: рисованных картинок и узоров или медных и серебряных изделий...

Малевали полочане на всем: и на обитых тканью степях, и на пергаментной оболони, которой на ночь закрывали окна, на столах с кружевной резьбой, на скамьях и сундуках, на изразцах отделочных. А

полоцкие чеканка, инкрустация! Ими славились городские мастера, как славились зеркальной шлифовкой, серебрением непревзойденные полировщики, позолотчики. Все это давало хороший заработок и множило достояние Полоцка. А разве не бывал Франтишек на подворьях и в домах своих более богатых одноместичей, не ловил хотя бы краем глаза в створе ворот или чуть приоткрытых дверей в каморах Корсаковичей, Телпничей, Яцкевичей, Селяв изгибы крыл не виданных им птиц на позеленевших от патины плитках, извивы на тех же плитках стеблистых заморских цветов, изогнутые шеи лебедей и закрученные хвосты собакоголовых людей-нелюдей...

Прежде чем увидеть в городах Германии, Италии, он увидел это дома, в Полоцке: как местные мастера делали золотые отливки по восковым моделям, как занимались мелким-литьем, или, используя разборные формы из камня, как, словно чудодеи, сканили, зернили, филигранили, гравировали, являя взору покупателя, и здешнего и заморского, пластинчатые, раздающиеся посередке перстни, лироподобные и прямоугольные пряжки, витые браслеты, а также напоминающие солнечные лучи стила-писала и новенькие, блестящие, словно звезды, защелки для книжных переплетов. Сюда бы руки полоцких мастеров, их бы умение сюда — в Прагу! Но если их навык у него в памяти, их умелость у него в душе, то и желанная красота осенит его буквы, рождаемые тут, как и все его дело, творимое тут.

Красота его букв перед ним — такая близкая, до каждой изгибинки и кудеринки знакомая. Но от того, что Скорина знает каждую букровку в свежем оттиске заключительной части Псалтыри, их черные абрисы на белизне бумаги не перестают для него быть звездами в темном небе — ослепительно яркими и словно святыми, словно окруженными божественным нимбом. Но ведь божественную книгу они готовят «напред ко чти и к похвалѣ богу в троици единому и пречистой его матери Марии, и всем небесным чином и святым божьим». Так в его предисловии к Псалтыри написано. Как на святую книгу и смотрит на свою Псалтырь Скорина.

Прежде всего Франциска, известно, заботит бог. Он ведь человек, который верит в бога, как в начало всего сущего на свете, убежден во всеведенье бога и в полной зависимости человеческой судьбы на земле от божьего промысла. И не дай бог, если кто-то заподозрит, что он, Скорина, печатает свои книги, не о боге перво-наперво думая, не богу перво-наперво сердцем принадлежа, а чему-то другому, кому-то другому. Иное дело, что не только в похвалу творцу он их печатает. Богу — богово: первый поклон,

первая молитва, первая присяга. Это — закон. Но, кроме неба, есть и земля, на земле есть люди, и потому «к пожитку посполитого доброго» он переводит и печатает свои книги. Скорина глазами ищет в предисловии к Псалтыри строки, где его рукой написано об этом: «повѣлел есми Псалтырю тиснути рускыми словами а словенским языком... к пожитку посполитого доброго, наиболее с тое причины, иже мя милостивый бог с того языка на свет пустил».

«С тое причины...» В типографии тем временем сумерки сгустились, и слова перед взором Скорины далее теряются, пропадают — он читает их больше по памяти, нежели по бумаге.

«С тое причины...» Если бы можно было так вот сразу, в одно мгновение, мыслью охватить все те причины!

...Когда же, однако, завязывалось это, как почка под цвет, — на яблоко красное, на маковку, полную мака, на одуванчик пушистый, который сдует однажды безудержный ветер? Возможно, над Камнем Борисовым: от Десны — миля, от Полоцка — миль семь, куда он прибегал, от отца в дороге отлучаясь и словно замаливая перед отцом свою провинность просьбой самого святого Бориса: «Вспоможи, господи, раба своего Бориса». Вроде бы юродствуя, скоморошничая: «Вспоможи, господи, раба своего Франтишека, сына Луки», — шевелил губами хлопчик.

Буквы на огромном валуне зеленились плесенью — большие и не такие искусные, как из-под рук летописца на пергаментях.

«Хоть заплесневелые, да вечные! — думал малец. — А что же вечного после меня останется?..»

Цену пенязю-деньге сын Луки Скоринича узнал рано. Никогда, однако, он не жадничал, не скопидомничал — не грел ее за пазухой, в узелки не засовывал, по закуткам не прятал. Но будто бы врожденной оказалась у него та жадность, с которой он глядел на один из памятных ему пенязей, дивился ему, как маленькому солнышку времен забытых, давних, запечатленных на его кружочке то зигзагами письмен, то подобиями лиц. Он теперь и не помнит, что его на таких монетах больше привлекало: таинственные буквы или профили неведомых ему святых, королей, цесаревичей. Ровесники его, он помнит, не однажды находили, копаясь в завалах подворий, то печатки, то амулеты. Он обычно прочитывал надписи на них: «Свя-а-та-я Го-о-фи-я», «Свя-а-то-ой Георгий». Но вот одну, как ни силился, разобрать не мог: «И...за...с...ос!» Трудно давалось ему это чтение, но еще труднее было совладать со своими невеселыми мыслями: «Королем он не родился. И ждет его безлика вечность, потому что не лягут черты его лица на пепязи вечные!..»

Да и не в пенязях дело, ибо не у кого-нибудь другого из ровесников-однолеток, а именно у него начались видения. От книг, что ли? Ни отцу, ни матери он об этом не говорил. Может, если бы хотел в монастырь, то сказал, бы. Но его влечет не келья, хотя книги-то как раз там.

Первое видение явилось ему в Софее. Все началось с того, что голос приезжего архиерея показался ему голосом отца: «Добро убо, братье, и зѣло полезно». Так повел свою проповедь архиерей, а Франтишек стал посматривать на отца, с которым пришел на обедню, и диву давался, почему отцовские уста сжаты, а голос его парит под белыми сводами собора? Поначалу Франтишек посматривал только на отца, а потом уже то на отца, то на архиерея, и вскоре не знал, где отец, а где архиерей, и только слышал: «Добро убо, братье, и зѣло полезно разумевати нам божественных писаний учение...»

Понимать, однако, было не очень просто. Но чем сложнее казалось Франтишеку что-либо, тем сильнее он жаждал понять непонятное. Архиерея Франтишек понимал. И думал: как хорошо, что божественных писаний учение душу целомудренной делает, сердце в стремленье к добру упорством вооружает, мысль благодарного человека на небеса возносит, славу его творит и богатство, все мирские печали житейские прочь удаляет. Все это воспринималось Франтишеком словно предначертание, словно данным богом самим наказ непосредственно ему.

Архиерей был в возрасте отца Франтишека и считался чрезвычайно ученым мужем.

— Того ради молю вы, потщитесь прилежно ночи-тати святыя книги... Сладко бо медвеный сот и добро сахар, обоего же добрѣе книгий разум: сия убо суть скровища вѣчныя жизни...

Что такое сахар, Франтишек знал, и что такое «книгий разум» — тоже. К этим сокровищам вечной жизни — о, дай только, боже! — он будет иметь касательство. Но пока что он в толк себе взять не мог, почему это вдруг перед его глазами все как будто исчезло и осталось одно только ясное видение, похожее и на отца, и на архиерея, — трепетное, веселое, многоцветное на белом фоне всей огромной стены перед ним и высотой аж до сводчатого потолка... То ли от чрезмерного волнения, вызванного мудрой проповедью архиерея, то ли от удушливости каминой Франтишек тогда впервые в жизни обомлел.

Видения особенно охотно посещали его по ночам или под утро, когда он уже не спал, а, с вечера начитавшись, понапрасну силился додремать еще хотя бы минутку. И тогда что-то в белом, казалось ему, начинало вдруг маячить возле красного угла, или что-то в ярко-красном, обрамленное

сверкающими лучами, или что-то с черными, пронзительными глазами, хвостатое, рогатое, шерстью покрытое. Что-то, а точнее, кто-то в белом, чудилось ему — Адам. Адама в раю он всегда представлял в белом. А что-то черное тут же бросало его с головой под постилку. Он даже в мыслях боялся назвать это что-то черное. Сатана, бес, дьявол...

Необычным видением пришла к нему однажды сама его родная мать. Хотя нет, не мать. Мать в святом образе, и была то его родительница или сама святая Ефросинья, до сих пор Франтишек определенно сказать не может. Но и отец в семье, и соседи с их конца — Франтишек слышал не однажды — говорили, что его мать — вылитая Ефросинья и что каждый, кто увидит фреску в Сельцовской церковке Святого Спаса, это подтвердит. До Сельца от их дома было дальше, чем до Великого посада — до Софеи. Софея была соборной церковью, куда еще с доефросиньиных времен сходились полочане. Поэтому Франтишек немного значения придавал разговорам о фресках в Сельце, тем более, что они ведь не книги, их не почитаешь. Но был день в его жизни, когда он впервые прочел «Житие Ефросиньи Полоцкой»^[15]. И в тот же день ему явилось видение Ефросиньи Полоцкой^[15]. В тот же день увидел он Ефросинью в облике своей матери. Читал он житие долго, потому что и ощущение святости страниц с письменами о святой, и его преклонение перед ней не позволяли спешить. Это же была первая на Полотчине святая! Не мужчина был канонизирован первым, а она, женщина. И как велика Полоцкая земля, так велика и слава полоцкой святой. Но о всеземной славе Ефросиньи в житии писалось в конце. А в самом начале говорилось о лице Предславы — так Ефросинья звалась в миру, звонкославянским именем звалась, в котором, Франтишеку чудилось, как бы пело уже, рокотало самое предвестье славы: «Предслава!..» Читал Франтишек: «Бяше бо лѣпа лпцем» — и жалел, почему до сих пор не сгонял в Сельцо — такой шустрый, а не сгонял. Прочел, как епископ Илия дал Ефросинье свое высокое дозволение поселиться в голубнице. И теперь уже знал, где начала свое монашеское подвижничество Ефросинья. «И нача книги писати своими руками». Он повторил про себя эту фразу трижды. Значит, в голубнице! Книги писала в голубнице, в которой он сейчас читает. Она писала своими руками, он, читая, держит своими. Вздрогнул, испугался: она же — святая! Как дерзнул он касаться своими руками того, что брала в свои руки она! Он же — не святой. Но разве не хочет он стать святым?..

«Житие» волновало безмерно. Предслава оставила отца-князя, мать. А вот он отца своего, мать свою сможет оставить? Оставить и уйти в монастырь, в далекий неведомый мир — в Царьград, Иерусалим? В келью,

хоть книги как раз-таки в ней, — в келью (в том Франтишек боится себе признаться) его не тянет. Не потому, что он вечной славы не жаждет. Жаждет, но обрести ее хочет как-то иначе: с богом, бога страшась, богу молясь, бога почитая, но...

Он понимал, что костел, духовный сан как бы сближают людей с книгой, делают книгу их судьбой, превращая в летописцев, переписчиков, книжников. Немало ведь самых ученых мужей его времени неспроста подалось в монахи, чтобы стать докторами, философами. Купеческий сын, цену духовному как охранному для книжника сану Скорина не мог не знать. И духовный сан поначалу действительно соблазнял его, поскольку, словно забрало, охранял его носителя от суеты и напастей светского мира, обеспечивал столь необходимую для научной деятельности тишину за кирпичными стенами и углубленное в раздумье одиночество. Но пойти в келью — не значило ли это сузить для себя мир? А ведь он, Франтишек, рвался именно в широкий мир, под высокое небо дорог, в распахнутый простор на поиск знаний. В воображении подростка тогда резко-резко и противопоставились келья и дорога, и душа его словно раздвоилась, и он выбирал то келью, то дорогу, причем выбирал мучительно, потому что дорога казалась неким отступничеством от кельи, а это означало для него отступничество от бога, непосредственно от самих ворот в небо. Дорога в небо, помимо кельи, была риском, была путем непроторенным. Через келью — по проторенному пути было легче, спокойней. Но как раз не более легкого, не более спокойного жаждала его душа. Нет! Не в один день, не в один месяц и даже не в один год совершился в нем тот решительный поворот, когда он оставил мечту о келье. Может, именно чтение «Жития Ефросиньи Полоцкой» повлияло на его окончательный выбор, а может, еще в большей мере отец. Мать обычно только вздыхала, когда Лукаш настаивал на своем, о Франциске Ассизском^[16] не желал и слушать. Если уж его сын не в купцы подается, то пусть берется за книги, ибо вон сколько подростков отправляют в Краков и Вильну бояре и местичи. Раз отправляют, значит, есть тут некая правда и большая выгода, нежели в сидении по кельям...

Житие и впрямь волновало безмерно, ибо он же, Франтишек Скорина, не княжеский сын, как Предслава — дочь княжеская. Он — сын купца, местича. Но почему ему, как просто местичу, нельзя осуществить то, что свершает инок, монах? Почему не добыть себе славу, оставаясь сыном купца, местича?..

«Прости, беже, прости, великий! — стал торопко креститься Франтишек, зная слова о гордыне. «Смиранный, смирения признавать не

хочешь!» — этими словами, слышал Франтишек, не раз наставлял полочан владыка Софеи. Да как же не признать ему, смиреннику, смирения, однако ж...

Было уже очень поздно, когда Франтишек дочитывал житие:

«Еуфросиния — неувядающий цвет райского сада! Еуфросиния — небопарный орел, попаривши от Запада и до Востока, яко луна солнечная, просветивши всю землю полоцкую!

Блажени людие, живущии в нем!..»

Он живет в Полоцке, значит, и он — «блажен», значит, его имел в виду составитель жития. Но он же еще не «лѣторосль». При отце, при матери — сколько ему лет? «Просветивши всю землю полоцкую...» Он еще сам от нее, земли полоцкой, света набирается! «Яко луна солнечная...» А как же это — луною и солнцем быть одновременно?..

То было уже не видение, то знамение уже было. Да, знамение — его жизни, его судьбы. Понимал он тогда все это, не понимал? Но в средневековье все это называли знамением. Вроде думал он еще, вроде и не думал, вроде спал он, вроде и бодрствовал, но увидел вдруг очень отчетливо: красивое лицо улыбалось ему, лицо над раскрытой книгой — наклоненное, потому что руки держали книгу на коленях. Руки были как будто материнские, и Франтишек удивился, почему руки, прежде не бравшие книгу, вдруг ее взяли? Но когда лицо женщины оторвалось от книги, не только его светозарности поразился Франтишек: лицо оказалось лицом его матери. Мать?.. «Луна солнечная»?.. Ефросинья?..

— А я и тебя, Франтишек, как брата своего, как сестру свою Гориславу, зову к себе в Святодуховский монастырь, — заговорила вдруг «луна солнечная». — Зову книги переписывать. Ибо «что успѣша при нас бывший родове наши? И женишася, и посягоша^[17], и княжиша, но не вѣяноваша».

— У меня еще нет невесты, — словно уточнял Франтишек. — Я и не князь — какие у меня сокровища?!

— Слава их погыбе, яко прах, и хужьпи паучины, — продолжала святая. — Юныя же учаше в чистотѣ душевной и бестрастию телесному, ступанию кротку, гласу смирену, слову благочестну, ядению и питию безмолвну, при старѣйших молчати, мудрѣйших послушати, ко старѣйшим покорѣнием, к точным^[18] и меньшим любовь без лицѣмерна, мало вѣщати, а много разумѣти...

Он во всем, во всем, кажется ему, с ней соглашается, только разве сможет он ступать овечкой белою, по его ли нраву есть да пить и за столом,

как отец с матерью, не рассказывать о слышанном и виденном в городе, не представлять себя в свите чуть ли не самого короля, чуть ли не рядом с архангелом небесным?

— Что же, тебе нравится не крест божий, а меч властелинский? — как бы читая мысли Франтишека, голосом слаще меда говорит знаменитейшая святая. — Что, снится рыцарский пояс из рук самого короля на победном ристалище?

— Какой такой рыцарский пояс! — хочет выкрикнуть ей Франтишек, но слова застревают в горле. — Я же сын купеческий, наисвятейшая!

— А на оруженосцев засматриваешься...

И он ошеломленно думает, откуда преподобная Ефросинья об *этом* знает — ведь никогда и ни с кем он об *этом* и словом не обмолвился? Но было дело: когда еще книжная страсть его всецело не захватила, не однажды простаивал он возле какой-нибудь Себежской или Михайловской башни, городских ворот или поодаль от них — чаще всего обочь пути Ольгердова, битого, широкого, связующего Полоцк с Вильной, — да-да, не однажды простаивал он в разных местах, зачарованно глядя не столько на белые и черные, до блеска расчесанные гривы коней, на их покрытые разноцветными попонами спины, на сверкающие шишковые шлемы рыцарей, на их наплечники, солнце отражающие, их панцири, золотом на груди протканые, сколько на таких же, как сам он, и ростом и возрастом, хлопчиков-оруженосцев — разодетых, с важной думой на челе, горделивых. И разодетых, и с важной думой на челе, и горделивых неспроста: и это уже рыцаря своего они легкий тарч^[19] и острое копье носят, и это уже сами они скоро меч при алтаре получают, ксендзом освященный, и заимеют вековые права на рыцарские остроги-шпоры, на рыцарский пояс, на горделивое гарцевание по пути славному Ольгердову. А какие права у него, сына купца Лукаша, на вечное, рыцарское славное?..

Что? Нет права на рыцарское? Есть право жертвовать собой — и богу, и посольству. Есть пути к богу и вне церкви и костела. Раньше не было, теперь будут. Будут, если письма бога он, печатник, даст непосредственно в руки люду посполитому. Вот его путь. Не понравится кардиналам? Не понравится владыке Полоцкому? Но он ведь не паненка, чтоб кому-то нравиться! Он — ученый муж. Опасно? Но если это нужно! Так что же, он все-таки хочет быть жертвой? Нет. Но без жертвенности он своего существования не представляет. Не по ветхому закону он учился, свет Фаворский^[20] в его душе, и светлой духовной жертвой он послужит богу, а с богом — посольству, роду человеческому. И он готов принять за

это мучения, как Христос, хотя о мучениях и не думает; и он готов терпеть и вытерпеть все тернии венца, ему предназначенного, хотя и не о терниях он думает...

...Теперь же, словно взвешивая в руках Псалтырь. Скорина незаметно для своих друзей-помощников тихонечко усмехается в свой светло-золотистый, как созревший житный колос, ус и молвит чуть слышно: «Путь этот — не Ольгердов путь и не путь в монастырь святого Спаса — иной он...»

Давнее и близкое, где межа между ними, если ты — на границе осуществления мечты? Давнее и близкое соседствуют здесь, как вербы по обеим сторонам ручья, друг дружке протягивая свои ветви. Тогда бы он о том Ефросинье Полоцкой не сказал и сейчас не говорит. Но сейчас он полностью осознает, что когда-то, в своем детстве, только смутно чувствовал: нет, не рыцарским мечом он бредил, а книгою, письменами. Рыцарский пояс не мог и присниться тому, кто родился купеческим сыном. Что мир весь раскроен сословными загородками и что есть загородка его, есть судьба его, купеческий сын — друг расчета и торга — хорошо понимал. Но, как раз возвышаясь над расчетом и торгом, он читал книги, читал письма. И если теперь он знает, что его путь — не Ольгердов путь, то письмам он единственно и благодарен, книжной мудрости, памяти благодарен.

Не в Полоцке прочел он об этом. Далеко и давно уже от берегов своего океана — Западного, как называли русичи некогда Балтику, ходили в мир эти самые русичи. Однажды Франтишек Скорина и вычитал строки, помеченные концом VI столетия, которые, может, и стали главной причиной того, что он первую напечатал Псалтырь, а не какую-то другую книгу Библии. Говоря точнее, сохранилась у византийских историков под 590 годом одна запись. Франтишек прочел ее уже в Кракове — прочел и долго не верил, что это некогда на его земле было. Но если это действительно однажды уже было, то неужели еще раз повториться не может? Неужели только мерзости, чинимые грабителями, кровь, проливаемая ими, слезы, иссушающие матерей, жен, сирот, должны повторяться, а это повторяться, повториться не должно?

Скорина и сейчас, пожалуй, счастлив, что было чему радоваться в старой византийской записи о его земле, о его далеких предках. И вот о чем она поведала. В давние-давние времена еще будто бы пленили ромеи трех чужеземцев, и сильно удивились ромеи, что у тех чужеземцев не оказалось оружия, только гусли и были при них. Строго спросил император пленников, приведенных к нему его воинами:

— Кто вы?

И ответили ему чужеземцы:

— Мы — славяне... С оружием обращаться не умеем, а только играем на гусях. Нет железа в нашей стране, и мы, не ведая войны и любя музыку, ведем жизнь мирную и спокойную...

С тех пор давно уже знают руду и возле Балтики, Западного океана, знают стрелы и щиты-тарчи, шлемы и панцири. Мечей стало больше, чем гуслей. Скрежета и лязганья мечей больше, чем музыки. И думает Скорина: «Боже, боже! Твоя гудьба, Псалтырь, — не та это судьба, не *тех* гуслей, и однако ж...» Думает, думает свою думу Скорина, не в силах и впрямь отказаться от лучика надежды: в истории повторяется не только гнусное, но и светлое — музыка и любовь к музыке, и не только к ней. «Псалтырь, гусли вы мои!..» — шепчет Франциск, одинокий уже в типографии досточтимого Павла Северина, шепчет стенам типографии, потолку, полу, черным окнам, шепчет слова, им совсем непонятные, но ему, с его думами о далеком Полоцке, дорогие.

Удивительно, однако, почему человек, вспоминая мать, видит себя перво-наперво мальцом при ней, душою становится таким же, что и тогда, когда тянулся к ней, льнул, утыкался личиком в ее многоцветную поневу или в сукню-сарафан? Как далеко сейчас от него мать! Поняла бы она сейчас сыновьи заботы или нет? Пожурила бы его? Порадовалась бы с ним?..

Все же она побранивала его, что он читает вечером, в таком вот сумраке, как здесь, в типографии на Старом Мясте пражском, — особенно побранивала, когда в колокол уже ударяли и наступало время тушить огни и бани по всему Полоцку, а он по-прежнему сидел над книгой. Знала она или не знала, что ему поначалу снилось его дневное чтение — все те письмена, что он считывал, а точнее — просто сглатывал памятью глаз с кубов воска, с бочек и мешков, со струг и икон. «О, неутоленность письменами! О, любовь из любовей, песнь из песней! Жажда книги, от чего только ты не отворотила меня, куда не увлекала!» — может сегодня воскликнуть Франтишек на весь божий мир. И он восклицает — всем сердцем, на радостях, что отныне уже не только на молебнах в Софее будут видеть полочане книгу, книги.

За Двиною — что за игрища там были некогда, что за свадьбы! Женихи крали девушек, а до этого вместе играли на капищах. Там, на капищах, часто подростком бывал и он. Нью кому помог он украсть невесту? Да никому не помог, как никто не помог и ему. И ни он не наламывал веток

на свадебный венок, ни ему не наламывали, не надписывали на ленте к венку красивыми буквами: «Растите и размножайтесь». Пенистого меда он тоже на свадьбах не пил и, сбросив с голов жениха и невесты венки, не топтал их, в хороводах, неистово ударяя в ладони, с ног не сбивался, в душистое купальское разнотравье не падал. Бесовскими игрищами называли те гульбища на капищах люди в клобуках из милой Софеи. Клобуки венчали их головы, а в руках у них были книги. Книг он жаждал и сторонился капищ, дабы не вызвать на себя гнев тех, у кого в руках были книги.

— Обновися тварь: уже бо не нарекуться богом стухия — ни солнце, ни огонь, ни источники, ни древеся!

На задвинских капищах, на капище Перуна между Полотой и озером Воловье — там всё еще были богами и солнце, и огонь купальских костров, и криницы, и вековечные дубы над ними, были богами-соседями с богом Софеи — через Двину, с богом Ефросиньи — через Полоту.

— Славящая бо мя прославию!.. — вещал бог Софеи, вещали «Врата Небес». С богом Софеи и с «Вратами Небес» пребывал он — Франтишек. Бога только и славит он сейчас, переводя и печатая святые письмена. На языке Софеи он воспроизводит их. Но восславишь ли ты своего сына, Софея? И благословляешь ли ты, его мать, благоверная Лукаша, или Лукашиха, что молилась у бернардинцев, учивших Франтишека вовсе не тем письменам, что теперь перед ним красуются?

Скорина усмехается, вдруг припомнив иеромонаха Анания из святой Софеи — из голубницы, где тот, поучая подростков, грозно поднимал перед ними перст и обращался ко всем и каждому, и лично к нему — Франтишеку:

— Книги сеа по домам своим не носите и хотящим брати из церкви взбраняйте и не давайте, воском от свечи не скапте, не измарайте, не зволочите!

Он же, Скорина, готов теперь едва ли не крикнуть что есть мочи, призывая:

— Книги сеа в каждый дом несите, никому их брать не запрещайте — давайте, давайте. И даже воском капайте на них — марайте, но только читайте!

Их же вот — целые стопы! Они — мои, и они — наши. Их теперь можно купить, подарить, одолжить. Не будет отныне уже никакого тайного списывания, запрета на тайное списывание, вообще самого списывания-переписывания — такого долгого, трудного, мучительного, когда над книгой корпели неделями, месяцами, годами, а письмена слепили

переписчиков. И было это во времена Ефросиньи Полоцкой, и было три, четыре столетия спустя. Или ты, святой боже, обиделся за что на рабов своих и такое тяжелое бремя на них накладывал, таким изнурительным трудом карал? Или, боже, ты и не знал того, что тебе ж во славу и в похвалу рабы твои книги молитвенно создавали, переписывали, — так почему же столь скупой ты им эти книги в руки давал?.. Боже! С твоею лишь помощью я и думаю книги свои люду полоцкому вручать — во славу твою вечную. Споспешествуй мне, боже!..

Скорина был уверен, что бог до сих пор ему все же содействовал — содействовал в детстве еще, содействует ныне — в типографии на Старом пражском Мясте. Ян Камп ему в аренду типографию не сдал. Микулаш Конач и Ян Северин-младший на условие с ним печатать книги на старобелорусском языке не пошли. А вот Павел Северин решился, почтеннейший Павел Северин! Что ж, иначе и быть не могло: бог всегда находил ему, Скорине, помощников, которыми содействовал ему, как и теперь содействует вот этими, хлопочущими рядом с ним в типографии славнейшего Павла Северина — с лицами не менее торжественными, праздничными, чем его лицо. Эти — близко, и далеко — другие. Он благодарен близким, он благодарен далеким. Бабич, Онков, Одверник; Якуб, Богдан, Юрий... Славный виленский бургомистр, славные советники славного Виленского магистрата. А разве не благодарен он всей душой славным ученым мужам Кракова, где учился, Падуи, где свой титул доктора получал? У него большая ответственность перед всеми ними, он в долгу неимоверном перед всеми ними и только еще начал выплачивать этот долг, только еще первый настоящий экзамен своей жизни держит, потому что все другие экзамены, которые держал он прежде, перед сегодняшним экзаменом попросту обмельчали, попросту приугасли, как звезды перед ослепительным солнцем.

...Были Краков, Падуя — экзамен первый, на бакалавра, и, как потом казалось, последний — на доктора медицинских наук. С декабряского диспута в Кракове на бакалавра минуло шесть лет, с ноябрьского падуанского экзамена — на доктора — прошло пять. В Кракове его оппонентами были все его непосредственные учителя — тот же декан философского факультета магистр Леонард, который знал Франциска два года, со времени его записи в университет. В Падуе, правда, было иначе: сама слава Падуанского университета — шестого в Западной Европе по времени возникновения после Парижского, Болонского, Оксфордского и университетов в Монтпелье и Кембридже, — сама эта слава захватывала дух, сжимала горло, а когда на тебя взирали, прищурясь, 24 пары мудрых

глаз 24 знаменитых докторов наук, то, чтобы голова кругом не пошла, и впрямь надо было крепкую голову иметь. И все же экзамен глаза в глаза с экзаменаторами, каким бы трудным он ни был, что ни говорите, полегче того, который приходится сдавать ему, сыну Луки, Скориничу из Полоцка, сейчас. Там, в Падуе, экзамен длился два дня, здесь, в Праге, возле этого печатного станка, он — на всю жизнь, и более того — на вечность. Там, в Падуе, с первого же дня действительно влюбленным взором посмотрел на него достойный вице-приор Святой коллегии артистов и медиков профессор Тадеуш Мусати, а голос его как бы подбадривал, когда звучал под арочными сводами костела святого Урбана: «...Есть тут один весьма ученый убогий юноша, доктор наук, прибывший из очень далеких краев, от нас находящийся за четыре, а может, и более тысяч миль...» А здесь, в Праге, возле печатного станка в типографии Павла Северина, ни встречного взгляда, ни обнадеживающего голоса — как перед слепую, немою стеной. Никого, кроме помощников. Там, в Падуе, два дня — и тебе ясно: одобрение или отказ, слава-признание или позор. В Падуе славу он познал сполна — славу первого дня, когда его допускали к докторским экзаменам, когда не в зеленую, что означало несогласие на допуск, а в красную урну были опущены шары всех присутствующих профессоров. Слава же второго дня возрастала с возрастанием числа экзаменаторов. Пробный экзамен принимали 14 *Domini Magistri*, окончательный — 24, да не в костеле святого Урбана, а уже в самом падуанском епископском дворце. Сам кардинал Сикст де Ривера, возглавлял президиум, одесную^[21] посадив епископа Паула Забарельо, вице-ректора Францискуса Фульманелли де Верона, ошую^[22] — вице-приора Тадеуша Мусати. Были во дворце еще и доктора наук — гости Святой коллегии артистов и медиков Падуи, пришли студенты, мещане Падуи и Флоренции, которые прослышали о необычном страннике из Полоцка. Все духовные чины восседали, облаченные в кардинальские и епископские фиолеты, вице-ректор и вице-приор — в роскошные пурпурные тоги, а все присутствующие доктора — в суровые мантии, тоги и береты. Признание ими безвестного юноши из Полоцка просто слепило глаза этому юноше из Полоцка багрянцем тог и беретов. А сейчас глаза ничто не слепит. Полумрак. Полумрак уже вообще-то перерос незаметно в мрак. Потрескивает свеча, призрачно покачивается на стенах уже только его одинокая тень, потому что подручные ушли, потому что время уже позднее и все добрые пражане уже спят. Пора прилечь и Франциску, хотя бы на этой единственной скамье, раз уж он так припозднился — близится полночь, а

до Малой Страны, где он квартирует, идти да идти...

6 августа 1517 года еще не кончилось, потому что не пробил двенадцатый час на башне Пражской ратуши на Старом Мьясте. Но Скорина уже крепко спал, поджав ноги на скамье-топчане: под головой — стопа пробных и неудавшихся оттисков, на оттисках — рука, на-руке — щека. Спал Франтишек спокойно, безмятежно, хотя до этого тревога на душе была, что-то грезилось, призрачно вставало перед глазами — словно то, что не договорил день, пытался договорить вечер, собиралась полностью договорить ночь. Но видение, хоть и рожденное неосознанной тревогой, было поначалу светлым, и, как будто с желанным приятелем, вела с ним разговор его душа. Приятель тот низко склонялся над ним, заглядывая ему в синие, уже прикрытые утомленными за день веками глаза, и, удивляясь его спокойствию, спрашивал:

— Почему ты спокоен, Франтишек, почему на душе у тебя такая ласковая тишь, словно тебе не нужно будет не только напечатать задуманное, но и отвезти напечатанное далеко-далеко — через горы и доли, пущи и реки? А на дорогах — разбойники, в пущах — грабители, на таможах — обдиралы, на мостах и под мостами — пучеглазые бродяги! А ты спокойно спишь себе на скамье...

— Беспокоится только осина, на которой иуда повесился, только гнущийся под ветром камыш, только былье на краю поля, обочь дороги. И спокоен граб, ибо тверд, дуб спокоен, ибо могуч, человек спокоен, ибо мудр. Мудрость приносит успокоение.

Так вроде бы отвечает Франциск на слова своего светлого приятеля — правда, он это говорит или кто другой, в полусне Франциску не очень ясно. Но он доволен, что ровно и без всякого усилия речь у него течет, а светлый приятель уже не только приятель его, но и приятельница:

— Я — Фемида, я — Фортуна, я — Фама!..^[23]

— Никакая ты не Фемида, не Фортуна, не Фама!.. Фама?! Ха-ха! Фемида? Ха-ха-ха!.. Слава ты не моя! И справедливости я не знал, как и судьбы-счастья! Фэ! Три «фэ» все равно как — фью, фью, фью!..

И видит тут Франтишек будто наяву: девчата подсаживают его на коня, верхом выезжает он на взгорок за Полотой, облысевший уже от весенних лучей, без слепящего мартовского снега. Он — на коне, и кто-то рядом тоже на коне. Кто? Присматривается исподволь, присматривается. Так это ж на коне — она. Это ж вокруг нее — хоровод, и веснянки звучат, весну заывают. И как тут не кликнуть, не позвать самому — да не весну, а ее. Имени, ее, однако, он давно, давно не выговаривал — даже забыл, как произносится, как звучит оно. И если он не дозволялся ее когда-то там, на

капище Перуна, то как докричаться ему до нее отсюда — из Праги?.. Он и во сне помнит, что он здесь, над Влтавой, а не над Полотой. Но теперь у него есть чем дозваться! Есть Псалтырь! Гусли! Его гусли — они перекроют все звуки скрипачей, дударей, медвежатников:

— Маргарита!..

Конь под нею — немой. Она — немая. Звал он ее или не звал? Почему же немые и конь и она?..

...Было уже двенадцать, а в двенадцать в средневековье было всегда, как в двенадцать: светлые силы порхали во все стороны, и со всех сторон слетались на свой шабаш силы темные. Силы темные, правда, не знали, что они — силы темные, и поэтому сами себя они так не называли. Днем Франтишек никогда бы и не подумал, что целый сонм их объявится в его типографии, когда полночь оповестит о себе над всеми пражскими крышами. А они появлялись в его типографии без стука-грохота в дверь — появлялись, как отметил про себя Франтишек, довольно запанибратски, словно по команде. Но кто же ими командует, если Скорина, кроме них, никого не видит...

— И не увидишь! Ха-ха-ха! — слышит он громкий, зычный голос и регот. — Не увидишь! Не поймешь!

— Как не увижу, если я хочу видеть?!

— Еще чего захотел — видеть?! Увидишь только то, что человеческий глаз может узреть, а помимо этого ты — слепой!..

— Не слепой!

— Не слепой? Тогда заметь меня: я — Время, твоё Время; я — Жизнь, твоё Жизнь; я — Средневековье...

— Средневековье?.. — удивляется Франциск.

— Средневековье. Ха-ха-ха!.. — даже потолок типографии досточтимого Павла Северина сотрясается, а он, Скорина, в этой типографии ничего по-прежнему не видит.

— Увидишь, увидишь, — уже немного поутихнув, словно утешает Скорину голос незримой силы.

И тут он увидел. Безголосые простые люди из городов и весей, с торжищ и капищ стали молчаливыми тенями двигаться мимо него. Первыми шли безъязыкие. Языки им обрезают наместники, воеводы, тиуны, войты^[24]. Зачем им языки, зачем им слово! Они — всего лишь рабы. Им достаточно и мычания — хватит с них! А то если заговорят, сговариваться станут. Наш король сполна прославлен и устами вельможной дворни.

Безъязыкие рты были широко раскрыты. Красные до пурпурности.

Круглые, как солнца. Скорина прижмурился.

— Не щурься! Они уже прошли. Уже идут безрукие. Они были молчунами, да осмелились ударить шляхтича. Больше не ударят. А эти больше никогда не увидят солнца! А эти не услышат жаворонка и грома! А эти хоть видят и слышат — пот им слепит глаза, пыль забивает уши, но кто же за них будет выжигать ляды, таскать орала и бороны, сеять и жать, молотить и мякину отвеивать от зерна? Кто же станет заниматься бортничеством, кто выйдет на рыбные, птичьи, зубринные ловы и бобровые, гоны? Кто будет гнать смолу и деготь, добывать руду, сгребать золу? Ты, ученый муж, или они, мужики: сеятели и молотильщики, бортники и загонщики, рыболовы и бобровники, ловцы и подсочники, стрельцы и псари, сокольничие и шатерники? Смотри же, смотри: вот выходят из смолокурен смолокуры и дегтяри, из солеварниц — солевары, из трясинных рудников — рудоплавы, из княжеских дубрав — клепочники-бондари...

Голос невидимой силы вынуждал напрягать зрение, голос вещал:

— А теперь, печатник, обслуга — не твоя, понятно, — обслуга господаря, князя! Почему ты не родился князем — вон какую обслугу имел бы, а не эту пару челядников? Прошу, прошу, дети мои: кухари, пекари; медоставы, пивовары, винокуры; кузнецы, котельщики, слесари; зодчие, плотники; колесники, санники, бондари, корабелы; гутники и стеклодувы; гончары, каменщики; плитники, меловщики, жерновники; скорняки, кожемяки, шорники, хомутники, седельники; сапожники, чеботари; рогатники, лучники, тульники, мечники; ткачи, убрусники, скатерники, портные, кольчужники!..

Шествие не кончалось. Шествие было нудным, однообразным, хотя люди разного ремесла и опыта проходили мимо с опущенными вниз руками и головами, как бы ничего не желая, ни о чем не думая...

— А это всё Я! — слышал Скорина. — Я — Молчаливое, Безликое. Не для них же ты готовишь свою Псалтырь! Деткам небось адресуешь иль мужам, как сам, ученым. А у них сегодня важнецкий диспут о тебе — их ученике, их надежде. Желаеть услышать?..

Франтишек не желал. Только здесь это было не в его власти — желать или не желать. Не его памятью, не его благодарностью всем своим учителям оживлялись здесь голоса, а силою как будто совсем ему посторонней, да, оказывается, вон какой мощной. Он еще не отошел от удручающего видения шествия безголосых, а уже улавливал голоса действительно тех, кого некогда слышал; голоса довольно спокойные, рассудительные, какими они были у его старших в Кракове учителей —

Яна из Глотова, Матей из Мехова, прозванного Меховитом, — и более горячие, задиристые, какими они были у младших Яна из Стобницы и Михала из Быстрикова.

Первыми говорили старшие:

Ян Глоговчик:^[25] — Многоуважаемые коллеги! Как вам известно, я есть тот, для кого свобода души была наипервейшим вопросом. Быть свободным душою — значит уважать и свободу души ближнего, свободу души нашего молодого Францискуса!..

Матей Меховит:^[26] — Что касается меня, то я всегда придерживался того взгляда, что лишь такие сыны Варварин, как юный наш Францискус, окончательно развеют все невероятные представления о людях и землях ориентальной Европы, которые укоренились у нас, подобно плевелам, и в ничтожность превращают то, что, мыслю, наибольшего почитания достойно.

Ян из Стобницы:^[27] — Присоединяясь к словам старших моих и знаменитейших мужей академии нашей Краковской, я пока что лишь об одном хотел бы спросить у вас, милейший Яне из Глотова, а именно: обучая почтенной латыни таких выходцев из Литуании, как Францискус, сын Луки из Полоцка, не хотите ли вы в то же время сказать, что вовсе не на этом языке он должен прославлять стены знатной нашей академии, забота которой о Литуании ведет свою историю еще от незабвенной ее основательницы королевы Ядвиги, от не менее достойного обладателя жезла на Вавеле, каковым был муж любимой всеми Ядвиги Ягайло могутный?..

Ян Глоговчик: — Я не хотел этого сказать, коллега, ибо я, преподавая латынь, на латыни и говорил о свободе души.

Ян из Стобницы: — Но разве свобода души есть свобода от благодарности учителю?

Ян Глоговчик: — Для учителя благодарный ученик тот, чья душа несвободна от памяти о нем.

Ян из Стобницы: — Вера для меня, как знает ваша честь, — дело воли, а не разума. Но то, чем занят Францискус, сын Луки из Полоцка, есть дело разума. И не делом ли разума будет сегодня открывать Новый Свет, а не возвращаться к свету старому в письменах старых?

Матей Меховит: — Но почему уважаемый оппонент полагает, что перевод письмен на язык альбарусский^[28] есть перевод на язык старый? Когда мой «Tractatus de duabus Sarmatis»^[29] ученые мужи собираются переводить на языки польский, немецкий, итальянский, то я не склонен

считать эти языки старыми... Открытый Христофором Колумбом заморский свет в своем многословном «Introductio in Ptolomei Cosmographiam»^[30] вы называете Новым Светом, но разве не тот же новый свет открывает для нас и наш младоперый ученик Францискус, сын Луки из Полоцка?

...Скорине хотелось крикнуть, подтвердить: «Новый, новый!..» Ведь он, как никто, понимал, какую новизну, какое обновление несет его Полоцку его печатничество. Книги пойдут и по всему свету — и по Старому, и по Новому, который сейчас далекими от Праги испанскими да португальскими каравеллами открывается. Скорине очень хотелось крикнуть все это своим учителям, поделиться с ними своей радостью, что они еще помнят его, что к судьбе его небезучастны. И полегчало в груди, стало свободней дышать. Только слышать бы ему голоса таких людей, как Ян из Глогова, Матей из Мехова! Однако все в типографии Скорины не по воле его, Франтишека, свершалось в этот поздний-поздний час.

— Любишь голоса?.. — вновь отозвался, зловеще и коварно, все тот же самый первый, уже знакомый Скорине голос, назвавшийся его Временем, Жизнью. — Если любишь, то еще слушаешься их, ибо я — не только Безголосье, я — Многоголосье! Дети мои — цветы жизни, *floris vitae*, прошу вас, прошу! Будьте знакомы с его светлостью Печатником, будьте знакомы!..

Первым объявился Голем — ему из еврейского гетто, что в самом сердце Праги, было совсем недалеко.

— Я — Прекрасный цветок средневековья, — возвестил он, — ибо я, как и Адам, вылеплен из глины, только Адама лепил бог, а меня пражанин рабби Лем. Я — живой, но лишенный души. Кто же вдохнет молитвами душу в мою глиняную грудь?!

Скорина мало еще слышал о средневековье, но ежели полночный гость что-то знает о нем, то знает он, по-видимому, только потому, что гость полночный. Оттого, ничуть не удивляясь, и принимает Скорина поклоны и самопредставления всех остальных элегантных и неэлегантных полночных гостей.

— Я — Прекрасный цветок средневековья, пан Твардовский! А пану годится собой гордиться. Маэстро магии, чернокнижник, сам я — гуляка известный, выпивоха честный. Я прибыл сюда из более далекого, чем Краков, ошмянского края, в качестве кареты использовав колесо месяца!..

Этим пан Твардовский, очевидно, поддевал хромоногую Станьчика, явившегося тут же — следом за ним:

— Я — Прекрасный цветок средневековья, королевский шут Станьчик,

жеманный, негожий, но кто, помимо меня, королю правду-матку в глаза резать может?

— А я — Прекрасный цветок средневековья, доктор магии Фауст: дьяволу душу продам, лишь бы больше знать, чем Адам!..

— А я — Прекрасный цветок, Великая Болезнь^[31]. Я — великая, ибо сам бог моими устами правду глаголет, правду свою моими устами всем доступною делает!..

Казалось бы, столько гостей в типографии многоуважаемого Павла Северина сразу и не вместится, но, к удивлению даже самого ее сегодняшнего хозяина, места в ней всем хватает и еще остается. И, может, как раз потому здесь и поднялся невероятнейший грохот совсем уже не любезного и не галантного самопредставления, а грозно рычащего, лающего, мычащего. И вот все это грозно рычащее, лающее, мычащее Франциск взял и спросил:

— Вы тоже — цветы жизни?

— Мы — не цветы, мы — люди, — хором ответили ему и в черных сутанах до пола бритощекие, и в черных сутанах до пола не бритощекие, а с длинными — до пола — бородами бородатые.

Одних Франтишек вроде бы узнавал — если не в лицо, так по голосу, по одежде. И едва ли не всех теснил, маячил впереди гладковыбритый кардинал Гозий. Он других неистовей и колотил кулаками по столу, где стопками лежала Псалтырь, и ревел во всю глотку:

— Позволить народу читать Библию — это значит псам святыню выбросить, перед свиньями бисер разметать!..

Стол аж танцевал под кулаками дородного кардинала, и даже пан Твардовский зашаркал в поклоне перед его преосвященством:

— Кардинал Гозий... Кардинал Гозий...

— Гозий? Вульгарные типы! Кардинал Станислав Гозиус вам этого не простит!..

— Не простим! Не простим!.. — кричали и менее элегантные, без красной кардинальской шапочки, — не то что Гозий, но, подобно Гозию, гладковыбритые здоровилы; кричали и черные старцы с дремучими, косматыми, хоть пол подметай, бородами.

— Не простим! Все равно — еретика руками или молитвой убить. Убить!..

И махали руками, сжимали пальцы в кулаки, поднимали кулаки над своими головами, заносили над лицом Франциска, осененным тихой в тихом сне улыбкой.

— Не ищи, человеку, мудрости, ищи кротости!..

— Не чти много книг, да не в ересь впадешь!..

— Всякого высокоумия убежати! Не выситься словесами книжными!..

— Хочешь неиспытанное испытати, яже бог не повелел есть!..

— Не верьте тому, кто поучает вас от своего мозга, а не от разума Христова!..

А это они уже требовали, со всей жестокостью и суровостью требовали, чтобы ему, Скорине, люди не верили. Ни Иосифа Волоцкого^[32], ни Стефана Пермского^[33], ни других воинственных требователей Франциск не знает, даже имен их не слышал. Но почему они так хлопочут о том, чтоб не высился он словесами книжными, не искал мудрости, не верил в свою мудрость, опытом нажитую?! Да и что им его Псалтырь — книжка для деток, для доброй науки их?! Для деток?..

И тут Франтишек вдруг видит со всей отчетливостью, как притихшие, бородатые святые чины словно прилипли глазами к листам его Псалтыри. Читают!

— *Lingua vulgaris!*^[34] — восклицает кардинал Гозий.

— Греховная гордыня! — гортанно гремит бас одного из бородачей. — И куда только подевалась богу угодная рукописная вязь кириллицы?

— Глосы на боцех!^[35] О, горе тому, кто черкает на полях книг, — на оном свете по лицу нечестивца те письма жигалом железным бесы будут черкать...

— Жалом каленым щеки исчерканы будут?! — вопрошает, крича, может, самый здоровенный из бритолицых. — Ха!.. Ха!.. Ха!.. Жечь нужно — огнем, огнем! Молитвой убивать, ведь сколько времени понадобится? Жечь! На костер, на костер, да еще на самые сухие дрова, которые дружно горят, дружно! Это я вам говорю — Великий инквизитор.

— То же и мы твердим, Малые инквизиторы, — загомонили поменьше ростом черносутанные.

И тут, может быть, началось для Скорины самое непонятное, потому что гомон и Великого и всех Малых черносутанников перешел незаметно для него, Франциска, поначалу во вздохи, а затем во всхлипы — все возрастающие, завершившиеся в конце концов растерянным плачем и рыданием.

И рыдал впереди других сам Великий инквизитор, сам Томас Торквемада:

— Какой же я Великий, если не могу «того Печатничка сжечь? Сжечь в колыбели надобно было, в колыбели!..

— В колыбели мы не могли, ибо колыбели его еще не было, когда мы

жгли Жанну д'Арк^[36], Яна Гуса^[37], Иеронима Пражского!..^[38]

— И мы не сможем сжечь его даже в гробу, ибо мы еще не родились, как некогда епископ Кошон, имевший счастье жечь Жанну д'Арк!..

Именно еще не родившиеся Малые инквизиторы и зашлись самым долгим рыданием, и особенно бедовал Фульдский епископ Юлиус, который жаждал души Скорины как девятьсот первой: о том, что в своей епархии он сожжет девятьсот еретиков, епископ знал, как знал и о том, что до его девятьсот первого костра Скорина попросту не доживет.

И рыдал следом за епископом Юлиусом фульдским, так же безутешно рыдал судья чародеев Балтазар Фосс. Фосс рыдал, не скрывая своей огромной обиды на еретика Скорину: как же это он, Скорина, померев до времени, не дал ему, сжегшему уже 700 мерзавцев обоего пола, довести это святое число до 1000?!

И рыдал следом за Юлиусом Фульдским и Балтазаром Фоссом епископ Бомберский, который только немногим более шестисот одержимых дьяволом душ сожжет в 1624—1630 годах, а ведь мог бы, застань он на земле это сатанинское отродье — Франциска Скорину, тоже увеличить свой перечень еще хотя бы на одного схизматика.

И стояли рядом с Великим инквизитором Томасом Торквемадой и Малыми инквизиторами епископами Кошоном, Юлиусом Фульдским и Балтазаром Фоссом черные сутаны в черных ермолках с большими счетами в руках. И щелкали громко черными костяшками черные сутаны на своих огромных счетах и выкрикивали:

— Самый точный подсчет у нас!

— Настоящая правда у нас!

— Вычисляйте только у нас — у каббалистов из лучших домов Кастилии и Мадрида!..

Черные костяшки их громадных счетов показывали, что каждого человека окружают 11000 дьяволов: справа — 1000, слева 10 000. А вокруг каждой женщины, согласно их подсчетам, вертится на 15 000 дьяволов больше, чем вокруг мужчин.

Но каббалистов в ермолках из лучших домов Кастилии и Мадрида по всем правилам многочтимого диспута оспаривал тип с тонзурой на большущей, как тыква, голове:

— Это, о наидостойнейшие ученые мужи, коллеги мои каббалисты, еще не может быть нам с точностью известно, сколько на свете дьяволов, ибо нам с точностью также неизвестно, сколько людей на свете божьем славит имя божье, сколько их вообще бог наш всевышний в доброте своей на свет пустил. А что касается того, сколько вообще дьяволов на свете, то я,

католический писатель Вейер, могу вас, уважаемые коллеги, заверить, что самый точный тут подсчет — мой! Всего на свете дьяволов существует 44 635 569. Тютелька в тютельку! И вот проблема: не зная, сколько языщей славит имя божье, сколько не славит, мы не можем сказать, действительно ли 11000 дьяволов каждого человека окружают? А вдруг на какую-то дробь меньше или больше?

И тут поднял вверх указательный палец Великий инквизитор Томас Торквемада:

— Главное, многоуважаемая публика, что они, дьяволы, существуют, что они вселяются в бранные тела вероотступников, самоотпадающих от неба и святого костела!.. Небо и святой костел — не простят! Небо и святой костел — не простят!..

...И ты еще спокойно спишь, ты не проснулся — doctoris artium^[39] и лекарственных наук доктор?! Вечером, так непохожим на эту ночь, думая о своем не последнем ли уже экзамене, о предназначении своем и о судьбе своей, разве ты предполагал, что можешь услышать и такие речи, какие от полночных людей (или — нелюдей?) услышал?

На ратушной башне на Старом Мясте часы последними ударами отбивали двенадцатый час. Теперь уже и впрямь кончались сутки, кончалось 6 августа 1517 года. Скорина сейчас же — спустя минуту — вновь уснет, чтобы завтра пробудиться раным-рано и взяться опять за печатный пресс, за новые предисловия и послесловия, за новые листы с ароматным запахом свежей типографской краски. Но пока еще он, разбуженный боем ратушных часов, уснет, прозвучит в его сознании отчетливый и вразумительный вопрос — вопрос и к самому себе, и как бы ко всему своему будущему:

«Осуществит ли он полностью то, что сегодня им начато, что хотел бы исполнить, сделать, в действительность воплотить? Оно в мыслях его, в душе — глубоко-глубоко. Он и сам для себя окончательно прояснить не может, во что этот начатый им труд выльется, какие события вызовет, повлечет за собой. Однако надежда, что все-таки следом родится и что-то большее, нежели просто чтение древних писем, живет в нем. Что же там будет, в той будущности, — посмотреть бы собственными глазами!..»

Когда города становятся славными, или глава, в которой весьма правдиво повествуется о трех знаменитых городах земель близких и неблизких — о золотой Праге, мудром Кракове, веселой Падуе, а также о вековечном Полоцке — родном городе Франциска Скорины.

...а се мы, полочане, вси добрыи люди.

Из Полоцкой грамоты 1405 г.

А Полоцк также является, благодарствуя богу, городом преславным, как и иные, и ничем не ниже во чести и во всем остальном ни Вильны, ни Мальборна, ни Данцига.

Из Полоцкой грамоты 1464 г.

Это мы говорим: «Франциск Скорина родился в средневековье». Но когда он сам начал осознавать себя и окружающий мир, то вовсе и не догадывался, что живет и растет в средневековье (в середине чего?). Он просто жил и просто рос, как всякий человек, в любое время на земле рожденный, открывая для себя эту землю и небо над ней, травы и деревья, мать и отца, брата и соседа, устланную бревнами улочку. А после в целом открывал он для себя свой город — отороченный крепостными стенами с башнями-баштами, окруженный валами и надолбами, город с Верхним замком и ратушей, со всеми его шестью посадами, со всеми концами и сотнями, торговыми рядами, ятками, каморами-складами, корчмами-харчевнями, шумными, гомонливыми торгами и звездной тишиною в полночь. И было, как и у каждого рожденного на земле человека, открытие

себя, отцовского рода, было пробуждение интереса к отцовскому ремеслу и вхождение в него, в обычаи своего времени, в понимание мира родителями, соседями, узкими посадскими улочками-концами, улицами-сотнями и вечерней площадью, что широко распахивала небо над городом, поднимала к тучам соборы и ратушу.

И для него, как для каждого на этой земле, большой, просторный и ясный свет возникал как бы заново, словно прежде-то и света никакого не было. А поскольку Франтишек родился в конце XV столетия, то и свет начинался для него не только как свет белый, но и как свет божий: и мать с отцом ему об этом говорили, и узорчатые летописные письма из житий святых, и закопченные свечами образа божьей матери в продыmlенном тесном доме родного отца и в гулких, просторных храмах бога-отца. И когда это свет божий стал для него письмами, а письма — светом божьим? Не здесь же, на Пражском месте, а там, еще на берегу Двины. Письма для него перво-наперво открывали мир — все, что было до него, и все, что застал он, придя под солнце. Но письма эти и как бы закрыли для него весь тот мир — ведь о чем он мыслит и заботится все время, как не единственно об этих письмах?! Будто над кручей, повыше и пообрывистей, нежели та, на которой стоит его родной город и Софья, поставили сейчас Франциска эти письма. Опасную крутизну берега, обрывающегося у его ног, он особенно почувствовал наутро — ночь спустя после рождения его Псалтыри, на другой день после памятной ему августовской ночевки с ее призраками, сновидениями. Где есть высота, есть внизу и твердь. Твердь не страшна для тех, кто внизу, — а для тех, кто на круче? Падают с круч. Достаточно легкого толчка, если ты на обрыве, и полетишь с него не птицей, потому что руки даже у печатника. — не крылья.

Но все-таки знает ли он, понимает ли, на что идет. И знает, и понимает, как трезво оценивают это и его виленские друзья-меценаты Якуб Бабич, Богдан Онков. Кажется, будь они здесь, рядом с ним, и ощущения берега-кручи даже после такой тревожной ночи с ее видениями у него не возникло бы. С высоты ведь смотрят не под ноги, а перед собой. Перед ним же и перед его бездонно голубыми глазами — вон яснота какая, даль какая! Да и видения — не знамения: они — в человеке, его греза. Хотя... Видение, оно ведь, может, и предостережение божье. Предостережение или только блажь болезненной фантазии? Но ведь он же не болен... Трудно средневековому человеку! Трудно верить и в бога и в сатану, когда тебя и тем и другим пугают. Сатана но страшен доброму человеку, совершенному, с чистыми, словно криница, мыслями, с незамутненными, как роса, помыслами, с

душой, открытой свету, как солнцелюбивый цветок. А на его родине так много солнцелюбивых цветов: выюнок, ромашка, жасмин... Скорина, кажется, даже слышит аромат жасмина. Цветы он очень любит.

А цветы и богу весьма угодны. И если угоден богу и он, отчего ему страшиться сатанинских видений? Будь, человек, совершенным божьим человеком, служи богу под его покровительством-опекунством, и ничто не должно тебя утрашать — ни черт, ни сатана, хотя и черт, и сатана — одно и то же!

Назавтра было воскресенье. Он ждал воскресенья, ждал свободной минуты, отдыха. Отдыха себе, рукам своим и думам, передышки своим помощникам. Отдыха, когда в свои золотые объятия всего его забирала Злата Прага. И что теперь значили заботы — дневные или всеобщие?! Сон — обман, а бог — пан. В бога он верит: бог не подведет. И не манихеец он, чтобы наравне с богом-творцом в сатану-творца уверовать. А вообще, когда это старина за старину в отчаянье своем не держалась? И как ей согласиться с тем, что он, Скорина, полностью согласен и следом за Иоганном Гутенбергом из Магунции готов сказать, что книгопечатание есть искусство над искусством, наука над наукой.

Вспомнил ночные речи: «Не ищи мудрости!.. Не высья словом книжным!..»

Заглянул в предисловие к Псалтыри — вот слова, что он тщательно выписывал у авторитетных святых: «Псалом ест щит против бесовским ноцъным мечтанием и страхом...» Не один день и не два он тиснул-печатал все 284 страницы песен царя Давида — не один псалом, не два! Так почему же они щитом для него этой всполошен-но-беспокойной ночью не стали, почему не оградили его от сил, что в услужении вроде бы вовсе и не у дьявола, но уподобляются ему, походят на бездумных церберов, которые только распоряжаются, грозятся, запрет накладывают, по рукам и ногам, как крымчаки в ясырь^[40], связывают и горло, будто петлей, сжимают, помрачения разума жаждут, покорного молчания уст перед богом и ими самими добиваются, дух человеческий в ярме неволят, умертвляя дух тот. Могильщики! Палачи! «Да на все — попущенье божье», — думает Скорина, и думать иначе не может перед ликом бога и сына его, который терпел и людям велел. Многомилостивый, милосердный боже, на тебя надежда у первопечатника из Полоцка!..

«С кем бог, с тем и люди», — издавна говорили на его родной полоцкой земле. И он потому, наверное, все время полагал, что повсюду с ним бог и во всем, поскольку повсюду и во всем были с ним до этого люди: и в Вильне, и в Кракове, и в Падуе, и тут — в Праге. Вообще же, если бы

люди не были людьми, то разве дошел бы он до самых Градчан, до самой Страговской книжницы-библиотеки, разве, зачарованный, ступил бы, точно в небо, в Теологический зал этой книжницы, золотящийся тысячами корешков-переплетов мудрейших книг. Стена книг — слева, стена книг — справа, стена — перед тобою и за тобою, в девять, в десять рядов, словно мироздание согласно Птолемею: девять сфер небесных, последняя — кристальная. Только тут он видит не сферы, окружающие Землю, а пояса книг, золотые книги со всех четырех сторон вокруг него. А над ним — голубизна потолка. Голубизна — как символ распахнутости Вселенной для тех, кто с книгой, распахнутости небес для человека, для его духа. Голубизна — как символ бесконечности Вселенной, в которую возноситься и возноситься человеческому духу. Под такой лазурью рос, мужал он духом в книжнице Краковской академии. И как не забыть ему той лазури, так не забыть и этой, не забыть, как изо дня в день вот уже который месяц на его торопливый стук в окованную железом дверь Страговского монастыря на Градчанах чех-монах шумно отодвигает скрипучие засовы и на его «день добрый» перед ним, ученым мужем, низко кланяется и, подобно апостолу Петру, пропускает его в рай — под натянутые, словно луки, потолки Страговской обители, в рай самих Црадчан, что слынут на всем этом божьем свете не только стольным градом места славного Пражского, но и стольным градом письмен славянских вообще, книг и библий славянских вообще.

Когда дружат люди, дружат и книги. Его книжность обрела ему друзей среди книжников из Страговской книжницы. И как теперь Франциску не считать друзьями и Псалтырь, им уже напечатанную, и чешскую Библию вульгату, которая, сколько времени он в Праге, столько под рукой у него и которая станет, может быть, не только сестрой, но самой матерью Библии, которую он тут, в Праге, на родном языке издаст?!

Он еще никогда не задумывался над тем, что если дружат люди и книги, то как бы в друзьях оказываются и города, породненные людьми и книгами. Он, может, никогда и не задумается над этим, но что такое для него Прага, он уже сейчас хорошо понимает — единственный город, давший ему согласие, пошедший с ним на договоренность, ставший местом осуществления его мечты. Нет! Франциск не идеализирует места Пражского, он помнит, что не так-то просто было ему начать и здесь. Ян Камп, Микулаш Конач, Ян Северин-младший. Все они — знаменитые печатники. Но у знаменитых печатников и заказов хоть отбавляй. Работы у знаменитых печатников — только управляйся. А тут новый, словенский шрифт. Это ж новые хлопоты, да и риск: пойдут ли книги, отпечатанные

тем новым шрифтом, раскупят ли их, ведь русины, литвины, московиты от Праги далеко? И это счастье Скорины, что у Павла Северина обстоятельства сложились таким образом, что на выгоду и невыгоду он смотреть не стал, а навстречу Франциску пошел — скорее всего из понимания: дело тут не в барыше, а в чем-то большем.

Скорина любит Прагу, потому что не любить Праги, не полюбить ее невозможно. Типография многоуважаемого Павла Северина — на Старом Мясте. Сам же Скорина живет на Малой Стране, возвышающейся и над Старым Мястом, и над Влтавой, струящейся внизу, но еще повыше и Малой Страны — Градчаны, Пражский град, зеленые фиалы кафедрального собора святого Витта. Ежевечерне Скорина выходит из типографии Павла Северина, на которую при заходящем солнце падает тень от Тынского костела, не спеша направляется на Штупартскую улицу, и вот он уже возле дома «У золотого колодца», что на углу Карловой улицы — части Королевского шляха, по которому обычно чешские короли ездили в собор святого Витта на коронацию. Готические башни Тынского костела, особенно красивые в сером сумраке, тянут ввысь его взор — и те, которым уже более ста лет, и те, что совсем недавно, перед его приходом в Прагу, были окончательно отделаны, отштукатурены. На Карловом мосту шаг Скорины сам собою замедляется: в мощно выгнутых берегах величавой Влтавы спокойно плещут-мигают волны. Они спокойны, и он спокоен. А когда идет по мосту, то вроде бы аж по шестнадцати радугам ступает, — и так с полверсты идет. И чем ближе к малостранскому берегу, тем явственней слышится лопотание мельничных колес на Чертовке, похожей на Полоту, где такие ж, как и здесь, говорливые мельницы с позеленелыми от воды и наростов тины колесами. Но Скорина сворачивает с Карлова моста не к водяным мельницам. Прежде нежели прийти в свою одинокую комнату на одной из кривоватых улочек Малой Страны, он каждый вечер заглядывает в «Вальдштейнскую господу» — корчму, где подают, ему кажется, самое холодное во всей Праге пиво и самые вкусные, томленные в кипятке мучные кнедлики. В Праге все вековечное. И «Вальдштейнская господа» — вековечная. Пиво, известно, и тут не вековечное, но когда в огромной кружке, прикрытой сверху серебряной крышкой, тебе ставят его на стол, достав из ледяной пивницы, что пивпицею была еще в XV, еще в XIV столетиях, то даже и с пивом не очень-то будешь на «ты», а тем более с вином. А вино в «Вальдштейнской госпode» — красное и белое. И только с Мельника — с крутого берега, где Влтава впадает в Лабу и где самый вкусный во всей Чехии виноград. Скорина стороной и Мельник не обошел. Он, правда, не помнит, как называлась корчма на обрывистом склоне над

Лабой, однако он точно знает, что прямо напротив корчмы на Мельнике — из окон ее — видел он пригорок, холм шишковатый, на котором, как с гордостью поведал гостю хозяин. корчмы, встречались когда-то легендарные прародители трех народов — Лех^[41], Чех и Рус. Тогда, в корчме на Мельнике, он отдельно поднял кубок густого красного вина за ее хозяина, за их встречу над Лабой — встречу чеха и руса. Встреча чехов и русов! Она уже не одно столетие продолжается. Продолжается и сейчас — на Малой Стране, в «Вальдштейнской господе», и в корчме на Мельнике, и главное — на Старом Мясте в типографии Павла Северина!..

Скорина был наверняка наслышан об истории самой Краковской академий, о роли, которую сыграли в ее основании Ягайло^[42] и его жена Ядвига, особо хлопотавшая о литвинах, десятерым из которых она, выражаясь тогдашним слогом, уфундовала возможность учиться в Праге, в Карловом университете. Здесь, понятное дело, проявился прежде всего политический расчет королевы: беря под свое меценатское крыло десятерых представителей далекой Литвы, она в результате обучения их в единоверной с нею католической Праге надеялась заполучить в их лице надежных для себя деятелей — проводников ее политики в той же далекой Литве. Но каковы бы ни были политические мотивы, по которым королева обеспечивала учебу в Праге литвинам, все-таки именно благодаря Ядвиге путь из Литвы в Чехию уже на самой заре XV столетия был проложен. И это лишь говорилось тогда, что — из Литвы, а в действительности меценатство Ядвиги открыло в чешскую Прагу дорогу юношам вообще из Великого княжества Литовского, то есть и литвинам, как тогда называли предков будущих белорусов, и русинам — тоже предкам и сегодняшних белорусов, и в первую очередь украинцев, и жмудином — собственно литовцам. «Via trita, via tuta!»^[43] — как любил говаривать сам Скорина. Вот и шли из Великого княжества в Чехию литвины. Испытанным путем прибыл сюда и Франтишек Скорина — со своим делом, со своим замыслом.

Но дорог, проторенных только в одну сторону, не бывает — по ним всегда идут встречные. Проторенный литвинами путь стал, в свою очередь, торным маршрутом для чехов. Целым столетием раньше, чем в Прагу Скорина, из Праги в Вильну пришел Иероним Пражский, посетивший, возможно, и Полоцк. С необычными для того времени идеями прибыл на виленскую землю Иероним — адепт Яна Гуса, сожженного на соборе в Констанце. Люди при жизни не знают, предшественниками чего и кого на свете они являются. Неведомо то было и Иерониму Пражскому, кто наследует ему на востоке — в Вильне и Полоцке, и на западе — в

Германии. Потомкам сегодня видно, а вот Скорина, хотя он уже сам был наследником Иеронима Пражского, вряд ли это осознавал в городе, давшем свое имя Иерониму. И также в день печатания Псалтыри не мог предположить Франциск, что произойдет спустя 85 дней в довольно близком от Праги немецком городке Виттенберге.

Ян Гус, Мартин Лютер^[44] вошли в историю как протестанты, реформаторы, духовные лица, которые выступили против костела, морально дискредитировавшего себя, погрязшего в роскоши, фарисействе, ханжестве. Католический костел уже давно подтачивали, разлагали изнутри миазмы корыстолюбия, привилегий, спесивости, коварства, стремления властвовать над всеми людьми в мире и обладать всем золотом в мире — при ослаблении нравственных требований к себе и своей пастве, особенно к феодальным верхам. Против всего этого протестовал еще в XII веке тезка Франциска Скорины — Франциск Ассизский, сделавшись монахом-нищим. Папа римский канонизировал Франциска Ассизского, но то, что осуждал Ассизский, с объявлением Ассизского святым не исчезло, напротив — оно, словно раковая опухоль, поразило тело костела, давая все более ужасающие метастазы.

Слышал или не слышал Франциск не Ассизский, а полоцкий, как, начиная еще со времен Ассизского, пап римских под знаком его величества Пенязя весело высмеивали голиарды^[45].

Слышал или не слышал Франциск Скорина о евангелии голиардов, написанном не от имени евангелиста Марка, а от Марки Серебряной? О привратной страже папы римского рассказывалось в нем да о писаре бедном, писаре богатом. И вот что с бедным писарем происходило в том веселом евангелии. Привратники папы римского и не подумали даже открывать дверь набожному бедному писарю, а на его просьбу смилостивиться над его убожеством попросту возмутились:

— Друг наш, пусть убожество твое и остается с тобой для вечного посрамления тебя! Отойди, сатана, не знаешь ибо, что может пенязь!.. Не войдешь в радость папы твоего, пока не отдашь последнего гроша своего!..

Наивной, искренней душой оказался убогий писарь, поскольку заторопился тут же на рыночную площадь, чтобы продать плащ свой, суконное платье свое и все, что имел при себе, и выручку принести привратникам папы. А те, взяв никчемное подношение бедолаги, толь-ко-то и сказали:

— Да что это значит для папской стражи! — И вытолкали убогого за дверь.

И по-иному был встречен богатый да пышный писарь. Приняла все дары от него папская обслуга да и села мараковать, как бы побольше вытянуть богатства из богача. А папа, дознавшись, что стража его заграбастала несчитанную дань, занемог даже. Богач, однако, послал и ему подсвечники из золота и серебра, и папа тут же выздоровел и крикнул своей челяди: «Я подаю вам пример! Так, как я хватаю, хватайте и вы! Мое имя есть Пенязь!..»

А твое имя, Скорина, разве Пенязь? Не ради него открыл ты здесь, в Праге, типографию — сын купца, который не возжаждал участи купца, как не пленился и судьбою тех, кто по всем городам Европы продавал индульгенции — письменные, заочные, — именем папы римского отпуская все грехи грешникам. Мартин Лютер как раз и выступит через 85 дней после напечатания Скориной Псалтыри против папских индульгенций — выступит в не столь уж далеком от Праги Виттенберге, прибыв на двери костела, в котором до того проповедовал, 95 антипапских тезисов. А где твои тезисы, Скорика?

Скорика с самого начала не стал Лютером не только потому, что не являлся, как Лютер, духовным лицом. Его вообще не занимала никакая конфессиональная организация — ни костел, ни церковь. Поэтому он в Праге понимал, что ему не может, как Яну Гусу, угрожать костер. Но что, если ими — церковниками, инквизиторами, служками алтарными — будет разгадана его идея? А идея-мысль его — не только его идея-мысль. За нее — и Бабич, и Онков. И едва ли не весь Виленский патрициат с ним в его дерзкой ренессанской попытке перевода богослужебных книг на древнебелорусский язык и упрощения богослужебного ритуала.

Однако с самого начала он решил не возвещать свою идею открыто. Тезисов не вывешивать! Ему нужно еще время, чтобы подготовиться. А подготовка — вот она: печатание книг для люда посполитого, людей одного языка. Ни Скорина, ни Бабич, ни Онков не против православной церкви, не против католического костела. Они против одного — против тьмы. И если это было против духовенства, то лишь против ущербного, заскорузлого, дремучего в своем невежестве. Но в целом печатная книга Скорины в то же время, несомненно, возвышалась и над паствой католической и над паствой православной — вообще над всем многоверием Великого княжества Литовского, становясь еще и как бы заявкой на веру отдельную — не папистскую, не лютеранскую, но, может быть, литвинскую, или русско-литвинскую, или белорусскую. Случится то или не случится, объявит себя в новом определении или не объявит то особое, что объективно содержится в начинании Скорины, сам он, Скорина, понятное дело, в точности знать не

может, но в мыслях о возможном продолжении своего дела вполне охотно предполагает. Человек предполагает, бог располагает. В его честь Скорина книги ведь и печатает, а там уж — богу виднее, его божья воля, его соизволение!..

Средневековье было и тьмой и светом: светом, когда объявляло, что чужбина человеку есть неведение, а его отечество есть знания. Именно туда, где во времена Скорины были знания, он прежде всего и стремился, кончаясь как человек средневековья и начинаясь как возрожденец. Аскетическое средневековье проклинали землю, смотрело на нее как на временное пристанище тела и духа, превознося над земною жизнью счастье вечного неба. Но пока оно, это вечное счастье, на небе, сжигай меня жажда непреходящего здесь, на земле, жажда совершенствования духа человеческого, души человеческой, жажда книги, мудрости, истины!..

Но как же, однако, с вашими тезисами, пане Франциск Скорина?..

Скорина знает наверняка одно, что он — совсем не весельчак, не странствующий школяр-голиард. Он в своем скитальчестве по свету — книжник, пожалуй, многотерпеливый, пожалуй, много замечающий. А может быть, и потаенно мудрый, и тезисы свои еще объявит — кто его знает! Скорина — во всяком случае, здесь, в Праге, у типографского станка, — этого еще не знает. Помня свой Полоцк, для Полоцка книги печатая, он переносится памятью и в Краков, и в Копенгаген, и в Падую. Города! Вы словно постой на пути Скорины, жаждущего знаний, влюбленного в знания и в вас — города.

«Город — светоч? Что вы?!» — кричали мракобесы и городам, и в лицо самому Скорине. И слышал Скорина собственными ушами, и читал Скорина собственными глазами, что это с помощью не чего-нибудь иного, а именно *disputatio*^[46], неделимая троица и распинается и четвертуется на перекрестьях городских улиц, что это вообще сколько в мире докторов, столько и ошибок, сколько аудиторий, столько okazji для искушения, сколько площадей публичных, столько кощунства! «Перекупщики слов!» — еще и так весьма любили ругать печатников стародумы, огулом объявляя города безбожниками, для безбожников же построенными. И поднимали воинственные ревнители неба над головами своими Ветхий завет, и вспоминали ненавистное всем имя Каина, который построил Иерихон, в прах поверженный звуками святых труб. «Вот она — судьба города! — вопили они. — Судьба Вавилона! Бог не любит городов и академий в них, диспутантов в них. Город — воскрешение Содомы и Гоморры!..» А ты, Скорина, осмеливался любоваться родным Полоцком, да еще Краковом, да еще Падуйей, да еще Прагой. Да еще диспутировал во всех университетах

Европы. Этого тебе не спустят! Голиардов уже нет давно — тени даже не воскресишь. Несчастный писарь — не убогий, не богатый, кому ты себя противопоставляешь?!

В каждом деле есть риск. Рискуют и Скорина-печатник, и его друзья-меценаты, уверенные, что книг Франциска люд посполитый в Великом княжестве ждет, едва ли не с руками вырвет — особенно в Вильне, где и магнаты еще не знают, куда податься, к чему прислониться или, лучше сказать, что прислонить к себе, чтобы сделать своим, чем овладеть, чтобы владеть, чтобы иметь полноту такой соблазнительной власти, поскольку до сих пор указ королевский совсем не указ для магнатов на их земле, в их крае. А как необходима книга мещанам, чтобы в мудрости книжной сообща возвыситься, чтобы ею оградить себя от произвола наместников, их собратьев-временщиков, воевод и бояр, жаждущих стать магнатами. И в том уже выгода местичу, что святая книга в его доме задержится, а не только за царскими воротами в церкви. Может, и вымогательства владык тогда поубавятся? А не это ли беспокоит и цехового мастера, и челядника, и рыцаря, и слугу путного, и вообще весь люд посполитый?..

Такие думы одолевали Франциска Скорину уже в Вильне, когда собирался сюда — в Прагу; они и здесь его не оставляли, в Праге, особенно когда печатал первые листы, когда смотрел на стопы первых оттисков.

И было воскресенье — первое после печатания Псалтыри воскресенье. И в то первое после первопечатания Псалтыри воскресенье Франциску Скорине казалось, что все люди, все жители Златого города — с ним, потому что в этот день все пражане вышли на улицы и площади. И хотя в течение всего лета Скорина каждое воскресенье слышал звучащую с пражской ратуши на Старом Мясте звонкую медь голосистых труб, поднятых к небесам в проемах семидесятиметровой конусообразной башни, в это воскресенье, однако, знакомые трубы, чудилось ему, звенели звонче — словно бы в честь самого его дела, в честь праздника первопечатания. Все люди на староместской площади задирали головы, чтоб увидеть лица тех, кто дул в звонко-медные инструменты с круглыми, как солнце, раструбами. И он тоже запрокидывал голову, но лиц рассмотреть не удавалось. Его глаза ослепляли лучи уже слабеющего, предосеннего солнца, усиленного отблесками золотоподобных труб. На душе Скорины было празднично. Труб вверху было много. Неужели действительно звучат фанфары в честь Псалтыри?

Спустя полгода трубы уже не трубили, золотом не пылали, ибо он столько уже наработал в типографии Павла Северина, что город, пожалуй, оглох бы от труб; примись они звучать в его хвалу. 2 января 1518 года был

напечатан «Екклезиаст», или «Соборник», 9-го — написано послесловие к «Песне песней». Снег уже с неделю лежал на Градчанах, листва уже давно отзолотилась, пожухла, осыпалась, под снежным повойником онемела. Да не онемел спустя это продолжительное все-таки время визглеватый винт печатного пресса скорининского. И то, о чем Скорине думалось все это время, по-видимому, особенно резко, словно старое вино, просветлело, добродило как раз таки в первую неделю 1518 года, о которой у нас будет сейчас не краткий разговор, потому что речь пойдет о самой «Песне песней», печатанье которой для Франциска Скорины было, можно сказать, из праздников праздником. Ведь недаром же он оттиснул эту книжечку красками двух цветов: черной в красной. Книжечка, которую Скорина столь торжественно выделил из всех напечатанных им до сих пор тут, в Праге, книг, была весьма небольшой — 24 страницы. Чем же, однако, заслужила она особое к себе отношение Скорины?..

Без города Франциск Скорина себя просто не представлял, не отделял себя от него, как не подумывал и город его от себя отлучать. И Скорина никогда не замечал, что его средневековый город — скопление теснящихся вдоль узких улиц стен, которые зимой боятся холода, летом задыхаются от разогретого солнцем камня. И, чтобы удержать тепло зимою, стены утолщаются, а окна в них сжимаются и вытягиваются вверх, и, чтоб в жару не упустить прохладу, те же стены громоздятся в три-четыре метра толщиной и так же сужаются проемы окон, которые, словно поставленные торчком на корму челны из красного кирпича, утопают в белой известковой глади стен — челн к челну, каждый с прорубленным для солнечных лучей днищем.

Жизнь за глухими, сплошными стенами замковых валов! Ветер эти стены-валы не продует — лишь на сторожевых башнях чувствует его городская стража, вглядываясь в даль, откуда ветра и налетают, враги на конях на скакуют. В лабиринте же узких, петляющих улиц сквозняков нет. Их не было и в его родном посаде — в Полоцке. Не было в круглых университетских галереях, что особенно стали расстраиваться в Кракове как раз тогда, когда он вошел в этот город через одни из башенных ворот впервые. Не очень-то ощущается сквозняк и тут — на Старом Мясте в Праге, выходи из-за толстых стен типографии или не выходи. Тесно? А Франциск не чувствует, что *здесь* — тесно. Он любит эту тесноту, как саму жизнь, и от судьбы своей ее не отделяет, потому что он всю свою жизнь с нею — с каменной теснотой города. А действительно, может ли город быть другим — не таким, каков он есть?! И как же не любить города Скорине, не ценить его, не восхищаться истинной вековечностью, которую он чувствует

здесь, которая ну просто обвеваает, обмывает город и человека в городе со всех сторон, откуда только дуют ветра! Прекрасные, притягательные острова в извечном русле истории — города!

Город и красота — неразлучная пара. Как же называли в Полоцке ту удивительнейшую из семи городских башен-башт, окружавших Верхний замок, — самую высокую и каменную, потому что остальные были деревянными, да еще красиво отделанную, потому что остальные были без отделки, да еще видимую и из Заполотья, и из Бельчиц, и от Ефросиньиной Свято-Спасовской церкви?.. Называли Красною. Скорина помнит: Красным называли полочане и мост через Полоту, и вообще всему красивому лишь красивые имена они стремились давать: речки у них — Сосницы, потому что под соснами, Ужицы, потому что, подобно святым серебряным ужам, поблескивали чешуею волн, Лучесы, потому что словно солнечными лучами лучились на сверкающей стремнине или в тихой заводи. Красиво звучали для него и названия мест возле Полоцка, о которых он слышал с детства. Лучна всегда виделась ему в паре с Лучесой, а если мать говорила о Громощах, то словно гром начинал греметь раскатисто в ее глиняной посуде. А вспоминала мать о Светлице, и тотчас же древностью, самую вечностью веяло на маленького Франтишека от раскатистого «щ», молниевым светом ослепляло *светлице*. Домники Франтишек воспринимал домашними, Солоники — солеными, Горяны — высокими. И особенно поражала его непонятная Экимань: манила-сманивала или обманывала? Не так ли вот заманила его сюда, столь далеко от Полоцка, и книга печатная — не для того ли, чтобы попросту, быть может, обмануть?..

Таков уж, по всему видно, божий закон для этого мира, думает дальше Скорина. Куда бы, оставив Полоцк, он потом ни шел, куда бы ни ехал, в каких бы городах и весях ни задерживался, он все их не только познавал, но и сравнивал с прежде увиденными, прежде постигнутыми. И когда учился в Кракове, и когда очутился здесь, в Праге, и даже когда попал в совсем уж далекие земли — в Италийскую, в Падуанскую, — лежащие аж за Альпами, — он везде познавал и сравнивал и почти всегда останавливался на мысли, что люди повсюду видят мир весьма похоже, мудро и еще, он сказал бы, в той строгой чуткости сердца, которая с трудом их каждого дня связана, с чувством гармонии, прекрасного, неповторимого связана. Потому так часто и радовался Скорина душою и, хотя оставил родимый берег давно, горечи неутолимой от разлуки с ним не испытывал. Все города на свете — его города! Хотя... тут он хватил через край: разве города новооткрытой Индии — его города, как, впрочем, и старой Индии, куда он вряд ли когда-нибудь доедет, дойдет? Однако ж города, в которых

он побывал, — города Европы ближней и дальней — разве не все они равно дороги ему, как Полоцк, Вильна, Краков, Копенгаген, Падуя, Прага? В каждом из них он оставался самим собой и — главное — остается понятным: его понимают другие, и он понимает других. Хотя опять же — «хотя». Разве те, кто всегда его понимал и кого всегда понимал он, для него «другие»? Не другие они, а такие же, как сам он, — доктора, магистры, бакалавры, ученые мужи, воспитанники университетов...

Свою общеевропейскость Скорина чувствует. Четырнадцать лет прошло с тех пор, как оставил он родной Полоцк, а не больно ему при мысли об этом здесь, в Праге, как не было больно и прежде, в Падуе, а еще раньше — в Кракове.

Ведь и впрямь никакими тисками не сжимал его душу Краков, хотя сердце некогда и трепетало — в те первые минуты, когда он с двумя грошами в котомке подходил к одной из краковских надвратных башен, которых было здесь намного больше, чем их можно было увидеть на синем небосклоне в его Полоцке. Потом уже Скорина знал, где Клепаж, где Казимеж, где сам Вавель, а тогда все перед ним сливалось в единой трехъярусной грандиозной застройке: нижний ярус — дома местечковые; второй ярус — башни костелов, арсенала, ратуши; третий, самый высокий, возносился баштами, островерхими крышами, крестами святыней. Однако не успел Франтишек оказаться в бурсе — на улице, которая прежде называлась Жидовской, а теперь — Святой Анны, не успел услышать первые разговоры о люде краковском, о всех трех базарах города и его окрестностях, как стало для него понятным, что уже само предместье, лежащее вокруг Большого Краковского вала, близко ему, хлопцу из Полоцка, прежде всего по-славянски близко. Ведь это предместье имело и свое Заблотье, Дембники, Янову Волю и даже... Смоленск. Были здесь и Кожевники, Нова Весь, Чарна Весь. Не кожевником был его отец — торговцем шкурами, но кожевники и в Полоцке, и здесь одним и тем же ремеслом занимались. Сосен, правда, над краковской Вислой было меньше, чем дубов, но разве Сосницы не сестры Дубникам? А Заблотье — в открытую звонко напоминало о широко распространенных и на Полотчине, и на Витебщине Заозерьях, Залесьях, Запольях, тех же Заболотьях. Саму Вислу, помнил Скорина, в Полоцкой летописи летописцы называли Белой Водой. Жители Белой Руси только близкую, родственную своей душе речку-воду могли так назвать. И жил в Кракове Франциск Скорина, жил над Вислой — Белой Водой и, может быть, думал еще и о том, что само слово «белое» для его предков обозначало не только цвет, но и что-то, по-видимому, большее: волю, свободу, не исключено — и красоту, прежде

всего красоту... Ведь же и Злата Прага, где он сейчас живет, работает, золотая не только златоверхими своими, в небо вознесенными крестами, куполами, резьбою да балюстрадами, жмущимися к стенам святыней и богатых особняков, отстроенных епископами, знатью, лавочниками, перекупщиками, — золотая Прага и потому, что она еще прекрасновехая. Разве не так?..

Теперь он знает, что в тот первый раз он входил в Краков по шейке Барбакана, узкой, точно кладка над речкой, и, показалось, длинной-длинной, ибо внизу — в глубоком рву, называемом фосом, — темнела затянута зеленая ряская вода. Пока дошел до низкой арки самих Флорианских ворот, сердце стучало так, что, сдавалось, его слышит даже краснокирпичная башня. Сейчас он знает, что и само название Флорианских ворот — от имени святого Флориана, но... Но теперь, когда Франциск побывал в Падуе, многие названия зазвучали для него на новый лад. Во Флоренцию, правда, будучи в италийской земле, Скорина не попал, но сама Падуя показалась ему городом цветов. Был ноябрь. Двина в его далеком Полоцке давно уже в такую пору скована толстым, зеленым льдом, а тут, над юркой, словно белка, и почему-то красноватой волною Brenty, еще цвели всеми цветами радуги пышные розы. Родимый наддвинский шиповничек! Франциск на мгновение пожалел тебя, по только на мгновение, потому что особенно временем не располагал, потому что здесь, в Падуе, в дни его прихода пели и хороводили повсюду — на открытых широких площадях и в тесных галереях зданий. Франциску показалось, что танцевали даже вблизи костела святого Урбана, где он сдавал предварительный экзамен, и возле самого падуанского епископского дворца, где у него аи: 24 профессора принимали экзамен окончательный. И еще показалось ему тогда, что на веселые, резвые танцы в пенье падуанцев совсем незло поглядывал бронзовый муж при оружии и на коне — кондотьер Гамолятта. Выходец, подобно ему, Франциску, из посполитого люда, Гамолятта получил при жизни и шляхетство, и знаменитый титул «Capitano generale»^[47]. Может, потому и незлобиво посматривал на посполитых певцов и танцоров, что сам был не знатного рода?..

А у него, Франциска, вновь, как перед Краковом, хотя бы одно лишнее скудо за пазухой, хотя бы одно лишнее джулио^[48]! Павану, или падуану, танцевали юноши и девушки, винаты и вилеты пели молодые падуанцы и падуанки — винаты с кубком веселого вина в руке, а вилеты уже только в летучем легком хороводе. Особенно прихлась по нраву Франтишеку одна мелодия, один мотив, одна песня, в которой радостный юный люд

падуанский охотно повторял:

La bella Franceschina!

La bella Franceschina!^[49]

И хотя он понимал, что песня эта не о нем, а о прекрасной Франческе, ему почему-то продолжало казаться, что и о нем тоже поют молодые падуанцы, словно подбадривая его по-дружески перед безмолвными громадами костелов. Может, город и не предстал бы ему тогда необычайно веселым, цветущим и певучим, если бы не было перед тем дороги через Альпы, высоких перевалов, где в лицо наотмашь бил беснующийся ветер, слепила вьюга, где на каждом шагу он мог сорваться в пропасть, а на единичных горных постоялых дворах не слишком радовались гостю, да и нельзя было там ни просушить одежду, ни подкрепиться.

А вообще такая тогда была эпоха — широко распахнутая красоте, прекрасному. Потому и краковяне, жившие до того в предместье Клепаж, как только стал обращаться Клепаж в Краков, свою часть города тоже начали называть красиво — цветочным именем: Флоренция! И было это уже при Скорине. И вообще он входил в Краков, когда этот, как тогда ему казалось, самый мудрый город был на вершине своей средневековой славы: хорошел, менял свой облик — из раннеготического превращался в ренессансный. У студента Краковской академии Франциска Скорины, правда, не так уж много времени оставалось, чтоб разгуливать по кварталам одетого в леса Кракова, но именно тогда, в пору его ученья, город омолаживался — на Вавеле, в Казимеже, на Клепаже. Тогда и впрямь словно лебединой шеей выгнулись в сторону Вавеля старомаястовские строения, сливаясь в единое красно-белокирпичное тело. Частью того тела был и ансамбль университетских зданий рядом с улицей Святой Анны. И пускай самого Франциска там сегодня и нет, но ему кажется, что он там, что сегодня он соединяет прошлое и настоящее, далекое и близкое — соединяет здесь, на Старом пражском Мясте, в едином Себе.

И видит себя Франциск Скорина — ой, как часто видит! — ив далеком своем Полоцке, в доме отца. Мать совсем еще молодая, и отец молодой. Отца у Франциска нет шестой уже год. Старший брат Иван на отцовском подворье отцовское дело продолжает. Это очень важно — отцовское дело продолжать. Потому ведь и сам Франтишек не порвал окончательно с купеческим ремеслом Лукаша Скорины из Полоцка: он — в доле с братом Иваном, он и из своего кармана добавляет по возможности к тому, что виленские друзья, да и полоцкие, на книгопечатанье ему отсчитывают. А разве ж оно, печатное дело, — не отцовское? Разве не единит оно, как дело

отцовское, людей, города, земли — только уже по-иному, на свой лад?..

...Тихо потрескивал каганок. Хотя колокол на гашение огней по всему Полоцку отзвучал уже, каганок светился. Колокол бил и на прекращение поджига в банях. О, эти поджиги: того и гляди, не баню, город подожжешь, а он — солнцем высушенный, ветрами продубленный, смоляной. А как смоляной, то уже считают — вечный, поскольку смоляные стены червь не берет. Вечный-то вечный, но подожги его стрелами, окунутыми в смолу, — в мгновение ока вспыхнет и пойдет лютовать пламя, и тут же невесть откуда ветры налетят и давай на клочья рвать дикий огонь, перебрасывать его с крыши на крышу, с подворья на подворье, с улицы на улицу. Пожаров боятся все: мать, отец, соседи. Колокол загудит, и это — закон: огни гасятся, бани гасятся. Отец Лукаш баню затушил, хоть мог бы до утра, до изнеможения париться в ней, хлестать себя по груди, по плечам, по ляжкам березовым веником. Кто из полочан не любит душистого веника, горячего банного духа, от которого собственный дух твой захватывает! Отец, распаренный, пахнувший баней, Давно уже крепко спит. На столе — пустая кринка из-под молока, деревянные высоковатые кубки. Тени от них на стене — чуть заметные, неподвижные да и поменее той, что за плечами, за спиной у Франтишека. Она, эта тень, раз за разом полегоньку покачивается то в одну, то в другую сторону, словно ходит по стене, покачивается в зависимости от того, как хлопец, прижавшийся грудью к столу, переворачивает в огромном, лежащем перед его глазами фолианте добротные пергаментные листы. Хлопец переворачивает их, кажется ему, довольно быстро, поскольку очень уж хочется поскорее прочесть удивительную, славную эту книгу. Но Франтишек на деле и медленно читает, и медленно листает чудо-книгу, так случайно в руки его на одну лишь ночь вверенную...

Все знать о своей земле он жаждал постоянно. Любые сведения о ней ловил он чутким ухом своим и в Полоцке и в Вильне. Знания его собрались не за один раз — из многих уст, из многих летописей, из многих слухов и историй, что таились в сердцах полочан и виленцев, как искры в камне. И если их что-то вдруг высекало из их сердец, то глаза его тут же вспыхивали, воспалялись, чтобы никогда не погасать тем искрам в его памяти. Раскройте сегодня любую белорусско-литовскую летопись — и, может, это не с их страниц, а из самой памяти Скорины встанет перед вами, как живая, история...

«...И быша пѣрвии населници в Киевѣ варязи, в Новѣгородѣ словени, в Полоцку кривичи...»

«...Посади Владимир старѣишаго сына Вышеслава в Новѣгородѣ,

Изяслава в Полотьсць...»

«...Оженися князь Александр Невѣскый во Полотце...» Из Полоцка, оказывается, Александр Невский^[50] себе невесту брал! — то ли за выбор князя, то ли за свой город и теперь готов радоваться Франтишек. Но почему об этой женитьбе летописец так мало написал?!

«...И бысть сѣча зла, яко же не бысть в Руси... Все людие секуще акы траву... И жалосныя слезы изливаны быша, яко вода много безъмѣрна...»

Имена, имена, все — княжеские имена. И — сечи, сечи, сечи. Клятвы князей, и вновь — сечи. Слово чести, данное друг другу, крест, целованный на слюб-замирение, и снова — сечи. Мечь за клятвopреступление, за отказ от слова чести, от замиряющих обетов — сечи, сечи, сечи! Сплошь это было по всем летописям! И вроде бы никто и не виновен был в том, что меч кровавый знай себе гуляет, что меч кровавый знай себе сечет головы. Неужели так много нужно было этому мечу, чтобы вволю насытиться. Вся Русь нужна? Люди ему, как трава, люди ему, как деревья, — сечет! «И кто его остановит? — до сих пор не успокаивается Скорина. — Кто утихомирит?...» Точно мурава в прокосы над Ушой и Уллой, Полотой и Оболью, падают люди; точно Двина полноводная, льется их кровь. А слезы? А слезы — их целые озера. Много на земле полоцкой озер: Чарсвяты, Язно, Вечелье, Усомница, Умильно, Рясно... И снова скачут вой, себе чести ищут, а князю — славы!..

Франтишек не знал, за какого князя ему вступаться, кто из князей — его, кто — не его? Они его или не его: легендарный Всеслав Полоцкий, прозванный Чародеем; Рогволод, дочь которого Рогнеду^[51] брал силой себе в жены великий князь киевский Владимир^[52]; Витовт^[53], хвалу которому воздают хронисты литовские; Андрей^[54], сын Ольгерда, называвший себя королем Полоцким, а полоцкую землю — королевством Полоцким?..

Из Полоцкой же летописи Скорина особенно запомнил Иакова — Якуба-полочанина — одного из шести храбрых мужей Александра Невского, «иже мужествоваше с нимь крипко». Был этот Якуб ловчим у князя, и сам — один с единственным своим мечом — на целый отдельный заслон рыцарей-крестоносцев напал. Князь Александр, который после победы на Чудском озере станет Александром Невским, восемнадцатилетний еще, юноша, хвалил Якуба-полочанина. Читал о том когда-то Франтишек, и ему казалось, что хвалит князь Невский не только храброго воина, а весь его город, давший в руки могучему полочанину могучий же меч. И еще думал тогда Франтишек, что ловчим при князе, поупражняйся он в ловкости, как упражняются в ней на Уше и Улле его

ровесники, приставленные пасти стада, он тоже мог бы стать. Однако на героя-воина статью своей, вечно горбящийся, как вот сегодня, над книгою, разве похож он хотя бы чуточку?..

Отец проснулся неожиданно. Франтишек даже вздрогнул, застигнутый врасплох его суровым голосом:

— Или колокол еще не звонил, что ты все тут с каганцом своим тлишься в темноте? Пожар учинить решил?! Вор хоть углы оставит, а пожар все прихватит!..

Пожар?! Разве он книгой может наделать пожара? Разве пожары с книг начинаются, а не из искры — грома небесного или от кресала, -в злых руках осыпающего искры на податливую паклю, что тут же задымится, едва предательская искра на нее падет?..

Не о пожарах думает сегодня на Старом пражском Мясте Франциск Скорина. Книга — не друг пожару, жертвой огня она может стать, но пусть она лучше не горит. «Рукописи не горят», — это говорили еще римляне. Так почему же должны гореть печатные книги — дети* рукописей, достойно продолжающие их неусыпную заботу обо всем вечном, добродетельном, посполитом?..

История принадлежит человеку. Это Скорина сегодня знает. Но ни о князьях, ни о королях, исключая библейских царей, Скорина не пишет, но что и тех и других он имеет в виду, кто этого не заметит? О правде перво-наперво заботясь, о справедливости прежде всего хлопоча, разве может он тем самым не включаться в разговор с нынешними держателями скипетра, жезла, меча как знаков славы, добродетели, могущества, правосудия? О справедливости, о чистоте помыслов, о ней радеет он сейчас, думая над предисловиями к «Премудрости божией» и «Царствам», где будут напечатаны законы Моисеевы. Законы для пользы посполитой, добра посполитого — не забывай о них князья летописных времен, то разве был бы в тех летописных временах один лишь произвол? И разве не чтение летописей, будто набрякших и поло-чанскими кровью и слезами, уже тогда, в Полоцке, нацеливало Франтишека на поиски справедливости, которую он ищет сейчас, которую хочет, наконец, утвердить как универсальный закон для Полоцка, Великого княжества, Европы, всего мира вообще? Ведь разве сделали до этого сечи и князья его Полоцк славным? Франциск знает, как широко и далеко простиралось когда-то Полоцкое княжество — аж до Менеска на юге, аж до Берестья на юго-западе, Новгород, Псков, Смоленск были его соседями на востоке. Одно из сильнейших до XIII столетия, Полоцкое княжество славилось и своей столицей, и Софеей, и вечевым

колоколом, который, как в Новгороде и в Пскове, созывал люд на вече целых 400 лет — вплоть до получения городом Магдебургского права. Скорина принимает, как в чем-то отчасти и свою, славу Ефросиньи Полоцкой, Всеслава Полоцкого, Александра Невского, но разве может он принять, как свою славу, бешеную одержимость Свидригайлы, его опустошительное гарцевание от Крева до Заславля, от Борисова до Витебска, когда им, Свидригайлой, был утоплен в тонях Двины князь Михаил Иванович Гольшанский, а на высоком при-двинском городище сожжен митрополит Герасим?!

Правда, когда Франтишек вычитал однажды, что князь Андрей Полоцкий, один из семи сыновей Ольгерда, погиб на Ворскле в битве с татарами, он тогда жалел князя Андрея Полоцкого, и для него тогда меч Андрея Полоцкого, как меч любого воина-защитника, блистал над Ворсколю, отсвечивал на солнце героической славою заступника земли Русской, хотя и был тот меч на то мгновение повержен в плакучую траву татарским мечом, копытом татарского копя. Если бы мог, Франтишек изъял бы из истории всех разбойников, грабителей, хищников, разъяренно алчущих даровой наживы, навсегда бы стер со скрижалей бытия их имена. Не посеяй, а плоды возьми! Не взрасти, а полонянку в любовницы или в ясырь тащи! Не построй, а жилище сожги и пепел по ветру развеяй! Веди награбленных коней и волов — себе; вези мохнатые шкуры, белоснежные рулоны полотна, янтарный воск, тяжелые бочонки меда — себе... Пусть твой конь тащит, пусть твои слуги волокут все, что на хребет коня сброшено, все, что на плечи служек легло, поскольку право здесь одно — сильной руки, пудового кулака, разбойного меча магната или крымского хана, зачинщиков порубежной войны или тех, кто усмиряет эту войну, с одной стороны, именем великого князя Ивана III^[55], а с другой — именем польского короля... Которого уже? Казимира? Яна Ольбрахта? Александра?

Жигимонта?... Да сколько их еще будет — этих ж'игимонтов?! Да придет ли конец тому, чтобы мутился разум в чаду пепелищ, слепли очи от пыли избитых копытами шляхов, забивались ноздри трупным смрадом? Андрей — сын Ольгерда. И он как будто путем Ольгерда скачет на подмогу Святославу Смоленскому^[56]... А в памяти Скорины — слова над низкой входной дверью в библиотеку Краковской академии: «Plus ratio ovam vis»... «Больше разумом, чем силой». Но пока ведь все наоборот: больше силой, чем разумом!

Летописец смолкал. Летописец стыдился — перед людьми, перед

своим временем и последующим. До такого затем не додумывались даже татары!..

Скорина и впрямь не знал, что время, в котором он живет, назовут средневековьем, эпохой тьмы и изуверства. Но вместе с тем, осуждая это время поисками разумных отношений человека к человеку, человека к обществу и закону и — наоборот — общества и закона к человеку, разве не показывал Скорина, что насильническое средневековье — не его время, не его, потому что зряшное, оскотиненное, дикое. Чего стыдился летописец, стыдился и Скорина. А где торжествовал летописец, торжествовал и Скорина. Святослав Смоленский был казнен князем Витовтом, и летописец морализовал: «Впадися в яму, юже сотвори». Скорина пока еще не написал своего моралистического четырехстишья с образом той же ямы, которую лиходей вырыл ближнему своему, но падает в нее сам. Не написал, однако же напишет, попадая в зависимость от моралистики родных летописей и от христианского гуманизма Библии. Здесь же Франтишек — еще Франтишек, а не Франциск, — думал о другом: почему никто над Андреем Полоцким не учинил такого же суда, как Витовт над Святославом Смоленским? Ведь они же были сообщники! Хотя... Полоцк вскорости принял князем своим Витовта. И разве ж не становился его Полоцк славным, осуждая крамольного князя Андрея Ольгердовича бить поклоны Новгороду — на княжение проситься, у великого соседа искать защиты-сострадания — и тем самым как бы специально отправляя посрамленного князя на ратное поле над Ворсклой, где, словно в искупление грехов своей буйной молодости, и погибнет Андрей Полоцкий?..

...Франтишек любил, когда отец, встав раньше всех, а он имел обыкновение подниматься раньше всех, гулко топал по полу, поправляя возле стола скамейки и скамеечки, как бы заново создавая каждое утро особый мир благополучия и опрятности родного домовья. Отец обычно молчал — пышнобородый, степенный. Но его молчание понимал весь дом: в доме должно быть так, как молчит отец. «Важнее мера, чем вера», — если уж говорил отец Лукаш, выражая в этих словах убежденность купца, который вероисповеданий, странствуя по свету, навидался достаточно, а меру знал одну — выгодную купцу: кто оком не ухватит, тот мешком доплатит! Это вовсе не значит, что отцу Лукашу неведомы были меры Полоцка, Витебска, Смоленска, Москвы, Рижского берега, Гданьска, Мальборна. Купец обязан знать любую меру любой земли и любого города, чтобы перво-наперво его не обмерили и чтобы — при желании — самому обмерить, кого хочешь. «Оно испокон, — рассуждал обычно отец Лукаш, — на свете и веры разные и меры — разные». Только в разные веры Лукаш

Скоринич менее всего вникал — не они кормили его, калиту его пополняли. Ему одно доподлинно известно, что ни в Полоцке, ни в Риге, не охаивая, не купишь, не расхваливая, не продашь. А ежели соль надобно взвесить, то клади ее на скалвы^[57] тем же весом, что и воск, и в те же колокола^[58], а тот, кто взвешивает, — прочь от скалвов, рукой не пособлять, колоколов не трогать. И еще Скоринич знал, что если он — купец, то волен ехать, идти, плыть водою, куда вздумается, будучи уверенным, что и жизнь его и скарб — в безопасности, что война не должна его касаться, поскольку забота купца — везти и довести свой товар по назначению, и это его дело — двигаться верхом или пешим ходом, качаться в кибитке или трястись на открытой фуре, куда ему понадобится, и не встречать задержек и преград, будь то на дорогах или перед баштами, на воде или на суше. «Купцови чист путь винен быть!» — это слова отца. Чист на земле, чист на море, чист за морем!..

А сколько морей у его отца Лукаша было? Да столько, сколько их единила Двина, сколько их единил Оковский лес, дочерью которого отец Лукаш называл Двину. Но Оковский лес был отцом не только Двины, но и Волги, и Днепра. Не лес — легенда! «Три реки-сестрицы у одной матери-землицы, у одного отца рослого — леса Оковского!» — любил повторять Лукаш Скоринич. Отец Франтишека ни Иоанном Златоустом не был, ни Кириллом Туровским, но вон каким возвышенным слогом обращался к сердцу сыновнему, а через него и ко всем морям, к которым дочери Оковского леса спешили: и к Хвалишскому^[59], куда семидесятые устьями матушка Волга впадает, и к Черному, куда Днепр вливается, и к Варяжскому^[60], облюбованному их Двиной.

Двина! Ты — путь из варягов в греки, из греков — в варяги, в море Варяжское, Балтское! Полоцк, в том уже твоя слава, что вознес ты свои палаты под небеса на перевале славного пути из варягов в греки — сам ни полуваряг, ни полугрек, хотя где-то на полдороге из варягов в греки находишься. И уже славой этой полуваряжской, полугреческой ты как бы сам по себе покрылся, и она, слава твоя, тоже как бы сама по себе во всех землях света издавна принималась и вроде бы славою уже не была, поскольку пришла сюда сама по себе, осталась тут сама по себе. Но ведь — была, но ведь — есть!..

Отец Франтишека об этой славе не задумывался. Ни до этой, ни до какой другой славы ему вообще дела не было, потому что у купца хлопот — полон рот. Однако ж постойте, погодите! Пусть когда-нибудь и где-нибудь. и получше нашего о том скажут, но уже и тут, у нас, должно быть

сказано непременно. Кто, где и когда пел купцу осанну, хвалу? — спросим мы здесь и ответим: со времен былинного Садко никто, нигде, никогда! А почему — никто, нигде, никогда? Разве купец после Садко того не заслуживал? Или слава купца — не слава?

Благодарная, самая-самая древняя Русь по купцом вообще тебя, купец, называла, а гостем, которого зазывают, помнят, ждут, потому что желанным был твой товар, желанными были твои вести заморские, желанною была беседа с тобою — человеком бывалым, мужественным, рисковым. Был, был высоким гостем ты, а кем вскоре сделался? Купец-скупец, да еще купчишка, да еще едва ли не хриstopродавец, польстившийся на тридцать сребреников? И хоть ты — не ростовщик, но слава ростовщика с тобою, и хоть добываешь свой грош, на морозе околевая, скверным ветром продутый, разбойниками выслеживаемый, непролазными топями и пущами измученный, пустынями иссушаемый, трижды морскими волнами топленный, — грош твой честный, торговый все равно бесславный, а гульден и талер наемника-ландскнехта — славный. Бесславный, потому что меришь локтем и квартой, а не колешь пикой и не машешь саблей?! И носи ты, купче, синий кафтан, а не кармазиновый кунтуш, черные ступни, а не сафьяновые сапоги! А что за столетия изменилось у таких купцов, как отец Лукаш?! Да ничего. Дороги как были непролазными, непролазными остались, разбойники на дорогах как были коварными и беспощадными, коварными и беспощадными остались. И лишь таможней, взимающих мыто,росло на дорогах и мостах, словно той коросты! Платит не богатый, а виноватый!.. Ой, не было на свете справедливости и не будет! И не одна беда у отца Лукаша — мыто, бед хватало. Прямо-таки дрожал Скоринич, чтоб не быть растоптанным боярами, наместником, владыкой... Да только ли ими? Желających тебя подмять, навести на тебя лихо — когда их не хватало в Полоцке?! А бояре, наместник и владыка только то и делают, чтобы по возможности поболее урвать, всё земли себе прикупают, всё прирезают себе — луга с бортным деревом, с озерами и реками, с гонами бобровыми, с ловами звериными и птичьими, — на все угоды-ухожу целятся, на весь пожиток-скарб.

Это же не время, а какой-то перепад. Только что верховодили одни, да теперь их место заняли новые заводилы — верховоды из нового панства-боярства. Ио купцу от этого ни холодно, ни жарко, ни прибытка, ни убытка. Теперь купец — как между двух огней; печет и оттуда и отсюда, и тех не гневи и этих не тронь. У одних разве только Корсаков, Яцкевичей, Телиничей, как были усадьбы с пашнею на Ушаче, свои подворья в Полоцке, так у них и остались. А что с Кожчичами?.. Когда-то одни лишь

братья Сенька Федорович и Евлампий Федорович и пословали в Риге, и только про Никиту, сына Сеньки, и слышал в молодости Лукаш Скоринич: да как щедро встречали его в Риге, да как умел он о взвешивании и о воске с Рижским берегом договориться, да как удил шиллинги у Рижского магистрата. Были Кожчичи — не подступитесь Скорйпичи. А теперь — та же шкура, да не в той шкуре уже Кожчичи, как не в той и Селявы! Был боярин Андрей Селява, так то боярин был — куда до него сегодня его сыну Ивану Андреевичу! Пе те и Радковичи — не тот шик, честь!

А началось уже при Ольбрахте. И отец Франтишека Лукаш, как все купцы полоцкие, повторял: за^[61] Яна Ольбрахта погибла шляхта... Но свято место пусто не бывает. В Полоцке, однако, бояре не то чтобы гибли — в Полоцке одни из них попросту как бы отступали в тень, а другие, да и не бояре, а люди-высочки, бог святой знает, откуда брались-объявлялись. Они только под себя и гребут, местичу или купцу, мастеру или челяднику, не говоря уже о черни, дохнуть не дают. «К своим обдиралам полочане привыкли», — усмехался обычно отец Лукаш. Ну, станет дворянином Жигимонта кто-то из Корсаковичей — то ли Иван и Василь Глебовичи, то ли Петр Семенович Епимах, — так это ж свои, наши, городские дворяне. Однако ревность уже охватывает отца Лукаша, когда он говорит о князьях Полубенских, Глинских, объявившихся тут после того, как смоленские земли отошли к Москве. Облюбовали они себе Полоцк, а король им тотчас и земли дарит, как будто их только и ждал: «Князь Иван Андреевич! Городской дворянин!.. Князь Федор Иванович!.. Волен дворы себе построить, и реку запрудити, и мельницы поставити — со всем правом и панством. Во как!..» А за что им полочанскую-то землю отдавать, за что Александр наградил мещанскими наделами Сестренца? Молодцы Суцевичи! Он, Лукаш, как и все полоцкие мещане, был заодно с ними против выскочки Сестренца. Конюший городнянский, князь и наместник кревский! Так в Городне и в Креве и делай что тебе угодно, а тут же тебе не Городня, не Крево — Полоцк! Пускай ты и добился от короля кровной мещанской землй на Суце — от кого добился, тот же и вернет эту землю Суцевичам: справедливость не может не победить, если за нее мы, полоцкие местичи!..

Хотя... Когда это справедливость побеждала? Вон такой же самый мещанин, как Лукаш Скорина, но только не он, не Лукаш Скорина, честный торговец шкурами, а ловкач Алфер Кортень на пепле — на продаже пепла! — выбился в шляхтичи. «И когда это шляхта была пепельной?!» — диву давался Лукаш Скоринич.

Хозяевами чувствовали себя в Полоцке жолнеры, кнехты, нимцы, как

называли их полочане, — все те пришлые люди, которых понавел в Полоцк Михаил Скепьевский. Что там Скепьевскому был наместник — Глебович он или не Глебович, — если правою рукою короля Александра был Скепьевский! А за что такая честь? За то, что проворнее других нанял солдат, что ловчее себя нашел себе помогатых — ландскнехтов Рыка, Барбера, Харитона? Лукаш Скорина и не подозревал, что за Рык и что за Харитон были те Рык и Харитон: первый — Якоб фон Рейдт, второй — Адам фон Харборг. Но отец Лукаш видел, как шествовали они перед полоцкой ратушей, как ходили по детинцу, по улицам, гулко топая ногами, чуть не выше Софеи задирая голову. А все это война, нескончаемая война — порубежная, грабительская. Он было и сам, Лукаш Скоринич, впутался в нее — не удержался. Купец он или не купец, обогащаться ему или не обогащаться, когда все вокруг обогащаются? Вот и уподобился он людям Яна Юрьевича Заберезинского — всем его Яманам, Пасывням, Станкам Волосатым и Голякам. Мало Заберезе-Заберезинскому^[62] всех его родовых земель возле Ошмян, Камня, Волмы, Дубины, Алиты — в Марковском повете, в Тройском, громадного подворья в Полоцке? Ан нет, вооружает своих Яманов и Волосатых и отправляет хотя бы в тот же Хрянский стан под Великие Луки — жгите, вешайте, берите в плен, тащите дранки на все 200 рижских рублей. И Корсаки — туда же, и Бутанка Еремеев со товарищи, и Богдан Яскович Бардовский, и Петр Семенович Епимах — королевский дворянин, и полоцкий боярин Петряш Епимахович... Хоть 30 рублей урвать рижской монетой, как Глеб Корсакович, хоть 5, как Бардовский, хоть два мерина увести ценою в два рижских рубля, как Богдан Корсак! И не одного ли только Петряша Епимаховича бог и покарал: из великолукских Пуповичей, куда он послал жолнерами и своих сынов, оба не вернулись — убиты?!

Война! Разве это не позор, что и его, Лукаша Скоринича, имя великий князь московский Иван III вписал в свою жалобу королю Александру? Развела война русичей: одни князья спешат на сторону Москвы, другие защиты у польского короля ищут. А королю на войско давай — плати. Торговля? Какая торговля в войну: серебра не вывози — *не можно*, а теперь вот и вообще никакой железки не вывози, и воска не вывози — не только из Полоцка, из Ливонии тоже.

А все произошло перед самым уходом Франтишека в Краков — где-то за год до того или за два. Вообще же стало все это в Полоцке бушевать, когда ему, Франтишеку, шесть, а то, может, и всего два годика исполнилось. И бушевало уже десять лет. И пусть бы уж .прекратилось однажды — ведь казалось иногда, что все должно улечься, утихомириться.

Франциск и сам хорошо помнит, как великая княгиня московская Елена Ивановна, родная сестра великого московского князя Ивана III, невеста польского короля Александра, подъезжала к Красной башне его Полоцка, как входила под приветственные кличи полочан в городские ворота, как направлялась в святую Софею на обедню, которую служил сам полоцкий владыка Ион-Глезна. Жена Яна Юрьевича Заберезинского была челом княгине с двумя камками бурскими, владыка — с одной. Колокола гудели, сердца полочан радовались. Напрасно радовались!.. Отгудели колокола Софеи, а желанного мира все не было. И тщетно посольство за посольством на восток снаряжалось — преимущественно с Глебовичами во главе, как потом и накануне его ухода в Краков, а также и с Петром Мишковским, и с Войцехом Яновичем во главе. С чем тогда очередное посольство возвратилось из далекой Москвы, Франциск не знает — не дождался он возвращения полоцких послов домой, отправился в Краков. Но отец его, как и прежде, сильно и в тот раз надеялся, что вечное замирение наконец наступит. Ведь любой порубежной свары лучше порубежное согласие. Эту жажду согласия, словно отцовский наказ, и взял с собой в дорогу Франтишек Скорина, когда в первый раз покидал отцовское подворье, взял и во второй раз, когда покидал его, и в третий, и в четвертый. Сколько, однако, раз покидал Франтишек отцовский порог? Не подсчитать? Но и в Падую он шел с этого порога не для того только, чтоб объявить ученым мужам, что он, Франциск, — сын Луки из Полоцка. И сюда, в Прагу, шел он с того же отцовского порога отцовский же наказ осуществлять. До слюбасогласия москвитян и литвинов отец не дождался, но идти к согласию, однако, завещал. Таков был его отец — полоцкий купец Лукаш Скорина!..

Каждый человек — драма, каждый человек — трагедия. Франциск не однажды думал, в чем была драма, в чем была трагедия жизни его отца. Драма, по-видимому, заключалась в том, что отец не любил пенязей. Купец, как мог не любить он того, за что продавал товар и чем платил за товар? А вот же не любил, более того — ненавидел деньги, все время лишь о порабощающей силе гроша и говорил, век прожив немалый, опыта набравшись немало. А опыт у Лукаша и действительно был таким, что полюбить он пенязь не мог. Коротая жизнь свою от короля Казимира до короля Жигимонта, считать Скорина умел. Он держал на своей широкой ладони дукаты и флорины, при Казимире зная, что за дукат или флорин он мог получить 14 широких грошей краковских или пражских, а те тогда и в самом деле были широкими. Но что с ними случилось при Яне Ольбрахте? Хочешь иметь тот же дукат, носи теперь уже полкопы широких грошей.

Неужто эти широкие гроши сузились вдвое, что их вдвое больше нужно, чтобы выкупить один и тот же дукат? А при короле Александре и 30 широких грошей было уже мало, чтобы выкупить прежний дукат, — 32 давай! А при Жигимонте — и того хуже: не сжимался грош, а поддел, терял цену, хоть затраченный на него пот не уменьшался, хоть на добывание его та же, что и прежде, большая купеческая сноровка требовалась. Разве, пенязь, тебе не стыдно так не ценить человеческое усердие, воочию становиться половиной цены, третьей частью цены, четвертинкой цены?! Не жаловал поэтому отец Лукаш пенязь, не верил в него, ругал его. И что сына его меньшего потянуло не к пенязю, а к книге — ой как полюбил за то своего меньшего сына Лукаш, ой как полюбил!..

Но что ты вместе с тем за человек без денег?! Без гроша в Полоцке и коза не заскачет, не говоря уже о том, что без него не откроется тут дверь в корчму, в ратушу, на воскобойню или еще куда-нибудь. Кто платит, того, говорят, и музыка, тот и музыкант. Что бы ты без денег делал, Франциск, здесь, в Праге, — книги свои напечатал бы? Деньги — уважение. Римского ты закона или греческого, а войт и бургомистр выбирают себе советчиками из тех, кто побогаче. Будь ты семи пядей во лбу, мыслящим и набожным, но если небогат, никто не выберет тебя. Отец Скорины всегда переживал, что его в полоцкую раду никогда не выбирали, хоть выбирали в нее аж 24 радника: 12 закона римского и 12 закона греческого. Он, Лукаш, так и не попал в заветное число двенадцати подходящих, набожных и мыслящих полочан. Выбирали больше бояр, нежели мещан, хотя не место здесь говорить, кто из них, бояре или мещане полоцкие, превосходил другого в справедливости, учтивости и почтительности. Тут было соперничество давнее — может, столь давнее, сколь давно стоит сам Полоцк. Но всегда фальшивцы объявлялись в первую голову среди боярских людей, поскольку боярские люди не отличались однородностью — по крайней мере, такое мнение бытовало в среде мещан — мужей, понятное дело, уважаемых и мудрых. Во всяком случае, отец Скорины любил повторять при надобности: «Ижь то не мѣщаны ся дѣють такии фалшь и неучтивость, аль ботрьскими людми. И мы виновных нашодше вкарали!..»^[63] О, то была гордость мещича, высшее сознание своей чести, своей принадлежности к поспольству полоцкому! А кстати, кто всеми фибрами своей души жаждал вычеркнуть это слово из языка полоцкого, скрутить его, как скручивают осужденного, убить его? Известно кто — бояре! Хотя бы тот же Петра Манцигирдович! О том еще отец самого Лукаша ему, подростку Лукашу Скориничу, поведал. А Лукаш Скоринич уже, сколько помнит себя, помнит и слово «поспольство» и от него сам не отступится и сыну всегда его

держаться накажет. И если уж отец Франтишека говорил «все поспольство», то, значит, его переполняло чувство гордости за эту формулу, которая уравнивала и местичей и бояр. Боярам, однако, не по нутру было подобное равенство, и они терпеть его не собирались. Руки отца дрожали, когда он вновь и вновь приносил в дом грамоты о привилегиях, а там ни в одну строку не вписано было заветное для него слово. Князья брали верх, бояре брали верх! Это понимал уже десятилетний Франтишек, но еще явственней это предстало ему накануне ухода в Краков. Он как бы и пустился в путь, отправился из Полоцка в большой мир, дабы в нем обрести ту силу, которая противопоставила бы себя всем хулителям поспольства, отлучникам его, предателям. Вот он, Франциск, по существу, и возрождает здесь, в Праге, — многие годы спустя после отцовской смерти — слово отцовское, слово местичей, гордое полоцкое слово «поспольство», раз за разом любовно повторяя его в своих «Предисловиях»: «к пожитку посполитого доброго», «людей простым посполитым к пожитку...».

А что же было трагедией для отца Франтишека — Лукаша? Пожалуй, только одно: очень уж боялся он стать приказчиком у бояр, подобно едва ли не близким своим побратимам — Гатишу, Капусте. И то ведь: как шелковенькие, чуть не с подскоком побежали в приказчики к Сеньке Радковичу, к Андрею Селяве! Да если бы он, Лукаш Скорина, дома своего полностью, подворья своего целиком лишился, и то не побежал бы!

А что бояре брали верх — это в начале XVI столетия в Полоцке понимали все, у кого были глаза, у кого были уши, — разговоры о том в городе только и слышались. О, ты — магдебургское право, якобы призванное осчастливить местичей! И король Александр вроде бы заступался за них, а в то же время Глебович, наместник, дошел до того, что стал взимать с отца Лукаша, со всех полоцких купцов пошлину даже за провоз товара по Двине. «Мешкаючи», видите ли, «на замку Полоцком» он «не мает чим поживитися». Голос отца гремел: не для того он — полоцкий купец, чтобы им живитися! Скоринич аж кипел от гнева и обиды: ведь на землях всего Великого княжества еще с времен Витовта было даровано купцам освобождение от пошрины. Бояре давно уже косились: им бы тоже такое право, а если — нет, тогда ни к чему оно и купчишкам!..

Или взять другие случаи с боярами Полоцка. Как ловко они, однако, перебрасывали поборы со своих плеч на плечи одних только местичей! Если бы не король, то и не звучал бы столь приятно для слуха отца Франтишека наказ на вечевой площади: «Приказуем, абы бояре, и мещане, и дворяне городские, и все поспольство в згоде межи собою были, а дела

бы наши господарские вси згодою посполу справляли по давному!..»

«В згоде межи собою», «дела господарские», «по давному»... Как глубоко запало все это в сердце Франциска — как глубоко! Хотя «дела господарские» разве его, Франциска, дела, да и не «по давному» он, Франциск, собрался жить, книги печатая. Отец, однако, все же очень мало понимал в делах королевских, поскольку он королю, как и все полочане, просто верил: господарь есть господарь. Так от века говорили в Полоцке. Так думал и отец Франтишека: «восподарь пак наш оузвѣдаеть король, как за свое стоять», «есть оу нас восподарь, кому нас вбороните»^[64].

Франциску все же можно только пожалеть, что не его королем был король Александр. При короле Александре люди, такие, как он, Франциск, в первый ряд выдвигались: «Тѣлок, например, — не белая кость, не голубая кровь, или тот же гауптман Хиндрик — по Полоцку на высоких каблуках дыбал. Сватом у короля был Заберезинский — дочь Ивана III сватал; в чести был и Михаил Глинский^[65] — слушал король Глинского, что бы тот ни баял ему, свое на уме держа.

Франциск Скорина понимает, что он больше своего отца знает. Ведь ему, Франциску, известно не только то, чем жил и живет Полоцк, но и то, что ведают Вильна, Краков, а теперь вот и Прага. Ему и правда жаль: не его королем был король Александр — добрый, милосердный, всем по нраву пришедшийся. Франциск еще готовился стать бакалавром, когда король Александр умер. Франциск становился бакалавром, когда королем становился Жигимонт. Разве Жигимонт его, Скорины, король? Думалось когда-то Франциску, что непременно быть ему секретарем Жигимонта, но оказался он в секретарях у короля совсем другого, прежде чем прийти в Падую и стать доктором медицинских наук. И отец-Франциска Лукаш знал уже достоверно, что сын его — секретарь короля. Но если брать по большому счету, то много ли секретарь короля мог сделать в Полоцке в той круговерти, в какой крутился отец Лукаш. Что секретарь датского или валашского короля мог сделать в круговерти Великого княжества, где князь Острожский^[66] был в яростной ссоре с Гаштольдом-Гаштовтом, а Гаштовт, воевода виленский и канцлер литовский, — с князьями или еще не князьями Радзивиллами, князь Михаил Глинский — с Яном Заберезинским, а Сангушка — с Черторийским, хотя и тот и другой принадлежали к Гедиминовичам, а Станислав Остик — с Юрием Радзивиллом, хотя оба — одной фамильной кроны, а Боговитинович — с Ильиничем, хотя тоже одной русинской крови. Отец Лукаш о том не знал, сын Франтишек о том знал. «В згоде межи собою...» В согласии?! Если бы! Кто станет его,

Скорины, сторонником, кто поддержит их общее с Бабичем, Онковым, Одверником начинание? И будет ли читать им, Скориной, напечатанную в католической Праге книгу православный князь Константин Острожский? Заглянут ли в нее литвин Заберезинский, татарин Михаил Глинский, ярый католик Альбрехт Гаштовт?..

Франциск Скорина, конечно же, больше знает, чгм Лукаш Скорина. Был ведь уже Ведрош, была и Орша. Над Ведрошем князя Константина Острожского разбили московиты. В плен тогда попали и многие полоцкие бояре, в том числе и Глебовичи — Станислав Юрьевич и Николай Юрьевич. Сам князь Острожский тоже оказался в плену, а потом бежал из него, чтобы стать героем Орши, чтобы под Оршею — спустя шесть лет после битвы над рекою Ведрош — разбить уже московитов. И вообще: чего только не случилось в 1506 году! Франциск уже вспоминал, что в том году умер король Александр и королем Речи Посполитой стал Жигимонт. А еще в 1506 году обрушился в Вильне главный купол Пречистенского собора, а стены дали трещины. Пять лет выпрашивал князь Константин Острожский у Жигимонта грамоту на восстановление собора. И получил затем эту грамоту, которая разрешала, ко всему, и строительство мельницы на Виленке — для помощи собору мельничным делом. А перед битвою под Оршей князь Константин Острожский горячо молился, обещал богу, что если победит под Оршей, то построит в Вильне две каменные церкви. И построил, несмотря на то, что запрещено было тогда православные церкви возводить. Король, однако, разрешил. Но будет ли князь Острожский — при неизвестно еще каком отношении к делу Скорины короля Жигимонта — споспешествовать книгопечатанию, как споспешествует вообще вере греческой, письменам русинским? Герой Орши, герой православной веры, пан виленский, гетман ясновельможный, князь Константин Острожский — будет ли он приветствовать его, Франциска Скорину? Отнять силой любую вещь можно, но дать той же силой даже книгу — не дашь! О, дела господарские, вы есть дела господарские! О, дела княжеские, вы есть дела княжеские! А твое дело, Скорина, — разве ж оно только твое? Или только поспольства виленского, полоцкого?.. Ответить на эти вопросы Франциск в Праге не мог.

Да, есть города, есть, словно в рубашке рождающиеся. Вильна — из них. Ее еще не было, а — по утверждению летописей — ведун Лиздейка, разгадывая сон князя Гедимина^[67], увиденный им на Турьей горе, вещал-пророчил: быть славному городу на месте сем! Ибо железный волк приснился князю Гедимину на Турьей горе, и рычал тот волк во сне князя неслыханным рыком, обещая славу городу над Виленкой.

Но еще нужно признать справедливой и ту мысль, что слава славу порождает. Когда Франциск побывал в Падуе, он перестал, как прежде, посмеиваться над Полемо-ном — якобы придворным патрицием самого римского императора Нерона, от которого где-то как раз в детские годы Франтишека услужливые летописцы по указке прежде всего Альбрехта Гаштовта стали выводить славные и великие родословные литовских князей. Действительно, что может быть в этом предосудительного, если и падуанцы вполне серьезно считали, что их город основал не кто иной, как троянец Антинор, якобы приплывший в устье Brentы из самой пылающей малоазийской Трои. Иметь за собой славу Трои, кто бы не хотел?! И поэтому тоже вполне серьезно об Антиноре говорил с юным Францискусом сам вице-приор Мусати. До Полоцка 500 славных воинов Полемона, как бы там ни было, не доплыли, поскольку не в устье Двины они высадились, а Немана. Скорина мог бы признаться, что он о том никогда и не жалел, но сейчас подумал, что, между прочим, не худо бы всегда иметь за спиною лишнюю легенду о твоём якобы самом знатном первородстве!..

О, эта слава — вечная, земная, небесная! У городов — вечная земная, у человека — не только земная. Все возникает не ради ли ее одной; город, человек, книга. Город, книга не жаждут, однако, ее в открытую, вслух. Человек жаждет — для города, где родился, для этой вот книги, что пахнет еще краской. Был бы Скорина князем, был бы у него свой волхв Лиздейка, а так кто ему славы напророчит? Глянул Скорина на печатный станок, на собственные руки, на челядников-помощников. Взойдет ли для них солнце славы?..

Если говорить о солнце, то с ним Франциск, по существу, давно вел непрерывную молчаливую беседу. Так же, как и со звездами, с месяцем — и только рождающимся, и ущербным. Звезды пророчат, двигаясь в хороводе созвездий, планеты — блужданием своим среди созвездий. В это верит каждый современник Скорины, верит и он. Только вот как поверить ему в затмение солнца словно в знамение, если он может высчитать дни затмения солнца, даты затмения месяца — полного, неполного?

Средневековый человек был весь поглощен небом. Небо знал он лучше, чем землю. В небо смотрел он как в свое вечное будущее. А дом будущего надо же знать! Не всем деревьям, цветкам, травинкам, букашкам, птицам и гадам средневековый человек названия уже дал, а небо у него все просто пело именами, размалеванное птахами и зверями — реальными и мифическими, колесницами и повозками, луками и стрелами, лютнями и гусями. Франтишек любил уже следить за Миловицею — вечернею звездой в Полоцке, наблюдать за ней с берега Двины, с отцовского

подворья. Ученый — он задумчиво смотрел в ночное небо из дворика Краковской академии, обращал к нему свой взор, выходя из аудитории Птолемея, где только что слушал звездочетов-астрономов о наивысшей власти звезд над миром, над королями и государствами, над здоровьем человека и над его болезнями, вообще над его судьбой... Словом, людей на свете сближает не только земля, на которой они живут, встречаются, но и небо с его звездами, с его солнцем. И все-таки между этими двумя людьми, о которых мы сейчас думаем, было все, может, куда проще, нежели нам сегодня представляется. А может, и не проще, а напротив — сложнее. Но сопоставим, однако, их жизненные пути, которые действительно были в чем-то похожими. Точнее говоря, Франциск Скорина как бы шел по следам своего великого предшественника и современника, потому что в Краковскую академию Николай Коперник^[68] записался на 13 лет раньше полочанина. В Падуе диплом доктора медицины получал на 11 лет раньше. Копернику во время получения диплома в Падуе исполнилось 28 лет. Обычный для тогдашних докторов возраст. Значит, Скорине в Падуе было несколько меньше, если там его считали очень юным претендентом...

Многоточие... Спасительное многоточие!.. Здесь ты весьма необходимо — протяжно-молчаливое, как пауза, пауза для тех, кто мог скептически перед этим усмехнуться: «Все люди ходят под солнцем и звездами, так при чем тут Скорина и Коперник?!» А «при чем» тут все-таки есть, и значительное...

Каноник-отшельник Фрауэнбургской башни — Коперник, конечно же, свою идею Солнца вынес из дней более ранних: из Кракова, из Болоньи или, наконец, из Рима, где получил кафедру астрономии. Но только на предсмертном ложе Коперник, возможно, уже туманящимся взором смотрел на свою великую книгу о Солнце — книгу вечной славы своей, книгу открытия Солнца. И лежала та книга на низеньком столике у высокого одра смерти открывателя Солнца — с предисловием папы римского Павла III, папе этому посвященная. Парадоксы истории! Каноника, который отнимал у бога небо и солнце, наместник бога на земле благословлял! Но разве, подобно тому, как Коперник отнимал солнце у католического бога, не отнимал Скорина у духовенства Библию, здесь, в чешской Праге, ее печатая? Конечно же, отнимал. Причем без всякого благословения со стороны сильных мира сего, не заботясь о своей безопасности — в днях, далеких еще от смертного ложа. Дерзновенно поступал Скорина, отчаянно! Ведь он, по существу, возжаждал славы себе при жизни своей, не откладывая ее на потом, как Коперник. Возжаждал? Что ж, солнце славы достойно того, чтобы его жаждать. Но что, однако,

молвит папа римский католику, ведущему себя совсем не по-католически? А что сказал бы о скорининских делах Коперник?..

И тут Скорина мог бы вспомнить, действительно ли Коперника или не Коперника слышал он однажды, будучи уже бакалавром. В том случайно услышанном на детинце Краковской академии разговоре голос одного из собеседников он узнал — его учителя Яна Глоговчика. Но кому принадлежал второй голос? Голоса раздавались внизу. Уже смеркалось, и хорошо рассмотреть лица собеседников тоже не было никакой возможности. Но вопрос того — второго, обращенный к профессору Яну Глоговчику, он звучит во всей своей сокрушенности и мягкости, словно только что произнесенный:

— Птолемей^[69] — это же так красиво! — мечтательно рассуждал тот голос. — Райская роза, — следовал вздох. — Как я могу отнять у людей Райскую розу? — беспокоился высоким тенором тот голос.

Ян из Глогова молчал.

— Красива, прекрасна Райская роза, — продолжал свою мечтательную речь собеседник, — однако выше Райской розы правда...

— Правда — выше! — подтвердил волевым тоном профессор Ян Глоговчик — и его, Скорины, учитель по аудитории Птолемея. — Но я боюсь за вас, Николай... — зашептал профессор.

Что за причина была шептаться уважаемому профессору Яну из Глогова, этого Франциск — юный, случайный свидетель разговора двоих — не мог уразуметь.

Птолемея Скорина знал как свои пять пальцев. Да и какой же средневековый ученый муж не знал Птолемея?! Любя солнце, месяц, звезды, любил Скорина и Птолемея. Он ж? и лекарем не мог в средневековье стать, не зная Птолемея. Ведь и дух и тело равно лечили тогда и зельем и звездами. Кто верил Данте в ту пору, тот верил и Птолемею — верил во все девять прозрачных небесных твердынь, что виделись и Птолемею и Данте божественной Райской розой. Сферами небесными как венчиками лепестковыми расцветала для человека средневековья Райская роза. Земля людей жемчужинкой казалась ему в глубине венчиков, словно в розово-прозрачной раковине. А двигалась, по его разумению, девятая, кристальная сфера божественной любовью. Любовь! Любовь вообще как перводвигатель всего в сферах небесных. А Райская роза — красота и апофеоз любви. И что, казалось бы, тебе нужно было, Коперник? Ведь это же благодаря тебе чудесная роза воображения человеческого завяла, прекрасные лепестки поэзии осыпались, а слава Птолемея стала его бесславьем?!

За Птолемея Скорина или за Коперника?

Ни за Птолемея напрямую не выскажется он в своих предисловиях, ни за Коперника. Но к солнцу он будет иметь касательство. Будет! И как бы между Птолемеем и Коперником окажется в том своем касательстве к солнцу. Но солнце Скорины пока еще не взошло. Он еще не стоит перед выбором: то ли ему птолемеевскую сказку о солнце невестить, то ли коперниковскую правду о нем. Он мог бы очутиться перед ней сразу, если бы все расслышал, все понял в беседе двоих — тогда, на детинце Краковской академии.

А если задаться вопросом, был ли Скорина против Коперника, то лишь в одном случае можно конкретно и определенно сказать, в чем он категорически против Коперника — в своем решении не откладывать ничего до своего смертного часа. Раз он вышел уже на стезю печатника, то и с помыслами своими он временить не желает. Не желает и не может! Эта стезя берет начало еще в Краковской академии, с ее детинца, где звучал волевой голос Яна из Глогова. Докторство! Оно ему, выходцу из семьи купца, действительно открывало путь вперед — к служению истине и к независимости. Пусть докторство и не уравнивало его в правах со шляхтой, с полоцкими боярами, но доктору наук, согласно неписаным законам средневековья, да и писаным, разрешалось то, что простым смертным не разрешалось. Докторство открывало перспективу, давало шанс — давало, только будь готовым рисковать, идти на самопожертвование. Не откладывать на завтра, а делать сегодня. И это означало также, что не резонно ждать вечной славы за порогом жизни, что нужно брать ее за крылья уже тут, на земле, тут — живым, смелым, мудрым.

Подвижники-монахи постами и молитвами добивались у бога и людей славы; рыцарь искал себе славы на ратном поле и на турнирах открыто; ученые мужи, диспутируя, сочиняя трактаты, занимаясь поисками философского камня или секретов обращения подлого металла в благородный, тоже искали себе славы открыто. А он, печатая свой перевод Библии в чешской Праге, искал себе открытой славы или не искал?

Уже шестую книгу Библии печатал Скорина в Праге на ее Старом Мясте, пять предисловий и послесловий уже написал, но ни в одном из них не поставил он еще того слова и на том месте, на котором поставит его 9 января 1518 года. И в послесловии к «Соборнику», написанном 2 января того же года, как и во всех предыдущих предисловиях, Скорина это слово не поставил, а тут — поставил. И так получается, что как бы целую неделю, со 2 января по 9 января, Скорина раздумывал, ставить это слово

или не ставить, все прикидывал да примеривал, вьюном висясь вокруг рукописи и, словно одержимый, то, о чем здесь, во всей второй главе, мы говорили, жерновами мозга своего перемалывая, к вымолке единственной и самой существенной приближаясь.

И случилось это 9 января 1518 года. «Повелением, и рацею и выкладом ученого мужа в лекарских науках доктора Франциска, Скоринина сына...» Все шло как обычно. Необычное началось после предлога «из». Обыкновенно после этого предлога стояло просто «города Полоцка» или «града Полоцка». Но душа Скорины уже вызнала меру, городу своему равную, — меру славы его, которая и позволила Скорине выказать открытую гордость за город свой, и потому он впервые здесь и назвал себя «сыном из *славного* города Полоцка». И хотя слово это было оттиснуто черной краской, а не праздничным красным цветом, на душе у Франциска Скорины было празднично.

Человек-солнце, или весьма необычная глава третья, в которой повествуется о том, как судьбой Франциска Скорины интересовались знаменитейшие доктор Иоганн Фауст, великий мистр-чернокнижник пан Твардовский, шут короля Жигимонта Станислав Станьчик, а также глиняный человечек из Праги Голем и другие.

Оставити в науце и в книгах вечную славу и наметь свою...

Франциск Скорина

Бог не все исполняет сам, дабы не лишить нас свободной воли и причитающейся нам части славы.

Никколо Макиавелли^[70]

Это было, можно сказать, его одержимостью: его Библия должна быть красивой. Так он решил и для того, чтобы Библия выглядела красивой, все предпринимает. Красивым будет сам текст — буквицы большие, буквы обычные. Иллюстраций, само собой разумеется, тоже будет много — ведь они еще важнее, чем начертание букв — они делают зримым смысл священного писания, который человек увидит, как самый мир, его окружающий, увидит собственными глазами. Не лишними будут также заставки и виньетки, хотя они в большей мере уже ради красоты вообще. Виньеточки-цветочки! Цветы он любит. А кто их не любит? Цветок ведь — сама красота, а заставка — что-то срединное между картиной и виньеткой,

и ею приятнее книгу начать и сподручнее книгу кончить. Скорина так и делает: «Песнь песней» открывает заставкой (это же — песнь песней!), как следом и «Эсфирь», к которой у него, по-видимому, особое отношение (там, где ты впервые говоришь о женщине, неужто будешь думать перво-наперво о ее лукавстве, а не о красоте ее?). А вот «Премудрость Божию» Скорина закрывает заставкой, тем самым как бы подчеркивая для себя и для всех людей важность этой книги и ее значение.

«Песнь песней» Скорина снабжает особенно красивой заставкой, изображающей ангелов: один из них с факелом в руке, другой — с луком. Может быть, это амур, как у древних римлян? Следом печатник поставил молодую девушку с распущенными на плечах русалочьими волосами. Русалку коронуется сам бог.

И что интересно: первой заставкой у Скорины пошли дети, второй — лицом похожие для сегодняшнего читателя на романтических свитезянок Адама Мицкевича не то полуженщины, не то полурыбы, третьей — двое мужчин с рогатинами в руках, коронованные венками из дубовых листьев — символами силы, мужества, мужского начала. Что, однако, означала подобная очередность в подаче заставок Скориной? Не хотел ли он еще раз напомнить, что жизнь имеет своим истоком детство, что женщина — символ красоты земной, продолжения рода человеческого, а мужчина — муж ее, защитник и страж? Но, пожалуй, самое многозначительное на всех трех заставках — щит в центре каждой из них, а на щите — солнце в лучах и молодой месяц, припадающий к правой щеке солнца. Солнце и молодой месяц везде, конечно, молчат — и молчат и не отвечают, кто бы и о чем бы их ни спрашивал. Но три изображения разнятся между собой, и тем самым они уже как бы существенно проговариваются. Ведь в самом деле: посмотрите и вы увидите, что на заставках с детьми солнце ликом — доброе, ласковое, как бы исподволь улыбающееся, а между персями полуженщин-полурыб солнечный лик уже озабоченнее, сосредоточеннее: на третьей же заставке, где застыли суровые фигуры мужчин, отчетливая суровость лежит и на лице солнца, а лучи от него не походят на детские ножки в танце, как на первой заставке, на беспокойные плавнички медузы, как на заставке с русалками, — эти лучи напоминают скорее оцетинившуюся пасть льва или игольчатый панцирь колобка-ежика.

Солнце и полумесяц — герб Скорины, его печатный сигнет. Возможно, этот выбор Скориной своего герба был обусловлен памятью года, в который он родился и когда над Полоцком стояло затмение солнца, о котором ему, еще мальцу, мать, наверное, не однажды рассказывала. Средневековые вообще не могло обойтись без символов. Бароны, графы, магнаты, рыцари .

брали в свои гербы птицу хищную, зверя хищного, мечи и пики, стрелы и алебарды. Белого орла из Гнезненского гнезда облюбовала себе для герба польская королевская династия Пястов. Черного орла — из-под черных тюрингских ветвей — избрали себе для рыцарских гербов потомки нибелунгов, западные соседи из Польши — белого орла.

Двуглавого орла, наследуя его от византийских кесарей, взял в свой герб царь московский, потому что и на восток и на запад мог равно зыркать тот двуглавый орел с вполне реальными острыми когтями. Города же Белой Руси прославляли в своих гербах туров и зубров, а более всего погоню — всадника на белом коне с поднятым над шоломом всадника мечом. Погоня была гербом и Полоцка. Меч, однако, не мог стать реалией герба Скорины — ни меч, ни крест, хотя святое писание Скорина переводил и печатал. Государственный герб Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского он поместит в своей Библии, поместят его затем и в Статуте. Будет на гравюрах Скорины все: будут стоять у него ратники с мечами в руках, будут маршировать они с алебардами, пиками и стягами в руках, будут скакать, закованные в панцири, на отяжеленных броней конях, только ни герба Короны, ни герба Великого княжества на воях или на их стягах и штандартах вы не увидите. Увидите вообще царскую корону, вообще вифлеемскую шестиугольную звезду, знаки «W», «Ж», даже двуглавого орла и другие символы, а державных — нет, не увидите. Зато в руках у библейских воинов Скорины почти на всех гравюрах развеваются флажки с его, скорининским, сигнетом, словно это самого царя Соломона герб или вообще воинства библейских времен герб. Царь Давид играет на гусях под окнами царицы Михоль, неся кивот; Моисей стоит торжественно среди звезд, львов, ланей, рыб и птиц; человек в докторской мантии, обликом весьма похожий на самого Скорину, с потупленным взором повергнутый перед богом на колени, с протянутыми к богу руками, словно просящими себе у бога книгу из рук самого бога, — на всех этих гравюрах сплошь и повсюду солнце и лунный месяц, солнце и лунный месяц.

И что еще интересно: лицо человека в мантии на гравюре из «Премудрости божией» сильно походит на солнечный лик, изображенный на заставке с двумя мальчуганами-ангелами. Походят на него лица и в буквицах «О», «Я». Как будто нарочито восклицательное «О!» останавливает вас, чтобы затем буквой «Я» сказать, что я — солнце, что солнце — в моем «Я»...

Все это трудно и долго вырезалось на верстаках, густо намазывалось краской, со скрипом винта и со стоном пресса оттискивалось, отображалось, переносилось на бумагу. И была в том подлинная красота, и

было очевидное стремление выделить свое «Я», свое лицо, свою личность. Что раньше создавалось в типографии Павла Северина — буквицы «О», «Я», или заставки с солнцем, ликоподобным Скорине, или, наконец, сам портрет Скорины? В конце концов — дни печатания большинства скорининских книг Библии известны: так, «Песнь песней» оттиснута была 9 января 1518 года, а книга «Иисус Сирахов», где впервые был помещен портрет Скорины, — 5 декабря 1517 года, «Премудрость божия», в которой на коленях и с книгой в руке стоит перед богом похожий на Скорину человек, — 19 января 1518 года. Значит, все это рождалось где-то в декабре — январе: и портрет создавался тогда, и заставки и буквицы с напоминающими того, кто на портрете, лицами. И лишь тогда и могло произойти в Праге то, что произошло тогда...

...Только — скамья, только — стол. Скамьи и в типографии и здесь одинаково жесткие, но дневная усталость их немного смягчает. В типографии он может прилечь, а тут — сидит, молча глядя на кружку с пивом, стоящую перед ним. Даже и после шести вечера, когда постоянных гостей у шинкаря — уже целая компания, его не трогают. Знают это его состояние, знают, как мучит его работа, которой словно и конца не видно. Знают, что он как бы набирается тут новых сил, однако и не подозревают, кто сейчас подсел к нему за пустой стол — напротив пристроился, сбоку — слева и справа...

Его постоянные оппоненты уже известны. Будь то в дремотной тишине типографии, будь то в гомонливой пивнушке, они всегда ведут себя как на ученом диспуте. Хотя порой — и как на ярмарке, а бывает — и как при уличной потасовке, не скупясь на крепкое словцо. Являются по временам все разом, иногда — в одиночку. Он никогда не знает, сколько их будет в тот или иной вечер. Но с приближением конца его работы их букет разрастается, прешумно дискутируя, — букет, известно же, самых красивых, самых очаровательных Цветков средневековья.

Легче других на подъем, настырнее и беспардоннее всех этих цветов, конечно же, пан Твардовский. Ведь он же считает себя земляком пана Франциска: Франциск — из Полоцка, а он, Твардовский, — пан из Ошмян, пан с полатай: одна нога в сапоге, другая — в лапте. И его раскатистый бас, полыхание черного пламени в очах, приспущенные к земле и до рыжины прокуренные усы — все это, ежели говорить правду, Франциску по нраву. Но диспута непосредственно с одним паном Твардовским у него никогда не получается — едва только Франциск намеревается что-нибудь молвить в свою защиту, как пан Твардовский взрывается вулканом:

— Nie pozwalam! Veto! Nihil novi!^[71]

Ну, словом, гремит пан Твардовский, все заглушая своим басом, как гремит у себя дома — в Великом княжестве и в Короне на всех сеймиках и сеймах. И когда он успел так войти в свою роль? Кажется, не столь уж и давно был тот первый вальный сейм^[72] в Польше — в 1494 году, чуть ли не в год рождения Франциска, и конституцию «Nihil novi»^[73] где-то немногим более десяти лет тому назад приняли, а вон как прочно уже утвердился в своей вольности, точнее — в своевольности пан шляхтич Твардовский, под стать настоящему пану в своей державе — не меньшему, нет, чем на Вавеле Анджей Кшицкпй или сам примас Польши архиепископ Ян Лаский! А в шутку говоря, очень уж мило изображает пан Твардовский свою вроде бы кровную обиду на пана Скорину, что тот в свой сигнет печатника поместил молодой месяц, якобы отняв у него, пана чернокнижника Твардовского, важнейшее средство его путешествий среди полночных звезд. А может быть, действительно молодой тот месяц — самое главное средство шляхетского возвышения пана Твардовского над земными долами и горами?!

— Кто вам позволил! — вроде бы со злостью, но глазами смеясь, возмущается пан Твардовский. — Как чернокнижник я протестую!..

— Молодой месяц, а равно и солнце... — пытается сформулировать Франциск новую тезу.

— Veto! — обрывает уже грозно пан Твардовский. — И никакого развития темы, выхода и вывода из нее! Я вам не ваш профессор риторики Ян из Стобницы!..

«...И как так можно?! И как так можно?!» — аж захлебывается, задыхается он, когда сечет этими коротенькими словцами. А что можно, чего нельзя, никто из гостей Франциска обычно не знал. Наконец в один из вечеров кое-что прояснилось. Не тот ли это как раз был вечер, когда Франциск закончил печатать «Книги, еже словуть Притчи Соломона, царя Израилева». Глянул на титульный лист пан Твардовский и узрел на нем гравюру: Соломон в короне. Но во что обут Соломон, никто из присутствующих разобрать не мог, поскольку ноги сидящего на троне Соломона плотно прикрывали фалды пышного царского одеяния. И только один пан Твардовский так или иначе узрел, что на ногах у царя Соломона, и тут же с понятным для всех присутствующих гневом возопил:

— Как так можно?! Как так можно — царя Соломона и царя Давида обувать в лапти?! Да у вас, пане Скорина, повем^[74] я вам, тысяча дьяволов, на гравюрах одни только холопские магерки, мужицкие повойники! Просто смердит холопством! Русь посполитая?! Хамы!.. Что, на Белой Руси и

Соломон трудиться должен?!

Станислав Станьчик — шут его королевской светлости Жигимонта, хотя и не был доктором наук, сказал при этом по-латыни:

— Ora et labor a!^[75]

На сентенцию шута никто, однако, смехом не среагировал. Единственно пан Твардовский зыркнул:

— А еще говорят, что можно узнать шута без колокольцев. Поди узнай!

Фауст попробовал шутить:

— В каком же месте вашей, господин шут, прекрасной речи смеяться?

Станьчик, однако, на вопрос доктора Фауста ответил вопросом к доктору Скорине:

— А не хотите ли взглянуть, достойнейший маэстро, на титульный лист книги «О Руфи»? С чего это пан взял да намотал на ноги жнецам, жнущим на титульной гравюре жито, столько портянок — неужто на Синае во время жатвы так же холодно, как в страду возле Полоцка?

И, чтоб совсем добить оторопелого Франциска, Станьчик ловко подрезал:

— И неужто на Синае жнецы леворукие?!

Назавтра, едва рассвело, Скорина был в типографии. Действительно, жнецы на оттиске титульного листа «Руфи» оказались леворукими. Что делать? Лихорадочно копаясь в куче деревянных заготовок, нашел ту — с леворукими селянами, отбросил в сторону. Сжечь!..

Однако на гравюре были не только злосчастные жнецы, не только стеною стояло жито. За житом виднелись еще и пригорки с дорогой среди кремней-камней, что вдруг напомнили ему Задвинье. И жечь уже ничего не хотелось. Простите, жнецы, что сделал вас леворукими! Жните, однако, жните!..

А доктор магии Фауст любил пиво. Пить пиво — тут он был настоящий мастак. И не крикуном, как петушистый пан Твардовский, был доктор Фауст, а до занудливости рассудительным. Даже в своем гоноре, которым он тоже, как и пан Твардовский, обладал, особенно тем в своем сознании кичась, что продал душу дьяволу.

— Вы никогда души не продавали, пане Франциск, а потому у вас не может быть чувства человека, который свою душу продал, — по обыкновению задумчиво до мечтательности начинал герр Фауст, являясь в послеполуночный час, а порой и раньше к постоянно доброжелательному в

своих грезах-видениях Франциску Скорине, хотя и очень утомленному дневным хлопотливым трудом. И тогда в тон Фаусту, стараясь быть в этой беседе тоже мечтательным, отвечал Фаусту Франциск Скорина:

— Я помогал отцу продавать шкуры, а сейчас помогаю продавать их брату Ивану.

— Шкуру продавать — не душу продавать, — парировал Фауст. — Но главное не только что, но и ради чего продавать, — менторско-философски пробовал выйти из темы также и доктор своих наук Фауст.

— Душу надобно спасать, а не продавать, — категорически не соглашался доктор Скорина.

— И вы думаете спасти ее книгами?! — воскликнул Фауст.

— Не думаю, а спасаю, — молвил Скорина. — Что ни делаешь, делай мудро, стараясь предвидеть результат, — говорил мне еще мой отец Лукаш, уважаемейший Фауст!..

— Извините, почтенный, об этом ученом муже не слыхивал, — на мгновение почувствовал себя неловко доктор Фауст.

— Жаль, что не слышали, жаль, — может, вполне даже серьезно закачал головой Франциск Скорина.

— Но в одном я наверняка могу вас заверить, — заверял Франциска доктор Фауст.

— В чем же? — вопрошающе вопрошал Франциск.

— Бог вам не даст премудрости. Бог — вера. А вера вне понимания.

— Верю, чтобы понимать, это сказал еще святой. Августин, — настаивает Скорина.

— Не вам, коллега Франциск, ссылаться на Августина! — восклицает Фауст. — Вы — не средневековье. Вы только прикрываетесь верой в бога в троице единого, а на деле бог ваш — разум. Что, может быть, не так?

И вот уже в руках доктора Фауста Псалтырь Скорины, вот «Притчи Соломона». «Почитать?» — спрашивает Фауст и сам же отвечает: «Почитаем!» А читать доктор Фауст умеет превосходно, и звучат в его устах слова, напечатанные Скориной, превосходно. Он, Фауст, сам ставит перед собой вопросы, и он же сам отвечает на эти вопросы.

— Ergo!^[76] — поднимается кверху палец доктора Фауста. — «Предъсловие в Псалтырь». Так что для вас, доктор Скорина, тут, в Псалтыри, главное: вера или что-то другое? Веру вы тут ищете или что-то другое, ежели черным по белому пишете: «Там ест справедливость, там ест чистота, душевная и телесная. Там ест паука всякое правды. Там мудрость и розум досконалый. Там ест милость и друголюбство без лъсти, и вси иншии добрые нравы якобы со источника оттолѣ походить?»

А что вы прежде всего находите, Франциск, в притче Соломона? А вот что: «В ней воистину ест дух разумности святой, единый, различный, смысленный, скромный, вымолвленный, движущийся, непоскверненный, истинный, сладкий, чистый, стальной, добротливый и всякую иную имеющий в себе добрую цноту...»

Чистоту и добродетель, доктор Скорина, обнаруживаете вы и тут, а не веру. Разум и чистота у вас на первом месте, а не вера. Вы — человек античности, вы — человек Возрождения. Вы — новый человек, и — главное — веротерпимый: не католик, не схизматик, не еретик, и вас еще в вашем средневековье поймут, подобно мне, другие, и тогда — горе вам!..

В логике доктору Фаусту отказать нельзя было. Доктор Фауст, уже не имеющий души, всецело полагался на свой холодный разум, который с помощью фактов доказывал свои тезисы и впрямь превосходно. Но от этого Франциску Скорине легче не было. Однако ж логика логикой — ею многое можно доказать! Он — тоже логик. Только он, Скорина, замыкаться в ней не склонен. И незачем Фаусту делать из него чистого логика — будь то грека, будь то некоего там возрожденца. Он, Скорина, — это он! Нет, Франциск не отрицает, что это он отпечатал все хвалебные слова в честь «розума досконалого» и чистоты и в предисловии к Псалтыри, и в предисловии к «Притчам Соломона»^[77]. Хотя, если придерживаться истины, те слова и ему принадлежат и не только ему. Ведь разве не знает доктор Фауст, будучи тоже ученым мужем во времена оных, что слова о духе разумности как о духе святом, едином, разнящемся, осмысленном, скромном, красноречивом, подвижном, неоскверненном, истинном, сладком, чистом, зрелом, добродетельном, — что все эти слова исходят перво-наперво от Соломона и что он, Скорина, сделал их своими, взяв у Соломона. Значит, слова о разумности духа принадлежат и ему, Скорине, и Соломону. А неужели Соломон, будучи пророком бога, в бога не верил? Но если верил Соломон, то верит и он, Скорина, и слова Соломона повторяет, хотя и пророком не числится.

Умел доказывать свои тезисы^[78] доктор Фауст, умел доказывать свои тезисы и доктор Скорина. Но после всего этого на другой день поутру не очень уверенно чувствовал себя не раз Скорина: ведь не только же у одного доктора Фауста и могла быть логика, беспокоившая логику доктора Франциска накануне. Да еще оставалась определенная горечь, что вот вроде бы и со злым духом сталкивался — с душепродавцем, с которым-то и дискутировать, пожалуй, не к лицу, с приемышем Мефистофеля, пасынком, а не сыном истины! Хотя, сомневался Скорина, доктор есть доктор...

Но что-то затягивается диспут Скорины с доктором Фаустом, и Скорине он уже начинает казаться только словами, словами, и только. А его ждет работа. Труд! Сверхшение! Дело! Не словом он должен отвечать на любые вопросы и упреки любых сил — не словом, а деянием. Деяние — главное, хотя и слово — не последняя вещь. И книги в типографии Павла Северина на пражском Старом Мясте продолжали печататься, и предисловия продолжали писаться.

Книгу «Иов» Скорина держал в руках 10 сентября — спустя более месяца после Псалтыри, и вплоть до 6 октября печатал «Притчи премудрого Соломона, царя Израилева». Целых два месяца ушло на печатание четвертой книги — «Иисус Сирахов», почти месяц на пятую — «Екклесиаст, или Сборник». Казалось бы, стал Скорина печатать книги Соломона, печатай подряд все три. Ан нет! Печатание книг Соломона он прерывает печатанием книги «Иисус Сирахов» — она появилась после притчей, а затем уже набирались вторая и третья книги Соломона — «Сборник» и «Песнь песней».

Таким образом, становилась загадкой очередность выбора Скориной для печатания той или иной книги. Действительно: почему после Псалтыри печаталась книга о многострадальце Иове? Чтобы «напервей» показать, «чего ради господь бог на добрых и на праведных допускает беды и немощи, а злым и несправедливым дает щастье и здравие»? Что здесь — проекция Скориной истории Иова-долготерпеливца на свою собственную судьбу, на «познание самого себе» через Иова? А может, он как бы готовил себя к долготерпению, к терпению вообще перед лицом сил злых и несправедливых?

Да и почему Скорина столь скрупулезен, определяя свое понимание притчи как жанра? Он, можно сказать, попросту словно влюблен в притчи за то, что они «иными словы всегда иную мудрость и науку знаменуют», «иначе ся разумеють, нежели молвлены бывають, и болши в собѣ сокритых тайн замыкають, нежели ся словами пишуць». Иначе говоря, Скорина самым этим определением любимых им притчей настоятельно, даже как бы настырно приглашает своих читателей видеть за словом нечто большее, чем само слово обозначает, открывать для себя тайну, в слове, словно в тереме красавица, сокрытую, постигать мудрость, словом вроде бы не молвленную, но в нем наличествующую, — скорининскую тайну, скорининскую мудрость!

Сезам, откройся! Потаенное, прояснись! Люди, в таинство недосказанного обязательно вникните, слова, как занавес над сценой, разведите в стороны, чтобы увидеть смысл, который — за этим занавесом!..

Скорина не мог знать слово «код», но к слову, словно к коду, он относился, и это слово-код адресовал — недоговоренное, но думанное-передуманное — и своим современникам, и, по-видимому, нам.

Итак, снова и снова — о притчах! Что же, согласно Скорине, таится в них? «Ест бо в сих притчах сокрита мудрость, якобы мощь в драгом камени, и яко злато в земли, и ядро у вореху». Мощь, золото, ядро — все, все, о люди добрые, люди почтенные, есть в моем слове, есть — в нем, за ним, под ним! Меня вы, люди, учитывая именно этот мой *секрет*, и поймете! Притчи Соломона с их мудростью человеческой я потому и печатаю раньше, чем «Премудрость божию», а книгой «Иисус Сирахов» вовсе не прерываю Соломона, а лишь хочу сказать, что и Аристотель стоит впереди «Премудрости божией» — рядом с Соломоном. Соломон для меня первый, как первый и Аристотель. «Саламон еже ест мирный и спокойный, понеже был мир и покой по вся времена царства его». Аристотель не царствовал, Аристотель — царь науки. А Соломон — царь, но в имени его, как и в моем имени, есть тишина. Если Соломон — идеал для бога, то он — идеал и для человека, жаждущего великой мудрости, идеал для меня, Скорины. Ничего у бога Соломон для себя не просил: ни дней многих, ни богатства, ни гибели врагов своих, — ничего, кроме только мудрости. Только мудрости прошу и я — ненасытный в жажде познаний и взывающий с мольбой к тебе, великий боже!..

А это Скорина имеет уже в виду себя на гравюре титульного листа «Премудрости божией». Бог — с книгой в руке — уселся на этой гравюре между двумя шестикрылыми ангелами, уселся, будто бы на троне, на кругеземле — бородатый, усатый. А он, Скорина, — лицом в профиль, ниспадающие волосы зачесаны кверху, коленопреклоненный и чуть сгорбленный, в мантии доктора — простирает пальчатые руки в сторону бога, к его поджатым ногам. Бог — с книгой в руке. Скорина — без книги, и руки Скорины как бы тянутся жадно к книге — к премудрости божьей, к сиянию, излучаемому и нимбом вокруг головы, и покатыми плечами, и руками бога. Нет, он, Скорина, перед богом не кается, не сложил молитвенно руки, а именно раскрыл их, чтобы брать. Ты уверен, Франциск, что божья книга перейдет в твои руки?..

Если бы не эта его ненасытная жажда книг, может, и не прерывал бы Скорина печатание книг Соломона печатанием книги «Иисус Сирахов». Неспроста же он в предисловии к ней объяснял, что она близка ему, «вся бо Соломонова и Аристотелева божественная и житейская» мудрость в ней «краткими словы замкнена есть». Но есть и еще два момента, которые сделали для Скорины книгу «Иисус Сирахов» особенно важной...

«...Вера без дел мертвая есть». Так словами апостола Павла говорит Скорина в предисловии к книге «Иисус Сирахов». Но ведь это и как бы слова из предисловия ко всей жизни самого Франциска. У него есть и вера и дело. И он делает свое дело изо дня в день — с утра до вечера вершит свой труд, подобно Иисусу Сирахову, который когда-то приревновал своего деда к книгам. Множество самых разных книг оставил в Александрии дед Иисуса Сирахова, увидел их внук и возгорелся желанием оставить и о себе такую же память. Так почему такую же память не может оставить после себя он, Скорина? Страсти у него хватает, печатный станок не перечит ему, и, пока он, Скорина, жив будет, книги печатать будет. О том же, чтобы как-то иначе повернуть свою жизнь, Франциск и не думает: сорок, или пятьдесят, или шестьдесят лет ему на свете отпущено — и все эти сорок, или пятьдесят, или шестьдесят лет он печатанию книг отдаст. У Иисуса Сирахова была Александрия, у него есть Полоцк, и Вильна, и Прага. Страговская книжница под стать александрийским книгосборам тех времен. А почему ровней Страговской книжнице не может стать, не должна стать и книжница в голубнице Ефросиньи Полоцкой? И может, и должна. И если этого не сделает он, то кто же сделает? На бога надейся, а сам не плошай, не поддавайся лени. Угодишь люду посполитому, то разве тем самым и богу не угодишь? Разве не благословит сделанное тобой в честь святой троицы тот, кто этой святой троице — голова?

Но увидят ли бог и люди, что он, Франциск Скорина, бога возлюбив и в хвалу перво-наперво ему, но также и ради люда посполитого, его добра и славы, книги свои составляет, тиснет-печатает, переплетает? Бог увидит — божье око вездесущее, всевидящее, всепроникающее. А люди?

«Про то ж и я, Франтишек, Скоринин сын с Полоцка...»

И в самом деле: сколько раз в предисловиях и послесловиях он вспомнил это свое «я», назвал свое имя и свою фамилию! Слово есть слово, звук есть звук: имя на бумаге человек читает, а в лицо не видит же человека, что с тем, на бумаге названным именем на свете божьем живет. Или выкрикивает человек имя другого человека, а того, чье имя выкрикнули, рядом нет, и никто из окружающих не обернется на тот звук. Эхо лесное, эхо площади или лабиринтных улиц, может, еще и повторит голосистые гласные звуки имени того, однако ж короток век и ненадежна эта слава: взлетело эхо, отдалилось, замерло, и накатывается за ним тишина — мертвая, вечная!..

«Про то ж и я, Франтишек, Скоринин сын с Полоцка», не хочу именем своим, словно эхо, гаснуть, не хочу оставаться безликим, когда могу показать себя не только богу, но и людям показать могу, как я книги пишу,

за какой сажу конторкой, какое писало в руке держу, во что я одет, какими в работе орудиями пользуюсь, без каких символов жизни и труда не представляю себе жизни своей и труда...

...Да! Это перед вами я — двадцатисеми-или, как вы еще думаете, тридцатиодолетний Скорина своей собственной персоной, за своей собственной конторкой, при своем собственном сигнете-гербе, с книгою перед собою, с писалом в руке, с добрым, спокойным лицом, в меру задумчивым, вроде собирающимся улыбнуться, но пышноватые мои усы, прикрывая молчаливые уста, как бы приглашают и саму улыбку широко открытых моих, немного выпуклых глаз, и подвижность левой моей щеки, прорезанной глубокою морщиной. Конторка застлана рушником, на котором сверху, снизу и посередине вышит орнамент, сильно мною любимый. Орнамент посередине втрое шире, чем сверху и снизу. Рушник вообще свешивает к полу густые махровые кисти, словно его только что вынули из сундука или сняли с кросен, ткань на которых и моя мать была мастерица. Орнамент — наш, народный, полоцких краев. Герб печатный, сигнет — мой. Поместил я его на сердцеподобном щите-тарче, который виден вам в просвете между полосками верхнего и нижнего орнаментов, как пряжка на поясе, — на самой широкой ленте срединного узора. Сам я в докторской мантии, в докторском берете. Слева и справа от меня, на уровне моего лица, еще два печатных сигнета, тоже на сердцеподобных щитах-тарчах, только облапленных львами. Главный печатный сигнет — на рушнике, он как бы в центре всей композиции с ее символическою солнцем и молодым месяцем. Сигнеты же, облапленные сильными львами, оба повторяют собою очертания винта и прессы. И если солнце в венке лучей символизирует у меня свет науки и мудрости, а молодой месяц, склоненный к правой щеке солнца, — начало света, рождение его, рост, силу молодую, то вот эти самые производственно-печатные сигнеты однозначно у меня утверждают, чем, каким способом и средством все достигается, с помощью чего я восхожу к солнцу науки и мудрости. Иначе говоря, друзья, солнце и молодой месяц в моем гербе *праздничном*, печатный винт и печатный пресс — в моих сигнетах *будничных*. А уж сам я, труженик печатного слова, солнцу уподобляюсь и молодому месяцу. Вот оно, мое касательство к ним: уподобляюсь! Уподобляюсь, ибо я — в царстве книг, одна из которых у меня, раскрытая, справа, а в два ряда, в три ряда — нераскрытые — от меня слева. А за раскрытой книгой справа от меня стоит полированный кувшин из-под молока, а на стенке — малеванье, словно в хате моей матери, — стилизованные цветы-бутоны, листья, желуди...

— Ха-ха-ха!.. — раздается горластый, просто захлебывающийся регот. Скорина сразу не может сообразить, кто же так разгорланился, чей это голос? Доктора Фауста? Ладно бы еще залихватского пана Твардовского, а то бирюка в своей ученой занудливости Фауста? И как же это он, мудрейший Франциск Скорина, не заметил, что не перед *людьми*, а перед ним, душепродавцем, неожиданно раскрылся в своем монологе. Что за наваждение нашло на него?! День уж *такой* сегодня, что ли?..

Но если правду говорить, то снова был не день, а поздний вечер — 5 декабря 1517 года, — поздний вечер в «Вальдштейнской господе» после многотрудного дня, когда Скорина завершил печатание книги «Иисус Сирахов», в которой он впервые поместил свой портрет. В том не было самоафиширования, амбициозности, самовыставления. хотя, конечно же, здесь налицо самоутверждение Скорины как доктора, как ученого, как печатника полное, в чем-то окончательное, безоговорочное. Но мудрец Скорина не был бы мудрецом, если бы он только себя представлял книгою об Иисусе Сирахове. Книга эта вообще у Скорины одна из первых, где представительству фамилий и лиц уделено самое большое внимание. Ведь ни много, ни мало, а восемь лиц глядят с гравюры титульного листа этой книги, имеющей под своим названием приписку: «А то сат стало накладом Богдана Онково сына, радцы мѣста Виланскаго». Так что Франциск Скорина — не в одиночестве в книге Иисуса Сирахова, не исключение, не счастливчик, дорвавшийся до жбана собственной славы и пьющий из него напрокидь — до самозабвения. «Дело мое — не только мое дело, — как бы говорит здесь Скорина. — Я не одинок, я — перво-наперво друг восьми ученым, что на титульном листе. Я — всего лишь девятый. А рядом со мной — Богдан Онков>>. А если б еще да назвал ты, Франциск, имена и фамилии, тех восьми ученых, обличья которых ты воспроизвел на гравюре титульного листа книги Иисуса Сирахова, о, как бы мы были благодарны тебе, Франциск, сегодня! Но сегодня, однако, мы об одном догадываться можем: лица эти — лица близких тебе, дорогих людей!..

Франциск Скорина хорошо помнит, как его учитель риторики Ян из Стобницы, поднимая кверху палец, обычно говорил:

— Rem terne, verba sequentur!^[79]

А тут на одной теме он сконцентрироваться никак не может, В словах, самых разных, аж тонет, а те, единственно необходимые, так и не приходят. Не потому ли, что о многом сразу думает?

И снова словно слышит Франциск голос своего учителя:

— Я учу вас риторике — ремеслу, сосуществующему с гениальностью!

Итак, Францискус, что вы можете сказать про курсус планус^[80] и какой пример привести?

Скорина давно уже знал не только тайны курсуса плануса и курсуса велокса^[81], не только простейшие стилистические приемы инверсии, разъятия фразы, усечения, недосказанности, каламбура, неоднократного повторения одного и того же слова, но и более сложную науку симметричного построения оборотов с предельно точным соблюдением клаузул — перепадов дыхания, клаузул элегических и клаузул рифмованных, законы как искусственной симметрии, так и музыкальных каденций, звукописи, аллитераций, ассонансов. Но Франциск — тоже давно уже — понял, что наука формы — не соседка гениальности, она скорее соседка схоластики. Но разве он, чувствуя себя в риторических опытах, как рыба в воде, сам уже в силу только одного этого не становится схоластом? Стал бы, не имей он ничего нового сказать людям, если бы он только искусничал со старыми догмами, как скоморох. Но что нового, однако, он может сказать после Библии, где все, как ему кажется, сказано? Он, правда, переводя Библию на родной язык, дает ей, Библии, новое звучание. Он одновременно приобщает свой родной язык, пиша предисловия к Библии, хотя бы уже к новой форме того же курсуса плануса, удивительно соответствующего спокойному, созерцательному взгляду на бога, на мир, на людей. Соответствующего, по сути, и его, скорининскому, характеру, и его, скорининскому, имени!..

Да — курсус планус! Да — твоей новизне, твоей торжественности, курсусе планусе! Вот теперь-то и выйдет самый настоящий диспут, а не только некий там турнирчик с одним лишь паном Твардовским, с одним лишь герром Фаустом.

Тема диспута? Сейчас скажем. Где он состоится? Сейчас покажем. По каким правилам? Да по всем правилам риторики! Между кем? Вы, конечно, думаете, что между теми диспутантами, которые изображены на гравюре «Диспут», помещенной на титульном листе книги, уже так хорошо известной нам по содержащемуся в ней портрету самого Франциска Скорины? К сожалению, нет, не между ними, хотя в обстановке точно такой же, что и на этой гравюре.

Итак, обстановка: в центре — конторка, на ней — полураскрытая книга. Конторка такая же, как на портрете Скорины, только голая — льняным рушником с кистями не застланная. Ученого мужа, сидящего за конторкой над полураскрытой книгой, как и четырех пожилых его коллег на переднем плане гравюры — трех бородатых и еще одного —

бритощекого, мы описывать не станем, хотя их легче описать, чем пятого из них и шестого — во втором ряду, и особенно легче, нежели седьмого, у которого на гравюре видны лишь глаза, нос, усы и борода, — тот седьмой как бы выглядывает из-за крайней колонны, стоящей у передних четырех ученых мужей за плечами. И вот именно колонны — колонны! все три! — мы очень хотели бы здесь очень подробно описать, хотя описывать почти нечего, поскольку они — всего лишь круглые столбы, подпирающие сводчатый потолок того, что и в средневековье называлось аулей-аудиторией. Эти аудитории в том же средневековье все весьма походили друг на дружку — и в Краковской академии, и в Падуанском университете, и в Карловом университете в Праге, и в Сорбоннском университете в Париже. А нам очень и очень хотелось бы в деталях описать аудиторию, показанную у Скорины на титульном листе книги Иисуса Сирахова, потому что именно в таких университетских аудиториях по всей Европе выступал сам доктор Франциск Скорина, сам обретался среди ученых мужей, подобных собранным вместе на уже известной нам гравюре под названием «Диспут».

Итак, на этой гравюре ученый муж за конторкой дочитывает трактат. Тема его: «Еще раз de animo^[82] и о пражских изданиях книг Библии многославным печатником из славного города Полоцка Франциском Скориной, сыном Луки, дважды доктором наук». Тема была сформулирована длинно, долго будет происходить и диспут по ней. Итак, диспут уже начался.

Вопрос о душе первый. Может ли жить человек без души?..

Голем: Может, ибо я, глиняный человечек, живу, хотя рабби Лем, создавший меня из глины, молитвой в меня своей души еще не вдохнул.

Станьчик: Не может человек жить без души, ибо душою жив человек.

Голем: Но разве тем, что я есмь, я не подтверждаю, что можно жить и без души?!

Станьчик: Сомневаюсь, что вы живете, ибо двигаться, махать руками, шлепать ногами, шмыгать носом еще не значит жить!

Голем: Я — дышу, следовательно — живу!..

Станьчик: Подыхая, дышат тоже...

Голем возмущается. Неприятную заминку стремится сгладить рассудительный доктор Фауст.

Фауст: Дышать, как известно, может только душа. Но если у вас, многоуважаемый коллега Голем, нет души, то, извините, что же в вас дышит?

Голем: У вас, почтеннейший вовсе не коллега мне доктор магии Фауст,

тоже нет души, ибо вы продали ее Мефистофелю, но ведь вы тоже — дышите?!

Твардовский: Дышит?! Отравляет воздух, душ-ш-ше-продавец!..

Станьчик: Если что-то имеешь, это «что-то» всегда можно продать...

Фауст: Я вновь и вновь обязан подчеркнуть, что не в продаже как таковой дело. Иуда продал Христа — а смысл? Вот я вновь и вновь обязан подчеркнуть, что все дело в том, ради чего что-то продается, в том числе и душа. Если, герры-господа, ради познания мудрости, истины, справедливости, добра и зла, то — и тут со мной, несомненно, согласится достославнейший ученый муж из Полоцка — это перед человечеством, перед человеком не проступок. Все для человека — мое кредо. И если мне не дает мудрости бог, являющий собою, как говорит Фома Аквинский, сверхмудрость, то я возьму сверхмудрость у дьявола — возьму для себя, а тем самым и для других — для добра посполитого. Разве не так, герр доктор Франциск Скорина?..

Твардовский: Тысяча дьяволов!

Голем: Диспут у нас не о дьяволах — о душе.

Станьчик: Как любят, однако, диспутировать люди о том, чего не имеют.

Фауст (обращаясь к пану Твардовскому): Вы связаны аж с тысячей дьяволов? Интересно, не тот ли это лишек дьяволов, что сопровождают каждую женщину?

Твардовский: Тысяча дьяволов — и все, и никакого лишка! Тысяча дьяволов не разберутся в ваших душах, есть они у вас или нет их у вас!

Как всем известно, очень уж нетерпеливым был великий мистр и чернокнижник пан Твардовский — человек с горячей кровью, с огненным темпераментом, как и подобает особе шляхетского рода. Но на сей раз пан Твардовский показал себя и ворчуном:

— Этот свою душу отдает богу задаром, тот продает черту с явной корыстью. А может, ни тому, ни другому ваши души не нужны? Они ж — не поршни, их рукою не пощупаешь. Вот холоп верит лишь в то, что пощупает. Может, действительно пора уже нам вспомнить души самых очаровательных наших пань, у многих из которых и впрямь-таки нет души, если они гонят нас прочь?

Голем протестует против грубиянства великого мистра — он категорически не желает совать нос и фалды женских юбок. Голем возмущается. Он понимает, что диспут о душе еще только в своем начале. О душе вон сколько мог бы сказать великий печатник Франциск Скорика,

однако печатник молчит. Пишет же он в своих предисловиях о «познании самого себе», пишет же, что для спасения души каждого печатает святое писание — пишет, а вот сам здесь молчит. И Голем открывает «Предисловие доктора Франциска Скорины из Полоцка ко всей Библии» и читает:

«Написаны суть воистину сие книги внутрь духове е^[83] разумеющим о тайнах превеликих божиих... Написаны теж и зовпуть, понеже не толико докторове а люди вченые в них разумеють, но всякий человек простой и пэсполитый, чтучи их или слушаючи, может поразумети, что ест потребно к душному спасению его...»

Голему понятно, что Франциск Скорина верит в душу, как верит в грех и спасение души от грехов. Ему становится обидно за самого себя: почему души нет у него, почему он не может познать грех, а значит, и обрести спасение? Но что такое все-таки душа, Голем не в силах себе представить. Она кажется ему в большой мере тем, что разъединяет людей, чем единит их. «А как это книги законов божьих «написаны внутрь и зовнутрь»?!» — удивляется Голем нутром своим, души не имеющим. — Что — душа внутри человека и снаружи? Почему, однако. я — живой, а вот не человек же, — горюет Голем. — Не человек, ибо нечего познавать ни внутри себя, ни снаружи. А для Франциска ведь все упирается именно в жажду «поразумети», — заключает для себя Голем. — Но тогда не брат ли он духовный доктору Фаусту, который тоже ведь жаждет разумения?..»

Вторым на диспуте был вопрос о спасении грешной души, или о пользе инквизиции и о том, в какой стране еретиков лучше сжигают...

Голем: В Чехии это делают из рук вон плохо: чехи — скупцы и ленивцы. Даже Яну Гусу не подвезли в Констанцу лишнего поленца дров.

Твардовский: У нас, в Речи Посполитой, не жгут, у нас — толеранция^[84]. Но, слышал я, оч-чень красиво жгут в Гишпании: перед костром даже просмоленную до черноты бочку с водой ставят, а в нее опускают плавать белую лилию — символ чистоты духа человеческого. Кто желает, может из бочки с белой лилией на руки или на грудь колдуну, которого сжигают, воды плеснуть, с губ побрызгать, чтоб подольше жарился!..

Фауст: Во Франции так сырые дрова берут для костра — надежней не горят...

Голем: Но лучше всего, говорят, сжигают в Италии — там народ темпераментный: кричит, песни неаполитанские поет. Если бы там сжигали вас, Франциск, «Франческу», поди, запели бы!..

Фауст: На Альбионе сжигают более торжественно — там при этом безмолвствуют. Британцы вообще джентльмены: любят помолчать и послушать, как потрескивает огонь...

Станьчик: Нет, Литва все же предпочтительней — в Литве только мертвых сжигают...

Скорина: Сжигали. На капищах. Гедимины, Ольгерды...

Твардовский: Язычники!..

Скорина: Язычники. Да, язычники разлучали тело с этим светом. А на траурный костер бросали медвежьи и рысьи когти, чтоб на высоченную гору, где, по их представлению, свершается страшный суд, легче было с помощью тех когтей вскарабкаться...

Фауст: Это невозможно, чтоб у нехристей был страшный суд!..

Был, однако же, у древних литовцев миф о страшном суде, о чем Скорина знал, как знал и о том, что на по-леннипах, на которых сжигались трупы литовских князей при всем вооружении, сгорали и белые их кони, на которых они любили при жизни гарцевать, и любимые жены, и верные слуги. Знал, но говорить об этом не хотел — не хотел даже тени бросать на обычаи своих сограждан — литовцев, жмудин, для которых, равно как и для него, литвина, а не литовца, их общее княжество было Великим, и оно чтить память предков равно по большому счету и литовца, и литвина, и русина обязывало.

И так как Скорина молчал, очень пространно начал доктор Фауст:

— А вы напрасно, многочтимый пане Франциск, отмежевываетесь от нас, как будто вы — это не мы, как будто вы без чудодейственных сил обходитесь. Мы — откровенно с Мефистофелем, с тысячами дьяволов, как уважаемый мистр Твардовский. А с какою силою вы в стоворе действуете, что она и от костра вас защищает, и дает вам силы превозмогать вашу усталость?..

— Я догадываюсь! — перебил доктора Фауста пан Твардовский. — Французы говорят в таком случае: «Chercher la femme!..» Ищите женщину!.. Вы только посмотрите, уважаемейший доктор Фауст, на гравюры месье Скорины с изображенными на них дамами: Эсфирь, Юдифь, дочь фараона — они же все на одно лицо. Не думаю, однако, что они — воплощение дамы сердца нашего Франциска. Я могу даже поклясться в этом дамой сердца своего!..

— Бабой-ягой? — слукавил Станьчик.

— Простите, пан шут, не имею дамы сердца своего лишь потому, что очень люблю литовских баб, — отрезал пан Твардовский. — О них, однако, другим разом. А всех вас, панове-рада чернокнижных и светлокнижных

сил, прошу сейчас глянуть прежде всего вот на эту паненку, держащую раскрытый мешок перед Юдифью, которая вот-вот бросит в него отрубленную на изменническом ложе голову Олоферна. Вы же видите эту паненку перед Юдифью? И вы заметили, конечно, ее распущенные по плечам — аж до пояса — и точь-в-точь русалочки волосы?.. А теперь взгляните сюда: разве не такие же волосы у подружки Эсфири на гравюре в книге об Эсфири? Эта паненка стоит за плечами Эсфири с веночком на голове. С веночком — прошу обратить внимание! Ведь снова — как русалка, славянка!

Пап Твардовский, видя, что его слова просто сразили всех присутствующих, хотел, как всякий мистр, произвести на них еще большее впечатление, и поэтому он перешел далее в своей речи к буквам-инициалам:

— Тысяча дьяволов! — подбодрил себя пан Твардовский. — Я даже могу вам указать на инициал, которым начинается имя русалки с распущенными по плечам волосами и с веночком на этих волосах. Итак, прошу внимания! А rgoros! Уже только за сие вы можете быть поджаренным, пане Франциск! А именно — за обнажение человеческого тела! Да-да, вы, кто богохульствует в святой книге втихую, кто не только скомороха с бубном помещает в священные буквы, по и обнаженных одалисок на черепа людские усаживает, их выпуклости на телесах подчеркивает, греховность откровенно проповедует.

Не будете ли вы добры сказать мне, что делает фигура явно мужского обличья, подглядывающая из-за буквы «М» на присевшую возле правой ножки той же буквы «М» обнаженную Магдалину?! «М» — masculine^[85], мужчина?.. Нет, почтенная публика — вся наша чернокнижная и светлокнижная коллегия, — не masculine, а femininus, genus, жена, женщина! Почему же «f», «g», «ж» — под «М»? А только потому, что ваша, Францискус, чудодейственная, вдохновляющая сила — «f», «g», «ж» — называется «М»! И я поэтому именовал бы «М» и русалку с длинными распущенными волосами и с веночком на них, что скромненько постаивает себе за спиной Эсфири!..

Доктор Фауст посмотрел на пана Твардовского скептически:

— Приписываете вы, господин мистр, нашему целомудреннейшему Франциску несусветицу! Мистифицируете тут, не будучи Мефистофелем. Вот и мне — придет время — припишет некий тоже Иоганн, только не я, а Гёте^[86], некую тоже «М» — видите ли, Маргариту, да еще целую драму, трагедию присочинит. Но я, разумеется, за все это не в ответе.

В конце концов, однако, диспутаторы не пришли к согласию, действительно женщина воодушевляла печатника на перевод и печатание книг Библии или она только способствовала, помогала ему в его деле, поддерживала и защищала его. Диспутаторы были все же средневековыми людьми, большинство из которых считало женщину на 15 тысяч дьяволов богаче мужчины, и поэтому, возможно, к согласию в поисках виновницы они и не пришли. Диспут в тот вечер прервался и был отложен на вечер следующий.

Но произошло накануне того следующего вечера вот что: диспутанты как бы неожиданно вспомнили, что они — не только ученые мужи средневековья, но и Прекрасные его цветочки, каковыми они когда-то в первую встречу с Великим Печатником на пражском Старом Мясте в типографии многославного Павла Северина и представились. Вспомнили о том они, понятное дело, не вдруг, тут были вполне вероятные исторические причины, о которых мы сейчас скажем.

Сегодня, правда, трудно установить, какая мысль пришла Скорине в голову раньше: поместить в своих переводах Библии собственный портрет или засвидетельствовать свою личность переводчика посредством буквы-инициалов? Во всяком случае, уже при подготовке буквы-инициала «а» — в первую очередь «А» большого, которое заучивалось тогда как «АЗЪ» и обозначало в одинаковой мере и «начало» и «я», — Скорина просил своих граверов сделать «а» малое и «А» большое — оба со стилизованными цветками, и «А» большое отдельно — с профилем его как переводчика, как печатника. Такой профиль на «А» большом был выгравирован, однако то ли он получился не очень похожим на Скорину, то, ли попросту вообще не удался граверу, но Скорина не ограничился только им: он просил еще и еще раз лицо его и в профиль и анфас вписать в буквы и побольше буквиц снабдить изображением самых красивых цветков!

Цветков?.. Это всполошило всех известных диспутаторов круга скорининского, и вот тут все вдруг и вспомнили, что и они — Прекрасные цветки, и даже гвалт-ссору затеяли, кто из них прекраснее.

Твардовский: Я!..

Фауст: Я!..

Станьчик: Я!..

Голем: Я!..

Скорина в этот раз «я» не промолвил, а всего лишь, как линейкою учитель, показал на буквицу «Я» с цветком, похожим на ромашку, и на буквицу «К» — с тремя цветочками-колокольцами, и на буквы «N» и «П» — с цветками клевера, «В» и «Г» — с васильками, «Б» — с цветком льна.

И, может быть, впервые столь красноречиво заговорил, подводя итоги, Скорина:

— Вы же видите, уважаемая публика, или не видите, как цветет мое Поле Печатное — цветет-расцветает, как луг заливной над Двиною, как поляна в бору за озером Чарсвяты, как стежка придорожная вдоль житной нивы! А сам я не только герань, что стояла и цвела на подоконнике в материнском доме, не только василек из желтеющего жита, клеверинка с нетоптаной стежки, синий глазочек льна и его золотая головка. Я — еще и листок дубовый, и, словно вырезной, листок кленовый, и листок вербный. Я — и птица, и рыба, и зверь. Я — и ночная сова, не ладящая с журавлем; я — и рыба нерестящаяся; я — смотрите! — беззаботный козленок, и я — с-с-с! — скорпион, грозящий смертью. Я — лук и колчан, полный стрел. Я — баран с деревянной трещоткой на шее. Я — путник с булавой на зверя и нелюдя; я — страх, у которого глаза велики; я — атлант с кариатидами, что подпирают плечами витой, как веревка, стебель цветка, тянущегося в небо из середины раздвоенного ствола...

Пышные цветки средневековья перед сим великолепием цветков Печатника в его пражской Библии просто онемели. Хотя они, по правде говоря, не очень точно знали, перед чем немели. Они, к примеру, не подозревали, что это красота земли Печатника прежде всего стала красотой букв. Земли ж Печатника наши пристыженные на этот раз Цветки средневековья не видели, а потому и не могли распознать ее приметы в скорининской Библии. Но того, кто был перед ними, они, все же самые знаменитые Цветки средневековья, вполне могли узнать в его слитности с буквицами и духом Его Книги.

Так-то оно так, но все ж на белом этом свете человеку, можно сказать, не везет в двух случаях: когда люди сами себя узнают в том, что он им показывает, или когда они самого этого человека узнают в том, что он им показывает. Скорина, однако, ни о чем особенном не заботясь, стал показывать Станьчику «М» большое. И — неспроста, ибо на «М» достаточно хорошо просматривался рисунок шута с высунутым языком и вроде колокольцем во лбу. Станьчик был не ярмарочный шут, он шутом состоял при самом короле Жигимонте, и он сильно обиделся, хотя с буквы «М» начинается слово «маэстро» — мастер, а его очень любило средневековье, и Станьчик, несомненно, был мастером своего дела, а Скорина своей буквицей «М» всего только мастером и хотел назвать Стапчика.

В другой же раз пану Твардовскому в инициалах пана Франциска не понравилось наличие молодого месяца, как, впрочем, и солнца, потому что

пан Твардовский любил только ночную темень, в которой он катался по-залихватски среди звезд на оселке или молодого месяца, или ущербного.

У доктора Фауста инициалы господина печатника вообще вызывали уныние, он стремился смотреть на них по-философски — сквозь пальцы. Но и сквозь пальцы он замечал в целом ряде букв оскалы голых черепов, и это напоминало ему о его гешефте с Мефистофелем, об ином мире, куда и мудрецам когда-нибудь все же надобно выбираться, а есть ли там геенна огненная или нет, о том никто не ведает. И дед, и отец доктора Фауста предусмотрительно осторожничали — осторожничает на всяком случай и он, хотя душу дьяволу и продал.

— Но продать дьяволу душу вовсе не значит еще стать самому дьяволом. Не правда ли, Франциск? — стал намедни спрашивать Фауст у пана Франциска и добавил: — Вы тоже ведь, Франциск, книги для продажи печатаете. А стало быть, начнете продавать и «Предисловие» к Библии, и «Послесловие» к ней, да и сам перевод Библии. Но разве во всем этом нет вашей души? Так не будете ли вы и свою душу продавать?..

— Продавать буду свой труд, душу — нет! Душа моя люду посполитому принадлежит... Я уже отдал ему душу...

— Душу отдают или богу, или дьяволу.

— Богу — отдают, дьяволу — продают!..

— А где гарантия, пане Франциск, что, продавая свою Библию люду посполитому, вы не продадите ее и дьяволу: ведь он очень разный — люд посполитый!..

— Я вообще не позволил бы ее люду посполитому продавать! — подал голос пан Твардовский.

— Герр не позволил бы этого и герру Мартину Лютеру? — спросил доктор Фауст.

— Лютера я еще не знаю, — стыдясь своего неведения, продолжал пан Твардовский. — Но что дух божий обитает только в сердце рыцаря-шляхтича, а не холопа или торговца, — тут я уверен.

— Вы обижаете пана Франциска, — отозвался Станьчик. — Вы даже оскорбляете его как великого ученого мужа...

— Если муж — из мужиков, он — не муж! — гремел пан Твардовский. — Пускай хоть десять красных беретов напялит на свой лоб, хоть десяток докторских мантий натянет на ребра, мужик все равно дегтем смердит!.. Не позволю!..

— А король Жигимонт позволяет, — тихо молвил Станьчик. — И законы Речи Посполитой позволяют.

— Настоящий шляхтич плюет на законы! — обрывает Станьчика пан

Твардовский.

— Вот почему и нужно кому-то быть и Законом, и Солнцем! — твердо произносит Скорина, с благодарностью взглянув на Станьчика.

— При чем тут солнце, если речь о законе? — не сдается пан Твардовский.

— Солнце не смердит и даже не пахнет, пане Твардовский. — учтиво замечает Скорина.

— Солнцеклонник — идолоклонник! — упорствует пан Твардовский. — Да еще и полумесяц прихватывают, басурманы! Как Сулейман Великолепный!..

Тут Франциск Скорина вскипает, а потому говорит долго:

— Если я — солнце, если я — месяц, то я — не идол! И мой образ, мой портрет — не икона! Вот мой «образ» — он в букве «о» — «о» круглом, как солнце. Я — в солнце! И потому, что я — в солнце, я — человек-солнце! Я — человек, чтобы светить!

— Светить... Опротивело мне все это, — как бы сдаваясь. понизил голос пан Твардовский. — Может, лучше о бабенках поговорим, а? Как бы там ни было, а в их выпуклостях и доктор Скорина, что видать по его буквицам, знает толк!.. Тысяча дьяволов, Панове! — не то выругался, не то опять напомнил о них всей своей честной компании все еще возбужденный великий мистр.

Но какой из тысячи дьяволов ответствен за то, что случилось с великим мистром паном Твардовским едва ли не в другой вечер после того вечера, когда ничего с паном Твардовским не случилось, никто из Прекрасных цветков средневековья не знал, и — за давностью времени — с точностью неизвестно и сегодня. Но что случилось, то случилось: великий мистр объявился вдруг не как всегда, в кармазинном плаще, при серебряной шпаге, *и не в* красно-черной краковской четырехуголке без козырька, с веером зелено-блестящих перьев на ней, а в простой серенькой свитке, при деревянной сабельке и в соломенной шляпе, как у жнецов на уже известной нам гравюре из Библии Франциска Скорины. Правда, соломенная шляпа великого мистра была хотя и с одним, но все ж таки пером — из хвоста обыкновенного ошмянского певня^[87]. Этому преобразению пана Твардовского первым удивился Станьчик:

— Уважаемый мистр, не из-над Ведроша ли ваша милость ретировалась, переоблачась в смешное холопское платье?

О, велик был гнев уважаемейшего мистра:

— Будь вы рыцарем, несчастный паяц, я вызвал бы вас на турнир! Как

все же измельчала Речь Посполитая, как портит она свою голубую мужественную кровь, если высокородное имя шляхтича дает безродным пигмеям! В рыцарской Англии уже в XII веке были рыцарские турниры, а тут — начало XVI века, а что такое *турнирус*, не знают. Новый Свет — траля-ля! Мой XV век был во сто крат новее Нового вашего Света!..

О, как же гневался на Новый Свет великий мистр!..

Правда, сам Франциск Скорина всего того великого гнева великого мистра не видел, никогда о нем в слове своем — ни в устном, ни в «Предисловиях» — не упоминал. Но этот гнев, как говорил Станьчик, сам Станьчик собственными глазами созерцал. И случилось так, что разгневанный великий мистр пан Твардовский вдруг, нырнул неожиданно в кружку с золотистым пивом доктора Фауста и тут же выскочил из той кружки полностью преобразенным, веселым — в своем обычном кармазинном плаще, при серебряной шпаге, в 'своей обычной красно-черной краковской четырехуголке без козырька, с пышным — из павлиньих перьев — султаном.

В средневековье и впрямь удивительные вещи происходили не в одной лишь Речи Посполитой, но сплошь, где только не бывал знаменитый мистр пан Твардовский, а именно: в университетских аудиториях всей Европы, где он считался опытным диспутантом, в типографии славного Павла Северина в Праге на Старом Мясте, в «Вальдштей некоей господе» на пражской Малой Стране. Но этим еще не исчерпывались чудесные превращения и приключения пана Твардовского, как можно будет в том убедиться из нижеследующего.

Как доподлинно известно, на свете еще не было ни одной вещи, которая из серьезной не превращалась бы в смешную, как не было в средневековье и самых солидных диспутов, которые не превращались бы из-за нудности своей в какую-нибудь веселую игру, особенно если в тех диспутах принимали участие шуты. Таким образом, шут был причиной того — Станьчик и только Станьчик, что вся уважаемая диспутантская компания Прекрасных цветков средневековья грубо отказалась от ведения протоколов и бросилась в абсолютно непротокольную, хотя и высокоинтеллектуальную игру, в чем-то близкую к детским считалкам. Игра эта, известно, покоилась в целом на самых серьезных ученых основаниях, а суть ее заключалась в том, что наирассудительнейший, наибообразованнейший и наимедлительнейший доктор Фауст называл имя и фамилию — чьи-то, а уважаемейшие оппоненты — представители, с одной стороны, черной магии, а с другой — светлой мудрости — должны были угадать или подтвердить: «Сожжен!», «Будет сожжен!..»; «Сожжен!»,

«Будет сожжен!..»

Итак, не успел доктор Фауст объявить «Ян Гус!», как «Сожжен!» вроде бы даже с радостью воскликнул пан Твардовский — то ли гордясь, что он знает об огненной судьбе Яна Гуса, то ли другую какую причину имея для своей радости. А доктор Фауст продолжал:

— Джордано Бруно?^[88]

— Будет сожжен! — предрекали пан Твардовский и Голем.

— Жанна д'Арк?

— Сожжена! — гремели те же голоса.

— Казимир Лыщинский?^[89]

— Будет сожжен!.. — не ошибались те же голоса.

— Джироламо Савонарола?^[90]

— Сожжен! — верховодил бас пана Твардовского.

И было в тех вопросах-ответах столько мудрости, образованности, знания, что и доктор Фауст, и великий мистр пан Твардовский, и Голем, и даже равнодушный к их вопросам-ответам Станьчик казались перво-наперво сами себе вершителями жизни и смерти людей вообще, судеб человеческих вообще — вершителями, вознесенными над временем вообще, над историей вообще. Доктор Фауст грозно покручивал во впалых глазницах своими выпуклыми глазами, насквозь просматривая прошлое-настоящее-будущее и все в их пространстве видя так проникновенно, что роговица фаустовских глаз как бы отсвечивала пламенем костров, на которых горели и жертвы, уже сожженные, и жертвы, еще не сожженные. О, эта жажда познания, до чего она доводит! О, ясновидящая черная магия, ты — сила действительно самая мощная! А наидостойнейший доктор черной магии Иоганн Фауст продолжал тем временем задавать свои вопросы, первым именем на этот раз отдавая дань уважения специально чешской Праге:

— Иероним Пражский!..

— Сожжен! — вновь как на радостях отозвались пан Твардовский и Голем.

— Мигель Сервет?^[91]

— Будет сожжен!.. — опять словно затешились пан Твардовский и Голем.

— Джон Бедби^[92] — ученик Уиклифа?^[93]

— Сожжен! Сожжен!..

— Франциск Скорина?

И тут игра как бы дала осечку.

— Бу!.. — начал было машинально пан Твардовский, но взглянул на Голема и смолк.

— Так «бу» или не «бу»? — попытался пошутить Станьчик.

— Сам «бу»! — парировал грозный пан Твардовский, но это ничего не решало, и оттого тотчас и вспыхнула самая горячая дискуссия. И с самого ее начала стал кипятиться почему-то пан Твардовский. По-земляцки он поступал или по обычаю, который под Ошмянами деликатно весьма называют ошмянским самоедством, Скорине бы то трудно догадаться, но свержученейшей перепалки, что разгоралась наподобие вулкана, он не мог не запомнить на всю свою жизнь, потому что все же речь шла не о чьей-либо судьбе, а о его собственной.

После краткого «бу» пан Твардовский вдруг обнаружил свою глубокую чернокнижную осведомленность в делах англиканской церкви — он сказал:

— Скорина святое писание наше на простой язык Руси переводит, как перевел его когда-то на английский Джон Уиклиф. Но ведь за одно уже это ученику и тезке Джона Уиклифа Джону Бедби пяточки поджарили!

Всеведущий доктор Фауст посмотрел на пана Твардовского изучающе, удивляясь про себя, откуда все же эта черная сила историю не только Ошмян, но и Оксфорда знает. Вслух же доктор Фауст сказал:

— Уиклиф — не доказательство, хотя его и десять раз обвиняли в ереси, хотя его лавры и прельстили Гуса, равно как Иеронима. Но умер ведь Уиклиф как христианин... И если наш уважаемый Франциск Скорина признает бога в троице единого, и непорочное зачатие девы Марии, и пост и молитву, то какая нужда тащить его на костер? Не просит же он причастия в двух видах, как Гус; не анатомирует человеческое тело, как Сервет, души в нем не признавая; не проповедует аскезу, папскому Риму противопоставляя Речь Посполитую монахов, как Савонарола. Так за что же его на стопу огненную?!

— Как за что, если он габаритов под Ошмянами поднимет? Если, как Мюнцер^[94], хамов лапоть на хоругвях нарисует? — аж затрясся, точно в лихорадке, пан Твардовский.

— Какой из него табарит, если он знай себе на табуретке за конторкой сидит, и какой из него Мюнцер, если он вовсе не Лютер? — рассудительно пожимал плечами невозмутимо спокойный в своей убежденности доктор Фауст. Но чем невозмутимее казался доктор Фауст, тем все больше горячился пан Твардовский, поскольку у него уже не оставалось никаких аргументов, кроме звенящих от злости шпор на его высоких каблуках. И пан Твардовский прибег к последнему средству — к проклятию:

— Если он сам не будет сожжен, так пусть книги его будут сожжены,

сыны и дочки его будут сожжены!

По правде говоря, до проклятий еще никогда не доходило ни в одном диспуте, в котором имел честь принимать участие невозмутимо спокойный за свой ум и знания доктор Фауст. И тут, желая сказать, что пан Твардовский поступает не по-людски, доктор Фауст, однако, всего лишь резюмировал, что это — недозволенный в солидной компании прием. Считая себя человеком, доктор Фауст, продавший Мефистофелю душу, не мог в душе своей считать человеком пана Твардовского. А не считая того человеком, он потому и не мог сказать, что не по-людски пан Твардовский прерывает мудренейший диспут свойственным лишь простолюдину проклятием.

Однако инцидент, как теперь говорят, на том исчерпан не был. Станьчик сказал:

— Книги — дело святое, их жечь нельзя.

— Дети — цветы жизни, — поддержал его Голем. — Их жечь нельзя.

И еще добавил Голем:

— Будь у меня душа, дорогой Франциск, я всей душой переживал бы за вас!

И тут немного дольше обычного подумал доктор Фауст, поскольку, продав душу Мефистофелю, он, как известно, переживать не мог, а думать мог. И, таким образом, тут, подумав немного дольше, чем обычно доктор Фауст думал, доктор Фауст — в осуждение пана Твардовского и в поддержку Станьчика и Голема — сказал:

— Хотя мы не англичане, но мы — господа и паны и тоже должны быть, как я уже однажды говорил, джентльменами — в особенности мы, деятели черной магии, в устах которых слово есть сила реальная, грозная, мощная. И отсюда мы делаем вывод, что нашему брату проклятие как таковое должно быть запрещено. Поэтому данной и мне черной магией силой я заклинаю многочтимого пана Твардовского выплюнуть слова, ниспосланные им на книги наидостойнейшего Франциска Скоринича и на еще не рожденные им существа! Трижды выплюньте! Аминь.

Выплюнул все те слова или нет все еще гневающийся пан Твардовский, в суете сует «Вальдштейнской господы» Скорина не заметил.

Что ни говорите, но причины подобного поведения пана Твардовского, которые мы только что изложили, до конца Франциском Скориной не осознавались и, наверное, так и остались бы неосознанными, если бы вскоре не произошло еще и следующее.

...Не мог простить себе великий мистр, знаменитейший чернокнижник пан Твардовский, что он так бесславно проиграл куда, на его взгляд, менее

знатному доктору черной магии Иоганну Фаусту — не мог, и все. И тут надо было что-то делать, поскольку ничего не делать на свете не выходит не только простому смертному человеку, но даже и непростым нелюдям. И он — сделал!

— Эврика! — вскричал он, словно Архимед^[95]. — Эврика! Нашел!

Найденной оказалась собственноручно Меланхтоном^[96], ближайшим другом Мартина Лютера, сделанная запись о самых явных связях первейшего врага папы римского и всего католического костела Мартина Лютера с Францискусом Русом — это значит с Франциском Скориной. «Двух мнений быть не может! — победно подняв над своим павлиньим пером, воткнутым в черную четырехуголку, немецкой готикой заляпанный пергамент, торжественно возвестил басовитый пан Твардовский. — Это очевиднейшее доказательство скорого вознесения на небеса из праведного пламени инквизиторского костра невозлюбленного богом и Люцифером еретика Франциска Скорины!»

И пан Твардовский зачитал «документ», перевод которого ниже следует:

«Исторический вопрос о докторе Франциске Скорине, который делал подкопы под доктора Мартина Лютера.

Всем известно жизнеописание Лютера и то, что он счастливо избежал подкопов доктора Франциска, который после приезда в Виттенберг и внешностью, и манерами, и разносторонней ученостью завоевал такое расположение Меланхтона, что тот охотно пригласил его к себе. Третьим на этот ужин приглашается сам Лютер, который не менее брата Меланхтона был покорен талантами чужеземного доктора и пригласил его к себе на завтрак и для игры в шахматы. Но когда Лютер отужинал и почти в полночь возвратился домой, ему вдруг вспомнилось сделанное друзьями четыре года тому назад предостережение, чтобы он опасался некоего доктора Скорины — хитрющего пройдохи-проходимца, подговоренного епископами за две тысячи золотых сжить его, Лютера, со свету. Муж, который не однажды уже испытал подкопы дьявола и потому не мог к ним относиться безразлично, был до того теперь взволнован, что утром чуть свет сбежал из Виттенберга в Торгау, оставив распоряжение слуге, чтобы тот не только известил доктора о его неожиданном отъезде, но и возбранил ему, доктору, даже приближаться к спальне, дабы он не заколдовал ее. Однако слуга, который, безусловно, не был героем, не осмелился возбранить такому деликатному и важному чужеземцу взглянуть на опочивальню великого мужа. Когда об этом в Торгау узнал Лютер, он не только как следует

пробрал слугу, но и потребовал от магистрата Виттенберга, чтобы очевидного интригана от дьявола Франциска подвергли казни. Но с магистратом случилось то же, что с Меланхтоном и слугой Лютера: ученый и учтивый чужеземец был отпущен с простым советом покинуть Виттенберг»^[97].

Документ все присутствующие выслушали очень внимательно, и тогда сакраментальную, каковой она казалась великому ревнителю чернокнижия, тишину первым нарушил на этот раз скептический голос Станьчика:

— Что-то не очень уж походит сей Франциск Литвин на того Франциска Скорину, которого мы уже давно знаем?..

— Что-то действительно он больше смахивает на жулика или шарлатана, на вора или подхалима, чем на Франциска Скорину! — как бы соглашался со Станьчиком тихий, упрасивающий голосок Голема.

— Что-то не очень, что-то не очень, — передразнил их пан Твардовский. — Да вам век не додуматься, на что способен этот литвин, на что горазды вообще дикари-литвины, азиаты-славяне. Да они в два счета кого хочешь объегорят, подкузьмят. С них станется! Они вон даже самого искушенного в тонкостях научного познания Меланхтона подмеланхтонили, они дорогого всем еретикам и бесстрашного перед папой римским Лютера вон в какую жуть вогнали! Вы не знаете, а я его знаю — от «а» до «я». По-латыни это будет, наш доктор Фауст, от «а» до «зет»! Только в схизматической кириллице «я» и может быть последней буквой в алфавите (о, ничего подобного не позволили б джентльмены-англичане, испокон высоко ценящие свое «я»!). Так вот поверьте мне, что я знаю нашего хитрого маэстро-печатника от «а» до «я», поверьте же, тысяча дьяволов, Фомы неверующие Аквинские! А? Святое писание, Белую книгу издает достославный наш Францискус! Да эту Белую книгу без всех тысячи моих Черных книг никто не поймет!.. Лишь комментарий моих Черных книг и просветит вас, уважаемейшие коллеги мои. Единственно — он! Солнце, говорите вы, — светлое, ясное? Черное, а не светлое! Это говорю вам я, пан Твардовский, у которого, как вор, ваш любимец украл первое средство его движения меж звезд — молодой месяц!..

Вроцлава не минутъ, или глава четвертая — не самая краткая, поскольку повествуется в ней о долгой дороге Франциска Скорины из великого чешского места Пражского в славное место Виленское, а также о том, что может и чего не может обминуть на своем пути человек.

...Судьба распоряжается только половиной наших дел, другую же половину, или около того, она предоставляет самим людям.

Никколо Макиавелли

Средневековье любило называть жизнь сном. Ведь если настоящая жизнь и впрямь на небе, то эта, на земле, будучи мимолетной и призрачной, — сон и только сон! Явь и видение для средневекового человека как бы сливались воедино. А там, где он уже начинал отделять видение от яви, как ночь ото дня, — там он уже и переставал быть средневековым человеком. И тогда он говорил: «Куда ночь, туда и сон». И благословлял не черные пророчества ночи, а светлое ясновидение дня. И приветствовал дороги под солнцем, как делал то Франциск Скорина, которому они, дороги, вон уже с какого времени грезилась, а панорамы-пейзажи вдоль них стояли в глазах его, словно живые, — все и на всем протяжении: от выездных ворот пражских до въездных ворот Вильны и Полоцка, что заждались его. Скорине казалось, что заждались. Он в этом не сомневался. А как-то оно будет наяву?..

Который уже раз мысленным взором своим окидывал эту, кажется, бесконечную и то кремнистую, то песчаную, то завьюженную, то пыльную — в зависимости от поры года — дорогу, тянущуюся через мрачно-

каменные города и соломеннострехие веси, через дремучие боры и непролазные болота, по неоглядным долинам и перекатам-пригоркам, по гулким мостовым и топким гатям. И погромыхивают на этой дороге фуры, поскрипывают колеса, пофыркивают взмокшие от пота кони. Поклажу нелегкую везут кони — отпечатанные им листы, лежащие стопа в стопе, в огромных бокастых бочках. Фуры накрыты мешковиною — от дождей, от ветров. От дождей, от ветров заслонить что-нибудь легко, но как заслонить его от человеческих глаз, от их рук — от просто любопытствующих глаз и от глаз, по-шпионски выслеживающих, от рук, возле хат козырьком над глазами поднятых, и от рук, что надобно то золотить, то серебрить, останавливаясь у городских ворот, въезжая на гудящие мосты или съезжая с них. Отец рассказывал, что от купцов однажды слышал, будто есть где-то за тремя морями, девятью горами не просто караванный путь, а путь, Шелковым называемый. И представлялся некогда Франтишеку тот путь Шелковый мягким-мягким — хоть бы разок по нему ногою ступить! Везет же где-то людям, если по таким заманчивым путям ходят не только они сами, но и их верблюды и ослы! В Полоцке Франтишек знал единственно Ольгердов путь да купеческие пути-дороги своего отца, которые никто никогда великими словами не величал. И вот сейчас перед его глазами его путь — не купеческий, не шелковый. А какой, же — полукупеческий, полукнижный? Да как ни назови его, этот путь, начинающийся за Моравскими воротами и купцами называемый Янтарным, ибо на Гданьск, к полному морю Балтийскому ведет, — только этот путь и беспокоит Скорину, как беспокоит всякая неизвестность, как волнует любая дорога, когда в нее собираешься. Он бы и вовсе еще не думал о ней, если б дела не складывались так, что думать приходилось. И, сердцем тревожась за книги в дороге, жил Франциск напряженным ожиданием самой этой дороги — в труде, которому, казалось, конца-края нет и завершение которого здесь, на Старом Мясте пражском, приближалось.

Весь 1519 год Скорина работал засучив рукава, словно в беспамятстве, потому что лишь две конкретные даты под напечатанными за этот год книгами остались: первая — от 9 февраля, вторая — от 15 декабря. Причем вторая — вообще последняя пражская скорининская дата, — день, по-видимому, драматический для печатника.

И был 1519 год для Скорины годом больших надежд и большой уверенности. Много в этот же год и оборвалось надежд, но только не пошатнулась уверенность. Что был год 1519 для Скорины годом надежд и уверенности, о том свидетельствует сегодня хотя бы первая общегодовая дата, проставленная в послесловии к книге «Бытие». А ведь книга «Бытие»

начинает собою канонический текст Библии. До этой книги уже тринадцать отдельных книг Библии Франциск напечатал, не беря их, однако, в исходном порядке. А тут он вышел на самое начало с уверенностью, что путь будет пройден до конца, что все книги Библии будут напечатанными до конца. Иначе он и не печатал бы в начале 1519 года — вслед за послесловием от 9 февраля — предисловия с общегодовой датой ко всей Библии. Напечатать всю Библию — это была его мечта, это было его намерение. Намерение, по-видимому, не только на 1519 год, но и на 1520-й и на последующие годы. И если он, Скорина, вышел на великое начало, то уж пойдет в глубь писания — напористо, бесповоротно: за первой книгой Моисея будет печатать вторую, затем и третью — вплоть до пятой: «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». Подробных дат в послесловиях ко всем этим книгам Скорина как бы нарочно не ставит — зачем их ставить, если ясно, что каноническая очередность этих книг в Библии диктует ему очередность их печатания. А в какие конкретные дни та или иная книга печатается, разве это для истории столь важно?

К тому дню, когда Франциск Скорина отпечатал пятую книгу Моисея «Второзаконие», в типографии Павла Северина на Старом пражском Мясте уже лежали у него отпечатанными из всех книг Ветхого завета — восемнадцать. Среди них книга «Иисус Навин» была. Нужно было браться за следующие — «Книгу судей Израилевых», книгу «Руфь». По порядку шла первая, но первую Скорина стал печатать «Руфь». И теперь он вообще проявит свою, особую избирательность в очередности печатания книг, на что у него, наверное, имелись свои, особые причины. Действительно, если Скорина уже написал предисловие «во всю Библию», то, с одной стороны, можно предположить, что вся Библия была им к этому времени уже переведена и теперь оставалось лишь отпечатать ее (ведь как раз надеясь на полное издание Библии, Скорина и печатал свое предисловие именно ко всему писанию). С другой стороны, могло быть и так, что Скорина еще не перевел всей Библии; будучи, однако, уверенным, что переведет ее и напечатает, он и в этом случае имел все основания предисловие «во всю Библию» печатать. Но все же, как обстояло дело в действительности, сегодня сказать трудно — не все из напечатанных Скориной частей Библии до нас дошли. И, таким образом, число сохранившихся скорининских книг — вовсе не показатель вообще отпечатанных Скориной книг Библии. Их могло быть 24, если добавить «Книгу пророка Иеремии», которая не дошла до нас, но сведения о напечатании которой есть у самого Скорины — в предисловии к книге «Плач Иеремии». Но их могло быть и вообще полностью 50! И тогда, сохранись все эти 50 книг, мы иначе смотрели бы и

на 1519-й, пражский, год жизни и труда Скорины, и на два его предыдущих здешних года. А так, исходя из того, что уцелело, по нему судя о прилежании рук Скорины, и о результате его пражских лет, мы на первое место и ставим год 1519-й — год скорининского усердия и труда: 644 страницы в типографии Павла Северина было оттиснуто в 1517-м, 702 — в 1518-м и целая тысяча — в 1519-м! Вот как из года в год все более активизировался скорининский печатный станок на Старом пражском Мясте! А к Франциску приходил опыт налаженной, отрегулированной, уверенной работы. Да и не один лишь опыт приобретался — все шло по линии восходящей, как число оттиснутых-отпечатанных страниц. Но происходило в типографий Павла Северина на Старом пражском Мясте при всей искушенности печатника Франциска и то, что очень огорчало его, что было не по душе ему, являлось вынужденным шагом. Порою это было просто криком души, гласом вопиющего в пустыне. *Vae soli!* Горе одинокому!..

И дело не в том, что он был единственным литвином среди чехов, среди своих челядников. Находясь среди них, он уже лишь поэтому не был одинок. И, оставаясь с печатным станком один на .один, он трже не был одинок. И, оглядывая множество оттиснутых-отпечатанных книг, он не чувствовал себя в одиночестве. Но мысль об одиночестве, однако, приходила, и порождало ее ощущение, что он оставлен, чуть ли даже не забыт здесь, в Праге, своими друзьями, участвующими в его деле, точнее — в их деле. Чем больше он печатал, тем ощутиее были его издержки. Свои книги в дальнюю дорогу он отправлял, но из дальней дороги в типографию Павла Северина на Старое пражское Място за них ничего не приходило. А если и приходило, то куда меньше, нежели в 1517—1518 годах, когда дело здесь только разворачивалось. Шкурами легче было торговать, чем книгами, — это сразу же на своей шкуре стал чувствовать Франциск Скорина. Богдан Онков был щедрым лишь поначалу: два года тому назад в каждой книге своей Франциск с гордостью за радетельного друга своего писал на первой же странице: «А то сат стало накладом Богдана Онково сына радны мѣста Виленскаго». В прошлом году он уже не делал этого. Не делает и сейчас. Да только ли это он сейчас не делает, хотя бы начиная с книг «Числа» и «Руфь»?! В «Числах» — одна оригинальная гравюра, в «Руфи» — тоже одна. В «Числах» повторение заставки, данной ко всей книге «Иисус Сирахов», и здесь же, в послесловии, повторение виньетки, взятой из предисловия к книге «Левит». А в пятой Моисеевой книге — повтор перед самим текстом заставки из книги «Иисус Навин», и ее же повтор — в книгах «Руфь», «Эсфирь». Ясно одно: или некому больше

делать для уважаемого староместского печатника новые гравюры, заставки и виньетки, или нечем этому уважаемому староместскому печатнику за них платить.

И если «Плач Иеремии» дошел до нас только в 4-х экземплярах, в то время как все предыдущие книги скорининской Библии сохранились в количестве примерно в два раза большем («Эсфирь» — в 8-ми экземплярах, «Книга святого пророка божьего Даниила» — тоже в 8-ми, «Книга о Руфи» — в 7-ми, «Книга пятая Моисея...» — в 12-ти), то все эти цифры тоже как бы свидетельствуют, что тираж изданий на выходе предпоследней в Праге книги «Плач Иеремии» упал у Скорины, по-видимому, вдвое. Не хватало бумаги, не хватало челяднических рук, не хватало денег у нанимателя типографии Павла Северина.

«Книга судей» печаталась в ней последнею. И если подробные даты и вообще даты в послесловиях скорининских книг 1519 года отсутствуют, здесь дата стоит: 15 декабря 1519 года. Значительность события Скорина вновь почувствовал, как некогда в самую первую, уже давнишнюю для типографии Павла Северина дату: 7 августа 1517 года. Смотрел на декабрьскую дату 1519 года Франциск Скорина, и сердце его щемило — не так ли оно щемило у пророка Иеремии при взгляде на разрушенный, растоптанный, разграбленный завоевателями родной Иерусалим?

Исторической была дата 15 декабря 1519 года, а щемило от нее сердце Скорины потому, что эта историческая дата уже определяла собой не Начало, не Продолжение, а Конец пражского периода его неослабной заботы печатной!..

Вынужденной была у Франциска Скорины и выборочность текстов для печатания, когда все словно противилось его намерениям, противостояло его уверенности. И самим выбором книг Скорина как бы стремился выразить свое душевное состояние, свою взволнованную отповедь враждебным силам, свое противодействие событиям и ситуациям, возникавшим как следствие его противоборства с окружением или от непонимания и равнодушия тех, на кого он рассчитывал, но кто становился банкротом — просто денежным, а то и, может, духовным, идейным.

Вот потому сегодня и слышится плач библейского Иеремии плачем самого Франциска — в предощущении близкой немоты своей, молчания лишённого поддержки печатного станка его на Старом Мясте и перед лицом торжествующих по сему случаю сил. С печалью в душе своей плачет-жалуется богу словами пророка Иеремии смятенный Франциск Скорина, заклинает, горестный, пана бога:

— Воззри, господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился!.. Отдал

господь меня в руки, из которых не могу подняться. Всех сильных моих господь низложил среди меня, созвал против меня собрание, чтобы истребить юношей моих (не челядников ли?)... Далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою (Богдан Онков или Якуб Бабич?)... Зову друзей моих, но они обманули меня (кто конкретно, мы не знаем)... И удалился мир от души моей; я забыл о благоденствии, и сказал я: погибла сила моя и надежда моя на господа...

И только единственной мыслью утешался Иеремия, что если бог послал ему горе, то в великой доброте и помилует его. Наверно, это упование поддерживало в невзгодах печатника и Скорину, хотя он, подобно Иеремии, не мог не задавать себе вопроса:

— Когда несправедно судят человека перед лицом всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит господь?

И Скорина вслед за Иеремией мог восклицать:

— Ты видишь, господи, обиду мою; рассуди дело мое! Ты видишь всю мстительность их, все замыслы их против меня. Ты слышишь, господи, ругательство их, ...речи восстающих на меня и их ухищрения против меня всякий день... Воздай им, господи, по делам рук их, пошли им помрачение сердца и проклятие твое на них. Преследуй их, господи, гневом и истреби их из поднебесной!

Плач Иеремии — горький, как запекшаяся на устах жажда, жалобный, как осенний ветер. И когда Скорина переводил в нем абзац «...всячески усиливались уловить меня, как птичку, враги мои, без всякой причины. Повергли жизнь мою в яму, и закидали меня камнями», то он понимал, что слова эти не совсем о нем говорят, поскольку сидел он не в яме какой-нибудь, а в типографии Павла Северина на Старом Мясте в Праге, и никто еще камнями его не забрасывал — стекла в окнах типографии были целехонькими. Однако и его, как птицу, подлавливали явные и тайные враги его печатного дела. И на то у них имелись причины. Причин же заняться хитросплетениями у врагов его было и впрямь предостаточно, и главной причиной, понятно, являлся он сам — Франциск Скорина. Но, предоставляя повод для осуждения себя одним, староместский печатник Франциск с самого начала знал, что он дает и основания для возвеличения себя другим. И он же с самого начала всецело надеялся на праведный суд, который противопоставит себя судилищу врагов его. И это к приятелям своим и к неприятелям обращался он вместе с Иеремией словами «Sursum corda!»^[98] и печатанием «Плача Иеремии» заострял тему суда как суда непосредственно над ним:

— Ты видишь, господи, обиду мою; рассуди дело мое! Покоя после

напечатания «Плача Иеремии» у Скорины действительно не было. Да и о каком покое могла идти речь, если бог, как всегда, был высоко, а недоброжелатели временного хозяина типографии Павла Северина — рядом, суд людей — рядом. И словно в преддверии того суда, зная уже, что это — последняя книга Библии, которую он напечатает в Праге, последней своей пражской книгой Библии Скорина печатал «Книгу судей Израилевых».

О чем эта книга? Прежде всего об уклонении сынов Израилевых от бога своего, о том, как после смерти очередных своих судей, они вновь становились хуже отцов своих, поскольку шли к другим богам, служили другим богам, поклонялись другим богам. «И сделали сыны Израилевы злое пред очами господа, и забыли господа, бога своего», — несколько раз повторяется эта формула в «Книге судей», и, по-видимому, прежде всего этими своими повторами она импонировала Скорине, если из более чем двух десятков книг Ветхого завета, им еще не напечатанных, последней книгой для своего печатания он взял из него «Книгу судей». «Сделали зло», «забыли»... Вот слова, которые сейчас выражали доминантные чувства Скорины. Притом речь у него шла не столько про зло, сделанное богу, о забвении кем-то бога, сколько про зло, причиненное именно ему, Скорине, о забвении кем-то именно его, Скорины. Более того: изобразив себя на гравюре хотя и коленопреклоненным перед богом, однако ровней богу, сказав о себе, что он — солнце, и полностью соглашаясь с тем абзацем «Книги судей Израилевых», где говорится: «Любящие бога да будут как солнце, восходящее во всей силе своей!» — Скорина уже не мог не бурно, не страстно реагировать даже на самые пустячные проявления несогласия с ним, даже на одно желание помешать ему, предать его дело забвению — пускай даже на минуту, пускай даже на секунду. И потому он печатал «Книгу судей Израилевых» — в пику своим врагам, недоброжелателям, грешникам, в предисловии к ней специально оговариваясь, что «егда грешимо пред лицем Божиим, укрепляются врази наши душевныи, яко суть диаволы, и телесныи, яко суть поганыи». Зло делая мне, греша по поводу меня, вы грешите перед богом, потому что я стоял уже перед божьим лицом, я — человек божий и человек-солнце. А вы говорите, что я не слуга божий, поскольку не при алтаре, не в митре митрополита, не в тиаре кардинала. Зря вы так говорите! Ибо «внегда каемся грехов своих, то посылает нам господь бог пастырей и докторов, они же научают нас противитися бесовским покусам, теже князей и воевод добрых, иже боронят нас от рук поганских, готово бо ест милосердие божие всем призывающим его в целом серци». Это — последние слова последнего

абзаца в предисловии скорининском к «Книге судей Израилевых». Последняя возможность печатно обратиться к читателю в Праге 15 декабря 1519 года. Дальше утаивать понимание чего бы то ни было и себя — нет нужды. Отклад — не в лад: откладывать на потом Скорина ничего не собирает, он открыто уже уравнивает перед богом как духовных служек его, так и себя — доктора, человека светского. «Посылает нам господь бог... докторов». Я — посланник бога, послан и на тружание, и на жертвенность, и на этот вот Янтарный шлях, по которому везти мне книгу. Если вы, люди посполитые, христиане, этого, еще не знали, — знайте! Не знали и вы — служки алтарные? Знайте! Что мне грозит за слова мои, мне известно. Но — «Конец прѣдъсловия», конец всему моему пражскому книгопечатанию как славному предисловию моей жизни книгопечатника, которую, может быть, вечная слава и осенит. И по этой причине я не так, как прежде, пишу и последние строки в послесловии к «Книге судей» — не датой их обрываю, а увенчиваю хвалою богу: «Буди богу хвала во вѣки веком» и после точки ставлю — что? — торжественно-победное или торжественно-поминальное, как в «Слове о полку Игореве», — «Аминь»?

15 декабря 1519 года он напечатал и вычитал эти слова: «Буди богу хвала во вѣки веком. Аминь», и по славянскому обычаю, как перед дорогой, сел на куцый стульчик, подобрал ноги, что настоялись за непривычно затихшим — тоже ведь перед дорогой! — печатным прессом.

Сумерки в староместской типографии достойнейшего Павла Северина сгущались.

Что это — половина его судьбы или половина его дел, которые он свершить намеревался, Скорина не знал. Сделанное в чешской Праге он мог считать половиной своей судьбы, и тогда оставалась для него половина вторая, которую он и должен был сам осуществить — довести от-тиснутое-отпечатанное на родину. Действовать, конечно, хотел он здесь только сам, поскольку намеревался довести то, что повезет, туда, куда предполагал довести. И он все-таки привез в Вильну ту красоту, которой восхищался, печатая свои книги 1517-го и 1518-го годов, столь щедро снабженные иллюстрациями, заставками, виньетками. Довез и шрифты, и потому и появились затем Виленские его книги со знакомыми шрифтами, хоть, правда, на бумаге грубой, шероховатой, которую с 1520 года начали делать в Вильне.

Сам он привез те шрифты в Вильну, забрав с собою все приспособления и снасти, которыми обзавелся в типографии на Старом пражском Мясте, или кто-то другой прежде, чем сам он уехал, перевез его

инструмент из Праги в Вильну, сегодня с точностью говорить трудно. Но заставки, виньетки, шрифт будущих его виленских изданий, повторяющих собою пражские, красноречиво свидетельствует о том, что он или его подручные все-таки то-се из пражского Старого Места в славное место Виленское привезли, если на основе привезенного здесь, в Вильне, затем печатались книги. Но что не все из Праги в Вильну Скориной было перевезено, тому есть конкретные доказательства, и прежде всего — во Вроцлаве...

...Ходить по просторам напрямик, ехать по ним напрямик — кто и когда не желал этого, хоть издавна не в одном только белорусском народе говорилось: кто дорогу почует, тот дома не ночует. Но что за беда подорожному человеку? Ежели он в дороге, то, значит, не дома, и всегда не дома ночевал подорожный человек, а на постоялом дворе, в корчме или в харчевне. А ежели нужно ночевать на постоялом дворе, в корчме или в харчевне, то подорожному человеку тем лучше, чем их на дороге меньше. А меньше их на дороге, лежащей напрямик. Оттого-то Франциск Скорина и ехал из Праги в Вильну напрямик, а это значит — через Вроцлав, Варшаву, Берестье. На Познань возьми — будет вверх налево, на Краков — будет вниз направо, и только прямо из Праги и вперед было через Вроцлав. Вроцлава нельзя было минуть. На Вроцлав ехал Скорина.

Дорога есть дорога. Законы дорог извечны — о них уже знали древние греки и римляне, и самый первый из них гласит, что пока ты в первой половине дороги, ты думаешь о том, что оставил там, откуда выехал, а когда ты во второй ее половине, ты думаешь о месте, в которое едешь. Очень уж давно, однако, не был Франциск там, куда теперь направлялся, везя свой печатный скарб, свои пожитки. И поскольку он очень давно не бывал в тех местах, куда ехал сейчас, он задолго до середины дороги — в нарушение первого ее закона — стал думать о тех местах, куда ехал сейчас, и в этой задумчивости не замечал, что еще не кончились на пути по-немецки ухоженные чешские городки и, как и чешские городки, больше из камня выложенные чешские деревни. Когда же ты начнешься, Корона?!

Заботило Скорину одно: аж под самые дуги выведенные и покрытые мешковиной фуры. Скрипели перекидные мосты башен, ложась-опускаясь под округлые, огромные колеса его тяжелых фур; лязгали на их стыке веские цепи железные; скрежетали в больших замках' на въездных воротах большие — им под стать — заржавелые ключи; и казалось, что прямо-таки стонали засовы-запоры, пока в ожидании проезда по выстилающемуся перекидному мосту кони пощипывали еще не очень окрепшую на раннем весеннем тепле травку. Это повторялось перед каждым городом, где

высились краснокирпичные замки, оборонительные стены. И было иначе, когда въезжали в деревни: в Короне, как и в его Литве, они уже были деревянными. Дома в Короне строились обычно с большим размахом, чем на его Полотчине, но и здесь они тоже были на подклетьях, делились на светлую и черную половины: светлица — о трех и более окнах, а в каморах и в каморках — не окна, а щели, чтобы не так в них летом дождем захлестывало, зимою снегу надувало. Все подворья — под соломою: и конюшни, и амбары, и сараи, и ледники-пивницы. Хотя встречались постройки и драницей крытые. Но первым делом в Короне, въезжая в придорожную весь, возчики Скорины искали глазами дом под соломенной вешкой, которой помечались постоянные дворы. Нежданный гость никогда здесь не был татарин, его всегда здесь любезно встречали и обихаживали, если только моровое поветрие не ходило по округе. А так подорожный человек давал похвальную^[99] и попадал в духоту постоянного двора, где печь топилась, еда варилась, на стол ставилась, беседой сдабривалась. А говорилось много и о многом!

Дороги средневековья. Кони, тащившие тяжело груженные фуры. Поторапливались они, правда, под ездоками-гонцами, с поля ратного, с охоты удалой королевской или по другому важному делу галопом скакавшими по взгоркам и долинам, неся преспешные вести на Вавель или с Вавеля, из любого иного города и городка Короны или Литвы в любой иной город и городок Короны или Литвы. Королевский гонец, однако, не станет засиживаться на постоянных дворах, никаких новостей, что он за пазуху себе засунул, от него на постоянных дворах не услышишь. А подорожный купец, хотя порою на торг и торопится, все же в мыло коня своего не загонит: он и коню своему даст постоять-отдохнуть на конюшне с овсом в плетеной зобке, наброшенной ему на шею, и сам посидит-отдохнет в разговоре за дубовым столом при пиве, меде — в хорошей господе.

Все обычаи здешние Скорина знал основательно, поскольку основательно знал этот край, эту страну, где немало уже дорог перемерил, начиная с первого своего прихода в Краков. Сколько он вообще их перемерил, путешествуя потом то в Неметчину, то в Италию. Он — человек в дороге, он — словно вечный путник на дорогах Литвы, и Короны, и всей Европы. Но, может, самое главное, что он — свой на этих дорогах, и особенно свой, когда — в Короне, когда уже менее половины пути остается до Белой Руси, до Великого княжества.

На въезде в Корону, через широко распахнутую долину Моравских врат он всегда широко — на весь, припрятанный усами, рот — улыбался: «Чолэм!» Челом! Виват, пане Вольский и пане Конецпольский! И не

потому улыбался, что в начале земли польской отчего-то вспоминал эту столь распространенную в Польше фамилию — Конецпольский! Шляхтич Вольский — шляхтич воли или своеволия? А владетельный Конецпольский — он что, действительно некий знак некоего конца? Nomen omen? В твоей фамилии судьба твоя? В его фамилии все же не его судьба, поскольку пошла его фамилия от занятий предков, а не его собственных; собственная судьба его — не тупиком скрести шкуры даже соболя!

Но когда уже начнешься ты, земля польская, соседская и — словно родная?! Когда же начнешься ты, с твоим развеселейшим куликом^[100] и со всей твоей мочью горе горевать, беду бедовать. Он любит тебя, польская земля, — любит тебя, весь этот свет любя. И вовсе ж не в обиду тебе, что он любит и Чехию, и Неметчину, и Улохи. Ведь он, можно сказать, через тебя и Чехию, и Неметчину, и Улохи полюбил — земля Краковская, земля Мазовецкая!..

Когда-то, как для отца Лукаша, как сейчас и для брата его Ивана, города для Франтишека единились, точно купцы, и спорили, точно купцы. По-купчески, можно сказать, были близки ему поначалу, как, впрочем, и всем купцам-полочанам, Готский берег с Ригою, Галитчина с Львовом, Гданьск и Копенгаген, Варшава и Познань. После Краковской академии все они увиделись ему по-иному, и после Падуи — по-иному, и теперь,, после Праги, — по-иному.

Удивительная, однако, ты, Польша, — край-диво и край на удивление! Если Франтишек стал лекарем, то, может, как раз благодаря дорогам Польши — не столько с их утехами, сколько с их бедами. Их утexas куликовые узнал он, еще будучи совсем безусым юнцом — два или три года спустя, как стал бакалавром, в тот именно год, когда моровое поветрие выгнало его из Кракова и он в страхе ушел — голодный, холодный. И где-то вблизи Варшавы — он сейчас не помнит, на запад от нее или на восток, — попал в куликовые санки, в хохот таких же, как сам он, хлопцев, лишь - наряженных в разноцветные кунтуши. Его подшитый берет бакалавра те хлопцы в кунтушах приняли за карнавальную маскировку — переодевание, и неслись на стремительных санках под колокольцами, и обнимались с ним, целовались с ним, распевали песни на всю заснеженную, вьюжную округу. И вдруг растворились одни из ворот предваршавской околицы — открылись, словно Сезам: во всех окнах незнакомой шляхетской обители загорелись свечи; на всех ее столах заблестали серебряные и золотые подсвечники, серебряные и золотые подносы, а на них дымились только что вынутые из душных духовок длинношеее гусаки, обложенные душистыми печеными яблоками, молочные поросята, чьи полусомкнутые

зевы словно застыли в полуусмешке. И какие только в серебряные и золотые рюмки не лились тогда напитки: заморская мальвазия и местная айровка, немецкое пиво и литовская медовуха, алембик из массивных бронзовых и медных сосудов и из прозрачных бутылей запашистая алькермесовка, настоянная на коре райского дерева и лазурном камне, на толченом золоте и урьянских перлах, на мускусе, сахаре и амбре — с добавкой яблочного сока и крашенного в здешних отварах июньского шелковичного цвета. Напитки действительно были райскими, особенно если учесть, из какого ада на куликовую гулянку под Варшавой попал юный бакалавр Франциск.

Моровое поветрие! Оно выгнало его из Кракова. Что за страх это был, что за ужас! По узким краковским улицам он порою пробраться не мог из-за черных, сваленных в кучу трупов. И только мрачные сутаны монахов и монашек (капюшоны — с узенькими щелками для глаз) призрачно маячили в окнах опустелых домов, в проемах распахнутых настежь дверей: монахи и монашки через окна и двери выбрасывали на каменное ложе улиц жертвы неумолимой смерти — ядовитого морового поветрия. И перед куликом его остановила было — ну, совсем неподалеку, рядом! — все та же беда — человеческий страх перед угрозой черного мора. Он увидел вдруг голых женщин, впряженных в огромное рало. То непослушное им рало они с превеликим трудом волокли-тащили уже в загустелых сумерках, очерчивая спасительный круг для своего селения. А мороз! А вьюга!.. Обнаженные тела женщин напрягались, стремясь при помощи рала обволочь бороздой — чем поглубже! — деревню, что угадывалась в темноте и пахла дымом и овчинами. Борозды в снегу не получалось — ее тут же заметала вьюга. Но то был единственный способ, известный этим женщинам: бороздою, ралом, проташенным вокруг села, спасти себя, своих детей, своих мужей от поветрия, грозящего навеять на их жилища мор — черную смерть.

Те женщины в село на ночь его не пустили. А *этот* кулик подхватил его, зеленого бакалавра, — и в кагал свой и на бал свой. Веселись же! Любишь же! И не веселиться нельзя было, и не любить нельзя было. И он веселился, и он любился. Хотя помнит и похмелье Куликовой ночи: его вчерашние напарники в цветных кунтушах — были среди них и бакалавры, и тщедушные кармазинные переростки — вечные студенты, вечные кандидаты в бакалавры, — все они утром посматривали на него вовсе не как на переодетого и отворачивались, готовые чуть ли не бежать от него, как наемни он сам бежал от морового поветрия. Но он знал их нравы и обычаи, и поскольку сам считал уже высшим достоинством не кунтуш кармазинный, а ум незаимствованный, то и не шибко переживал, натываясь

на косые взгляды своих вчерашних сотрапезников.

А дорога есть дорога: она всегда к чему-то подталкивает. И Франциск со всей отчетливостью сознавал, что если бы одни лишь кулики ему попадались на ней, то доктором в лекарских науках он мог бы и не стать. Не роскошь пробуждает сочувствие, а горе человеческое, беда людская. Жалость к оледенелым на морозе женщинам — о, как она врезалась в душу, в память ему — тогда еще совсем молодому Франциску! И, уже думая не столько о себе, сколько о страданиях людских, он и предрешал свой удел: спасти человека врачеваньем! И случилось так, как Франциск пожелал: «*Sua cuique fortuna in manu est!*»^[101] Он — лекарь. Но стал он лекарем, чтоб им же вроде и не быть, а быть на равных со своими возчиками, бодрствующими при конях и фурах, при книгах его, что, как в лоне матери, в лоне этих фур. Он, Франциск, может, больше, чем иная мать о своих - детях, беспокоится о своих книгах, о том, чтобы путь им чист был и по суше и по воде, через горы и доли, города и веси. Ведь если судьбу, и лекарскую и печатную, руки его заполучили, то они ж и обязаны обеспечить счастливую судьбу этим книгам, лежащим в фурах. Судьба всех этих книг в его руках! В его? В божьих руках и под божьей опекой. Всё в руках божьих! «Но то всё вообще в руках божьих на свете божьем, а в частности оно и в руках человеческих», — рассуждает Франциск, охваченный неотвязной думой о том грузе, который везет.

Скорина одет в докторскую мантию. И непременно перед каждым замком, перед каждым городскими воротами и ратушей он поднимает к русоволосой голове своей руку — удостовериться, на месте ли красный берет доктора. Фалды мантии, развернутые встречными ветрами, как паруса, мешают идти сбоку обоза — возле коней и колес. Что, человеке в мантии, подмывает показать себя любопытствующей дороге, гонористой замковой страже, напыщенным ратушным радникам — показать, кто ты и что ты? А чернь смеется, простые люди судачат: «Поршни в грязи, а сам — певнем на прясле! Пан без сапог, а точно кочет с красным гребнем!..»

Но что ни скажут ему в глаза, что ни прошепчут вослед, он мантии с плеча не сбросит, берета с головы не снимет. Мантия делает его плечо крепче, берет уравнивает в правах с кармазинным кунтушом. А его привилегия как доктора наук — это ж привилегия печатных книг, что он сейчас везет. Свободный, чистый путь его мантии, его берету — вольный, открытый путь и его книге! Это Франциск Скорина знает. Зная это, не за конторку садясь, не перед мастером, вырезающим его портрет на липовой доске, на услон опускаясь, а легко поднимаясь на облучок первой в своем караване фуры, ловко спрыгивая с него на гулкие бревна перекидных

мостов при башнях замковых, да и вообще в любой другой дорожной ситуации Скорина остается в мантии, при берете.

Впрочем, средневековую дорогу чем-нибудь удивить было трудно. Она всего за свои леты, зимы навидалась: и пышных молчаливых королевских свит; и шумных оборванцев-медвежатников, дударей, лютнистов; и грузных купеческих скрипучих обозов; и легкокопытных кавалькад спешащей на сеймы и сеймики шляхты; и бродячих студентов-бурсаков с их насмешливыми песнопеньями; и обносившихся нищенствующих монахов, шествующих внушительными толпами; и изгнанных из неверотерпимых монархий и княжеств диссидентов; и ландскнехтов, шедших наниматься к королям и магнатам и уже возвращающихся из найма с набитыми разным награбленным добром сумами за спиной и саквами и саквочками в руках, наполненными золотом и серебром. Такой уж была ты — средневековая дорога. Пошлина-мыто как бездонное корыто, в которое только успевали сыпать пе-нязи прежде всего подорожные торговцы. А из того корыта те пенязи первым выгробал король, после короля — магнаты, после магнатов — веянии королю и магнатам в том помогатый.

Говорило средневековье: мысль пошлины не платит. Только не просто мысль, а книгу-товар вез Скорина, и потому он мыто платить был вынужден. И потому, чем дальше был Франциск Скорина от Праги и ближе к Вильне, тем меньше оставалось в его кошеле звонких флоринов. Похудение кошель не могло не омрачать его чела под надвинутым на брови красным беретом, потому что красный берет от пошлины не освобождал. И хоть Скорина заранее, наперед прикинул, сколько и чего нужно будет ему выложить на всех отрезках его пути, но все же, когда золотые монеты убывали из рук реально, настроение у Скорины падало с каждым упавшим в кружку сборщика флорином. И что с того, что Скорина везет клад — везет будущие дукаты, в которые обратятся его книги, если он продаст их дома, в Вильне, Полоцке, Витебске, а может, и в Киеве, во Львове, а может, и еще дальше! Но тот дукат пока подобен журавлю в небе, а сегодня уроненный им из пальцев каждый флорин — как выпущенный воробей, который только что был твоим, да вот уже не твой.

Единственное утешает Скорину, что разбойников с тем сокровищем, которое он везет на родину, ему бояться нечего: они и на растопку не возьмут его немецкой бумаги с филигранью, и не потому, что испугаются водяного знака на этой бумаге — дикого вепря, а потому, что в слепом своем варварстве не скоро еще разбойники разбой-расправу над книгой учинять станут!..

Вообще считалось, что при Жигимонте в Короне и в Княжестве

разбойники на дорогах попритихли. И совсем не то было при королях Яне Ольбрахте и Александре, и особенно после смерти короля Людвиг Венгерского, когда великопольская шляхта и ее руководители Наленчи, Доливы, Зарембы, называвшие себя земцами-владельцами и земли собственной, польской сынами, — выступили против Гжималитов, их родичей и единомышленников, которые одаривались Людовиком Непольским и венгерской лаской, и особенно землями Великопольши, наследниками которой считали себя Наленчи и их адепты. То был действительно, может, самый буйный разгул средневековой междоусобицы: кто держался стороны Наленчей, того грабили Гжималиты, кто помогал Гжималитам, того не щадили Наленчи. И грабили Гжималиты, Наленчи не только сосед соседа, но и всех, кто попадался на дорогах соседа к соседу, и слухи об этом доходили даже до весьма далекого от Гжималитов и Наленчей Полоцка. Скорина даже помнил некоторые имена лотриг-разбойников, нападавших где-то между Гнезно и Познанью на купцов, среди которых оказался и знакомый его отцу гость из Полоцка. Нападение грабителей произошло возле деревни Возьников, когда их главарь, некий Ян Галонзка, самолично убил двух купцов, завладел их скарбом и стал остальных оголять до ниточки, и, лишь завидев, что селяне-кметники спешат на конях купцам на выручку, бежал со своей шайкой. Так что было что рассказать, возвратясь из дорог дальних, купцам полоцким, когда паны-шляхтичи Великопольши и Малой Польши брались за чубы.

При Жигимонте и вправду стало спокойней на дорогах Речи Посполитой. Однако попритихли разбойники, но продолжались набеги крымских татар. И облюбовали они себе три торных шляха: Черный, Подольский, или Кучманский, и Валашский. На Украину, в Беларусь вел Черный шлях. Откупалось Великое княжество от хана крымчаков Менгли-Гирея ежегодными 15 тысячами злотых, напоминание о которых Менгли-Гирей слал ежегодно и, хоть ежегодно получал свою дань, все равно, как будто забыв о ней, снаряжал заслоны рыскать по Княжеству, грабить население, тащить невинных жителей из их родимых мест в ясырь-неволю. Может, с той поры и пошла по Княжеству и Короне поговорка: чтоб тебя шляк встретил. Но только не Скорине желали такой напасти встречные на его шляху-пути домой — особенно в Польше на постоянных дворах и особенно те, кто знал, что такое шляхи Черный, Кучманский, Валашский.

С начала XVI века вообще о как же разгулялись турки, татары под штандартами восточной звезды любви — Венеры с герба Магомета, звезды в объятиях магометанского же полумесяца. С 1512 по 1520 год султан Селим завоевал Персию, Сирию, Палестину, Египет, взял города Мекку и

Медину. Сын его Сулейман, который получит прозвище Великолепный, в 1521 году захватил Белград, в 1522-м — Родос, в 1529-м — венгерскую Буду, дойдя до самой Вены. А что же король польский Жигимонт? Продолжал пышно прохаживаться по Вавелю в пурпурном одамашеке-сукмане, подшитом соболем, хотя с Боной на Вавель приехала и мода на черный бархат, и теперь тот бархат стали носить уже не только в трауре. Шили из него едва ли не всю одежду подряд, в которой возобладал итальянский крой, и неясно было, то ли в трауре весь край, то ли он просто под властью моды; то ли память о жертвах трех татарских шляхов чтит, то ли некие черные тени в нем карнавалют.

Но то не соответствовало истине, если кому-то в его сознании Жигимонт Ягеллон представлялся королем, только вроде бы и влюбленным в одамашек, на атласном, преимущественно пурпурном лоне которого узорчато сплетались фантастически стилизованные цветы, листья, фрукты. Король Жигимонт был все время в движении, он не засиживался на Вавеле, он больше ездил по сеймам, вообще по всей стране — Короне и Княжеству, и гнала его в дорогу перво-наперво забота о деньгах, поскольку он был в военной конфронтации с севером — Альбрехтом Прусским^[102], с востоком — Василием Ивановичем, с югом — Селимом и Сулейманом.

Думала Бона Сфорца, что, воссев королевой на Вавеле, усядется и на его несметные сокровища. Но хоть скарбница на Вавеле имелась и были при ней аж семь скарбничих, которым разрешалось открывать ее только всем вместе — сообща, брать в этой скарбнице было особенно нечего. Скучной застала Бона королевскую казну Жигимонта. Порой она вообще настолько опустевала, что еще неизвестно, кто был тогда богаче: Франциск Скорина с его книгами на битом Вроцлавском шляху или знаменитый в то время на всю Европу король Речи Посполитой Жигимонт с Вавеля?!

Бона Сфорца, начитавшаяся Макиавелли, едва приехав на Вавель, тотчас же сообразила: Жигимонт — убогий, хотя он и король. Нищий! И никакой власти не имеют знаки-символы его власти: жезл, яблоко, корона, если в этой короне на голове и с этими жезлом и яблоком в руках он, Жигимонт, должен, словно побирושка с протянутой перед собой на костельном дворе рукой, выпрашивать у фанаберистой шляхты налоги на ведение войн. Король — без власти, король — без казны, вот к кому приехала она, Бона Сфорца! Не казну, однако ж, прибыла она пополнять королю. Что же ей делать теперь, когда родила ему детей, и прежде всего наследника трона — Жигимонта Августа?!

Но что, однако, Скорине державная Бона и ее заботы! У него своя забота. И тем она серьезнее, чем сильнее мучаются кони, впряженные в

фуры. Спины их к вечеру — в белом мыле. Смотрит на эти спины Франциск и видит единственно их. Тут, перед Скориной, близко уже Вроцлав; там, перед Сулейманом Великолепным, близко уже был Белград. Но как же думать Скорине о нем, о Сулеймане, хоть он и Великолепный, если не Балканы перед ним, а Вроцлав? И как не мог Скорина с Янтарного пути увидеть на гористом небосклоне Балкан всадников Сулеймана Великолепного, так не мог он и рассмотреть сквозь кристалл вроде и прозрачного синего неба, поблекли или не поблекли белые кони на погонях Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского. Этим своим коням-тяжеловозам он знал цену, как держал он в памяти и тех, что стремили свой бег на гербе Княжества, в которое он возвращался. Были б вы, кони-тяжеловозы, такими же быстрыми, как белые кони погони! Как далеко ты еще, Корона, как далеко ты, Белая Русь!..

Но удивительно все получилось у него с грабителями: не больше их теперь, а меньше, не прежде лучше было, а сейчас. Это поэты обычно утверждают обратное: лучше, чем сейчас, было раньше; раньше, мол, народ был героическим, сейчас — нет; раньше все было дешевле, сейчас — дороже. А в самом деле: в прежние времена лучше было или лучше в теперешние?

Настоящее и прошлое — дилемма. И куда и как ни глянь — дилемма, и особенно если рассуждать на скрижалях истории, а Скорина на битом вроцлавском Янтарном пути не может не рассуждать на скрижалях истории, потому что едет он, возвращается не только домой, но и в историю — во всяком случае, в историю взаимоотношений двух половин одной державы — Короны и Княжества. Трудно ему не оказаться если уж не на лезвии этих взаимоотношений, то на оселке их. И он, Скорина, думает и о том, чем и как настоящие взаимоотношения Княжества и Короны отличаются от прошлых. И вообще разнятся они или не разнятся?

Были эти скорининские знания и мысли для самого Скорины неновыми: Запад — Восток; Запад римско-католический и Восток греко-православный; Сарматия — Варвария, в которой он родился. Как же к этой Варварии относился и относится сармат? Не иначе как отрицательно, иронически, обычно восклицая: «О, нецеломудренность Варварин, дикарство, медвежничество, пущанская темь и языческая распущенность похотливых жеребиц-литуанок! О, чистота Сарматии, то ли Малой, то ли Великой, — для сармата одинаково великая! Сарматский дух — дух дельного^[103] рыцарства дельных рыцарей наисвятейшей матки боской непоколяной^[104]!» Так что ж переменилось в этом духе со времен Ядвиги, с

началом правления Жигимонта, с приездом после смерти жены Жиртмонта, Барбары — дочери воеводы Стефана Заполни, — русокозой, васильковоглазой Боны Сфорцы — княжны из маленького городка Бари, столицы крошечного княжества Медиолану?

Бедная Ядвига когда-то вся аж дрожала, чуть не теряя сознания, когда ожидала из белорусских пуц страшилища будто бы в волчьих и медвежьих шкурах — Владислава Ягайло. И, хотя он оказался рослым, статным и синеоким, мудрым — до коварства, мужественным — до полной победы над вышколенной сворой маль-боркских тевтонов, да еще и переполненным любовью в майском соловьином пенье, от которого и умер, после того как подхватил болезнь груди, слушая как раз необычайно мелодичные соловьиные рулады, — что с того? Медведь из страны медведей! Да и все, что грезилось на востоке за пределами Короны, продолжало быть для королевы Ядвиги медвежьим. Оно и посейчас для очень многих людей в Короне — медвежье. Как будто ныне, в XVI столетии, при Франциске Скорине, этот сарматский дух Ягеллонов — не от Ягеллона-Медведя?! Как будто Корона и Великое княжество Литовское не одна держава, не одна уния-союз, не сведение воедино исторических судеб, множества народов — поляков, литовцев-жмудинов, литвинов-белорусов, украинцев, евреев, татар, караимов?

Медведь, медведь! И ты, Скорина, медведь, раз вышел из медвежьей шкуры. Медвежий Скоринич! Ремеслу обученный? Разве что в Сморгони, в медвежьей академии! Ведь в стране медведей и академии только медвежьи. Вы говорите: не в Сморгони? В Кракове, Падуе, Праге? О, то на *razie*^[105]! Но ведь если пан возвращается к медведям, то разве пан сам не медведь? И почему вообще на портрете своем пан сделал львов похожими на медведей? Потому что сам Медведь, пан Медведь!

Не вспомни Скорина Ягайло-Медведя, не вспомнил бы королевы Ядвиги. А при воспоминании о них обоих пришла ему на память уже и та, с которой мог и сам быть парюю-четою. Твардовский имел резон, когда называл буквицу «М» его — скорининской. Семижды прав был здесь пан Твардовский, однако Скорине от этого ничуть не легчало, когда приходила, завладевая мыслями, она...

Сегодня трудно сказать, звучала тогда уже или еще не звучала в Оковском лесу за Полоцком песня — словно укор самому Франтишеку:

Не езд, мильй,
В дальний край —
Застанешь меня просватанной!..

Просватанной ее и вправду он застал однажды, чтобы проститься с нею уже как с женою своего друга. Боли не боли сегодня сердце Скорины — не его судьбой она стала, хотя и была в его судьбе, как звездочка, лишь ему одному светящая!..

И, конечно, на битом Янтарном пути он еще и на мгновенье даже не мог подумать, что в его судьбу уже в какой-то мере вошла и другая женщина — вошла, сама того не зная и, наверное, до конца в том неведенье оставаясь. А стала она входить в судьбу Скорины в тот как раз момент, когда впервые услышал о ней король Жигимонт, когда впервые он взглянул на ее портрет. Было это в замке Виленском в марте 1517 года — во время торжественной аудиенции, которую Жигимонт давал барону Зыгмунту Герберштайну. Точно живая смотрела с портрета Бона Сфорца. И, как ничего не знал о Боне Сфорце Франциск Скорина, едучи битым шляхом Вроцлавским, так ничего о нем, Франциске Скорине, и она не знала, когда ровно два года тому назад сама ехала с запада на восток, — ехала со своей далекой италийской родины в Краков. Семь тысяч дукатов стоило одно лишь ее парадное платье. Множество сундуков, набитых приданым, везла с собой молодая невеста. Их содержимое по приезде осмотрели и подсчитали, и среди него оказалось 20 пар расшитых покрывал, 115 рубашек, 96 чепцов, 21 платье, многочисленные гобелены с дивными пейзажами. Не забыла Бона и большую супружескую кровать, разнообразно и причудливо украшенную, а также столовую мебель. Все это стоило что-то аж 50 тысяч дукатов и рассчитано было на то, чтоб показать маленькую княжну из маленького Бари достойной большого короля с большого Вавеля, а еще чтоб засвидетельствовать саму значительность вклада княжны в свадебный альянс, который тем больше даст процентов, чем больше будет вложено в него. О, что это будут за проценты! О том, по-видимому, не знала и о том, наверное, не задумывалась, едучи на Вавель, русокобая, васильковоглазая Бона. Как и не подозревали, может статья, ни сама Бона Сфорца, ни 287 человек ее эскорта, ни 1400 солдат, специально определенных самим Максимилианом торжественно приветствовать ее в Бепе, а потом и все те, кто встречал ее в предместье Кракова, что процентами от приданого Боны будут еще и горькие слезы, которыми спустя годы заплачет первопечатник Скорина, вовсе не догадываясь о действительной первопричине своих горьких слез!..

А встречали Бону в деревне Моравице подканцлер коронный и епископ Петр Томицкий, великий гетман литовский Константин

Острожский, воевода калишский Ян Заремба. Так встречать его, Франциска — печатника из Праги, — и в Вильне никто не будет, хотя как раз со многими из державных гонцов, посланных в Моравицу, он вскоре в Вильне встретится сам, как и непосредственно с Боной Сфорцей.

Сколько времени, однако, не был он в Вильне? Куда, в какую круговерть он возвращается нынче — после такой затяжной разлуки?..

И знал Франциск Скорина еще со времени учебы в Краковской академии, что король Жигимонт попросту влюблен в песни Белой Руси, что песни эти, как некогда деда его Ягайло соловьи, покорили и он специально привез из Великого княжества на Вавель песенника Чурилку. Любит король Чурилку, опекает его, часто в дорогу с собой берет. Ведь вообще король Жигимонт дорожит памятью деда своего Ягайло и хотел бы походить на него. И речь земель новоградских и кривских ласкает слух Жигимонту, как некогда деду его Ягайло, хотя сам король и подзабыл ее. И потому щемящий голос Чурилки и о языке деда, и о самом деде Ягайло напоминает королю Жигимонту.

Утехи от королевства и от войн, которые Жигимонт вел и ведет с внешними врагами, да и со своей шляхтой, с предательством магнатов, король и сравнить не может с удовольствием, получаемым от песен Чурилки, особенно от той, что про оленя:

— Я тебя, олень, застрелю,
Рога золотые твои сломлю.

Чурилка пел, и так у него получалось, что это вроде бы сам король Жигимонт собирается оленя застрелить, его золотые рога сломить. И тут же напевал Чурилка свою отповедь Жигимонту, интонацию суровую, королевскую меняя на просительную, раздумчивую, обещающую:

— Не убивай ты меня, молодец,
Выйдет время — я сгожусь тебе:
Будешь жениться — на свадьбу приду,
Золотыми рогами весь двор освечу.

И освещал уже Чурилка, только не золотыми рогами, а золотыми песнями своими первую свадьбу короля Жигимонта с Барбарой Заполией, заглушая грусть короля по допрежней спутнице его жизни Катерине

Тальничанке, которую тот, взойдя на Вавель, выдал замуж за великого подскарбничего коронного Анджея Костелецкого. Умерла Заполия, и стал Жигимонт ждать Бону Сфорцу, и вновь к месту было обещание Чурилкиного оленя на свадьбу прийти, золотыми рогами весь двор осветить...

Все-таки жен королю Жигимонту легче было находить, нежели военную славу. Не смотрелся король Жигимонт в профиль, как дед его Ягайло — победитель под Грюнвальдом, — не смотрелся, и все тут!.. Об этом знала вся шляхта Польши, хотя, возможно, с тем красноречием, с каким Ташицкий выступал на сеймах, и не говорила об этом. С приездом Боны именно в ее особе шляхта увидела причину женственности коронованного старого сармата, как и в новой моде на итальянские уборы, на итальянское подобострастие. И выкрикивали тогда на торжественных приемах не без злого умысла: «Победитель под Оршей и над Ведрешем — великий гетман литовский Константин Острожский!..», «Победитель под Обертином — великий гетман коронный Ян Тарновский!..» И, хотя гетманы-победители были в услужении у короля, о самом короле придворные лизоблюды по закуткам шептались: «...кто проиграл Смоленск...», «...который проиграл борьбу за венгерский трон...» Однако во всех тех проигрышах не столько сказывалось невезение Жигимонта, сколько продолжалась неудачная политика его предшественников на Вавеле — его братьев Яна Ольбрахта и Александра. Правда, Скорина знал, что если бы не перемирие Александра с Иваном III, то разве он смог бы в 1504 году выбраться из Полоцка в Краков? Тут королю Александру Скорина был только благодарен. Татар под Клецком Михаил Глинский тоже разбил при Александре, хотя за это король Александр едва не приплатил собственной жизнью: он в Лиде чуть не попал в руки крымчаков.

Вся Белая Русь и Корона знали тогда о князе Михаиле Глинском. И Скорина тогда, наверное, считал, что ему все известно о поступках и намерениях этого князя — мятежника для польского короля, союзника для московского князя. Но действительно ли все знал Скорина о князе Глинском? Уважал его? Презирал? Изменником он был и для него, как для Жигимонта и Василия Ивановича^[106], или же нет?..

Это было уже не порубежной войной конца XV века — не придижкой, перебрехиванием, единичными наездами. Иван III королю венгерскому Матвею еще в июле 1488 года через дворянина Стибора передавал, что «начал свое наступление на короля». Менгли-Гирею о том же короле, о Казимире, еще двумя годами раньше, чем венгерскому правителю, Иван III писал: «Король — общий наш неприятель, твой неприятель, да и мой».

Иван III в борьбе против короля Казимира стремился заполучить себе в союзники и австрийского цесаря, и Максимилиана. И все же Иван III, претендуя на земли бывшей Киевской общерусской державы, польского короля Казимира побаивался, во всяком случае, никогда ему открыто о своих намерениях не говорил. Ситуация изменилась при короле Александре, в первом же письме к которому от 3 января 1493 года Иван III подписался титулом властелина «всея Руси». Франциск Скорина, понятно, переписки на уровне польского короля и великого князя московского знать не мог. Неизвестно ему было и что писал преемнику Ивана III, тоже великому князю московскому Василию Ивановичу Михаил Глинский. а Михаилу Глинскому — Менгли-Гирей. Да, собственно, и Михаил Глинский был тут ненамного осведомленнее Франциска Скорины, поскольку доподлинно знал лишь то, о чем сам сообщал Василию Ивановичу и Менгли-Гирею, и вовсе не догадывался о том, что писали друг другу Василий Иванович, Менгли-Гирей, Жигимонт. Ведь если бы догадывался, вряд ли стал бы действовать, как действовал...

За Глинским стеной, можно сказать, встали многие шляхетские древнерусские роды — князья и некнязья, которые весьма сочувственно относились к возвышению Московской державы и, лелея в сердце чувство кровности, вынесенное исторически из времен Киевской Руси, видели в единой Москве начало нового общерусского единства. Действительных намерений Глинского эта шляхта не знала, как не знала и о том, с чего Глинский начнет и как поведет дело единения западнорусских земель под главенством Москвы. А начал Глинский для многих неожиданно, ринувшись со своими людьми — с отрядом верных ему служек-татар — в Городню, где посадничал литвин Заберезинский — личный его соперник, супротивник, которого Жигимонт к себе приблизил, лишив своей милости его, Михаила Глинского — первого человека при предшественнике Жигимонта — короле Александре. Такого оскорбления Глинский простить Заберезинскому не мог. И вытащил Глинский своего супротивника — сонного — из пуховой постели и приказал своим людям убить его, обезглавить, голову надеть на пику и гарцевать с той головой на пике по всей Руси Белой и Черной. Вот за этим-то князем Михаилом Глинским и не очень-то поспешила вся западнорусская шляхта — князья и некнязья. Как-то не слишком вдохновляла на спешку отрубленная татаринном и на пику воздетая голова Заберезинского! Но торопился по следам мятежного князя Глинского король Жигимонт, и тот, видя недружную поддержку со стороны вроде бы уже и сговоренной с ним Белой и Черной Руси, стал отступить.

Бежать было куда — в Москву, но не знал Михаил Глинский, что там, куда он бежал от Жигимонта, было давно известно о его действительных намерениях — Менгли-Гирей, который пообещал Михаилу Глинскому свое содействие в его притязаниях на Киевский княжеский стол, сообщил об этих планах Глинского одновременно польскому королю Жигимонту и великому князю московскому Василию Ивановичу. И не тот прием, которого ждал Глинский, встретил он в Москве. И, поняв, что он, столь многого лишившись в Княжестве, от Василия Ивановича ничего не получит, стал искать Глинский путей возвращения под жезл Жигимонта. Но первое же его письмо из Москвы к Жигимонту было перехвачено, и Глинского тут же бросили в тюрьму и за изменничество великому князю московскому ослепили...

Что мог знать из всего этого Франциск Скорина? Менгли-Гирей, как известно, был в своих политических интригах лишь игрушкой в руках сильнейшего султана османской империи Селима. Менгли-Гирей — игрушка в руках Селима; Михаил Глинский — игрушка в руках Менгли-Гирея. Быть или не быть новой Киевской Руси решали — кто? — Глинский, Селим, Менгли-Гирей?.. А может, ты, Франциск Скорина?..

Василий Иванович ослепил Михаила Глинского, несмотря на то, что родная сестра Михаила Глинского — Елена — была его женой и собиралась вскоре родить ему сына Ивана, который станет Иваном IV — Грозным^[107].

А Михаил Глинский — ослепленный — так и будет сидеть в темнице. О, слепота неслепого, дважды покаранного теменью! Руси ты не объединила. Киевского престола не заняла. Но зряч ли и Скорина: видит ли он то, чего не видел великий князь московский Иван III, чего не видит, по существу, и великий нынешний князь московитов Василий Иванович, — Русь теперь уже не та, какой она была во времена Киевской Руси? Здесь, в Великом княжестве Литовском, уже не племена кривичей, полян, дреговичей, радимичей, а новые народы и народности, со своими конкретными историческими судьбами. Общее прошлое этих народов и народностей, общность веры живет их симпатии к своим восточным братьям и сестрам, но сами эти братья и сестры тут, в Великом княжестве Литовском, так же горды и независимы, как и их восточные братья и сестры. И претендовать на их земли, как на свою вотчину, а на них самих, как на свою собственность, — анахронизм, и тем более анахронизм — стремиться силою меча определить их дальнейшую судьбу, не считаясь с их волеизъявлением. И если шляхта литвинская, старобелорусская не поддержала авантюризма Михаила Глинского, то это в первую очередь

потому, что ее чувство своей политической независимости и своего нравственного достоинства, самоопределенности своих земель как своей отчизны было авантюризмом Глинского поправно. Судьбой народа, судьбой его отчизны нельзя было так играть!.. Нет, не череп, воздетый на пику, везет на Русь Франциск Скорина! Везет солнце в гербе своем и молодой месяц — солнцу помощник. С Василием Ивановичем, князем великим московским, печатник не в переписке, не в переписке он и с Менгли-Гиреем. А как тебе, Франциск, третья сила — король Жигимонт, — как он тебе, кто он тебе — король, не король?.. Ты же ни в одном предисловии, ни в одном послесловии своем, что везешь сейчас на родину, не засвидетельствовал, что ты — подданный его, короля Жигимонта. Своим неизменным упоминанием в каждом послесловии славного места Полоцка ты как бы только полоцкое свое подданство и утверждал. И лишь в общем послесловии к «Апостолу», который напечатал спустя пять лет в Вильне, ты не упустишь случая отметить «наласкавшего господаря Жыкгымонта Казімировича, короля полского и вѣликого князя литовьского, и рускаго, и жомоитьскаго». А в Праге ты словно и не помнил об этом. Не думаешь ли ты сейчас, по дороге из Чехии в Литву, что все-таки зря не подчеркивал имени Жигимонта, напрасно не обезопасил себя перед разными службами короля признанием Жигимонта «господарем наласкавшем»?..

Если сказать, что король Жигимонт мало занимал Скорину до сих пор и мало о его великой королевской милости он думает сейчас, это будет неправдой. Скорина, как всякий на его месте и в его времени, все, что только мог, знал о короле своего государства. Инкомпотибили требовали запрета на занятие одним человеком нескольких государственных должностей, кроме одной; конституция не разрешала введение каких-либо новых законов, кроме уже одобренных; экзекуционное движение было направлено в целом на то, чтобы поправить все государственные дела в королевстве. И все это исходило от шляхты, поддерживалось шляхтой, служило интересам шляхты. Шляхта была чрезвычайно упорной: она уже и до короля Жигимонта получила немало привилегий — была, к примеру, освобождена от налога вообще и от чопового^[108] в частности, от оплаты за сплав, чего душа пожелает, по Висле в Гданьск. Шляхта уже добилась и запрета для мещан покупать шляхетские усадьбы, а теперь требовала от короля Жигимонта отмены над собой юрисдикции духовенства. Тешила, ой как тешила шляхта всем этим свой сарматский дух!

А что тешило дух сарматов, то все чаще и чаще снилось шляхте в Великом княжестве Литовском: не Скорине, известно — сыну купеческому, а сынкам бояр полоцких, новоградских, гомийских, туровских. И, как в

Короне, так и на Белой и Черной Руси, в Литве в целом, боялись бояре дать королю Жигимонту денег на ландскнехтов-наемников, дабы не укрепился ими король, дабы не возмечтал о независимости от служилого рыцарского стана. И не таясь — в подпитии — говаривала в придорожных шинках шляхта: «Зачем — ландскнехты?! Зачем тратить грош на кого-то, если и нам по нраву платный чин ратный, не мужицкая солонина, а заморские фрукты и вина, да перья павлиньи!..» Так между нежеланием расстаться со своими золотыми и все ж таки после долгих сеймовых баталий и разных отсрочек немалым их взносом в казну Жигимонта и жила под королем шляхта воссоединенных Крехом государств. Ехал к полоцким боярам Франциск Скорина или не ехал, им было ни горячо, ни холодно. Вез он свои книги, чтоб умножить духовное богатство Полотчины, или не вез, им тоже было ни горячо, ни холодно...

Река называлась Одрой, город над нею — Вроцлавом. Город купеческий, — под стать его Полоцку, город ганзейский, в 1000 году являлся уже столицей епископства. Костелами он мог поспорить с Вильной и Краковом, ратушей — с Прагой, верфью — с Гданьском. Право Магдебургское^[109] Полоцк только что получил, а этот хмурый от готических костельных башен город обладал им уже с 1261 года. И оторочен он был красным поясом стен не десять лет тому назад, как Вильна, а намного раньше. Одним словом, беседно-застольным и богомольным, величавым и здравым был город над Одрой — Вроцлав. А еще — осторожным и осмотрительным, поскольку год, в который входил под его крыши Франциск Скорина, был 1520-м. В городе над Одрой лютеране еще, кажется, не объявились, но уже и в ратуше и в капитуле все держали насчет Лютера ухо остро: старине угрожала новь! И потому к любой новости и городская стража, и ратушный магистрат, и епископский капитул — все относились более чем настороженно. И лучше бы Скорина в объятия этой настороженности не попадал! Но Скорина в объятия этой настороженности попал. И чем в конце концов все разрешилось, можно будет себе, хотя и не из протокольной ратушной записи ответов путника, а из вполне вероятной его беседы с прокурором вроцлавским, в полной мере представить.

Итак, в громадине вроцлавской ратуши в один из точно неизвестных нам весенних дней 1520 года, пока еще отсверкивал от узких и высоких окон дневной свет, диалог между Скориной и хозяевами ратуши был довольно доброжелательным, интеллигентным, хотя и настораживал Франциска разными намеками и недомолвками. Все началось, когда зажгли

свечи. Свечи как свечи — они оплывали. Когда оплывали, то, казалось, плакали: каплеобразные наплывы воска походили на густые непрозрачные слезы. А позднюю беседу все продолжал прокурор вроцлавский.

Прокурор: — Нам известно, что вы — Франциск Скорина, doctoris artium и доктор наук лекарских. Но что за письма вы везете в своих фурах?

Скорина: — Библию, моим трудом и старанием на родной язык мой переведенную и в славном городе Праге тиснутую.

Прокурор: — Переведенную на язык вульгарный?

Скорина: — Неужто язык, в котором люди на свете божьем живут, вульгарный и богу неугодный?

Прокурор: — Богу святой язык угоден. Бог — един, и язык у него — един. Всему миру известно, что бог не примет книг, на языке небожьем тиснутых!

Скорина: — Любого народа язык, славящий бога, божьим языком становится.

Прокурор: — Только богом определено богово! Не дано человеку решать, на каком языке с богом говорить. С богом недостойно на языке небожьем общаться!

Скорина: — Я постиг языки божьи — и старославянский, и латынь, но я не был бы сыном отца своего, ежели б слово божье посредством слова отца люду посполитому не передал!.. И бог — в троице единый — отец мне и отец Лука...

Прокурор: — Вы — сын не Луки, а лукавого!

Скорина: — Под богом единым, Панове, ходим — сыны отцов разных, поспольства разного.

Прокурор: — Разными станем, если разными словами богу всемогущему хвалу возносить будем. А это супротивно любви христианской, папе римскому — наместнику всевышнего на земле, его милости королевской — Фердинанду.

Скорина: — Слово божье, человеком божьим прочитанное и душою воспринятое, не может быть супротивным ни богу, ни наместнику его на земле, ни королю!

Прокурор: — Где вы учились?!

Скорина: — В Краковской академии.

Прокурор: — Кто вас учил? Из профессоров — кто?

Скорина: — Ян из Глогова, Матей из Мехова, Ян из Стобницы, Михал из Быстрикова...

Прокурор: — Из Глогова!.. И куда только смотрят эти, из Глогова!..

Скорина: — На светлый божий лик смотрит уже тринадцатый год мой многоуважаемый учитель Ян из Глогова!..

Прокурор: — Вы еще и кощунствуете?! Не слишком ли! Помните, вы и шагу не сделаете за порог ратуши, пока не проясните нам: Ян из Глогова и Глоговчик — это два ваших учителя или один? Матей из Мехова и Меховит — два, один? Кто из них подбил вас на книгопечатание? Вместе с Коперником вы или по отдельности оставляли в 1508-м — или в 1509-м? — году Краковскую академию? Березовыми, лозовыми розгами секли вас в бурсе? И кто сек? Отчего мало сек? Почему не высек из вашей памяти ваш схизматический язык?! И какие непосредственно еретические мысли вкладывал вам в душу Ян из Стобницы?... Коперник?.. Меховит?.. И конкретно: вы были в Датии-Дании секретарем короля или в Дакии-Валахии — секретарем господаря валашского?..

Вопросам не было конца, а фуры со скарбом скорининским, задержанные возле ворот, в которые упирался Янтарный путь, стояли в ожидании хозяина, и только собаки из подворотен время от времени побрехивали на коней и возчиков, пробуждая их от дремоты...

А затем пошли уже вопросы не только дня первого и вечера первого, но и дня второго и вечера второго, когда уже и новые свечи оплывали в серебряных канделябрах богатой ратуши богатого города Вроцлава. А Франциск Скорина чаще уже молчал, и особенно упорно сжимались его уста, когда вновь и вновь вопросы, подобно карусели, вращались вокруг имен учителей, наиславнейших для него. И тогда он думал: «Как же можно ему что-то недостойное, неблагодарное, неприличествующее сказать о тех, кто после матери и отца его по свету вел, жажду совершенства в нем пробудил, волю и разум его просветлял, шляхи-дороги новые указывай, к богу приблизил?»

И Скорина, как рыба, молчал, как молчал и после, когда ему уже на другой день — поздним вечером — объявили, что поскольку он молчит, ровно глухонемой, то со стороны капитула будет предпринята попытка прочесть мысли его посредством чтения книг его и таким образом прояснить для себя намерения души его просвещенной и философское разумение им дел земных и небесных. А для этого часть его книг, как и часть обнаруженных в фурах приспособлений, гравированных досок и шрифтов, прокурор у него реквизирует.

И затрубил тогда на третий день на помосте Соляной площади геральд, собирая поспольство вроцлавское — людей уважаемых, знатных, зажиточных и разного рода ремесленников, цеховых мастеров и челядь, а также неродовитых, но состоятельных простолюдинов славного места

Вроцлавского. И перед многолюдной площадью развернул геральд свиток, подписанный бургомистром и радниками магистрата, и прежде всего прокурором. Голос геральда звучал зычно и красиво, и слышен он был не только на соседних улицах Русской и Святого Николая, но и на рынке с ратушей, и на улицах более дальних — Олавской, Кузнечной, Свидницкой, на Подвалье. Голос геральда звучал:

— Нижеследующим доводится до ведома вашего, многочтимые жители города нашего, что в наш славный город Вроцлавский три дня тому назад прибыл, как он называет себя, doctoris artium и доктор медицинских наук некто Франциск Скорина, якобы сын Луки — купца из города литуанского Полоцка. Также обращается внимание всех многочтимейших жителей нашего славного города Вроцлава, что его достопочтенная городская рада — магистрат, бургомистр, радники и их светлости епископ Вроцлавский и прокурор Вроцлавский остаются в печальном неведении относительно того, что вам сейчас будет изложено по очередности.

Первое. Всем вышеназванным достойным особам до сей поры неизвестно, кто были действительными учителями вышеупомянутого якобы доктора Франциска Скорины якобы из литуанского города Полоцка!

Второе. Также по-прежнему неизвестно достойнейшим особам вечного и набожного города нашего, католического ли вероисповедания называвшийся выше якобы доктор Скорина из якобы города Полоцка, не схизматической ли он веры, ибо, объявляя себя сыном единосвятой и единственно правильной веры римско-католической, книги печатные, кои везет он в якобы места Виленское и Полоцкое, рассчитаны на покупателей, исповедующих веру схизматическую, греко-православную, и рожденных в варварском белорусинском языке, на котором они, эти книги, в лихой для правоверных христиан час и были тиснуты якобы в славном Пражском месте.

Третье. И еще доподлинно неизвестно, у какого короля якобы в королевских секретарях состоял вышеупомянутый якобы доктор наук Франциск Скорина: у короля датского — в Дании, или у господаря валашского — в Валахии?

Четвертое. Его преосвященство епископ вроцлавского капитула и все его достопочтенные члены после вышеизложенного спрашивают у вас, не может ли быть этот якобы Франциск Скорина уличен вами в каком-нибудь сговоре с преданным его высоким преосвященством папою римским Леоном X анафеме недостойным каноником места Виттепбергского Мартином Лютером?..

Геральд еще очень долго читал бы, и Соляная площадь, вслушиваясь в

красивый голос зычного геральда, зачарованно внимала бы, но тут на помост, откликаясь на зов городского глашатая, поднялся палач. Он был не в палаческом одеянии и без топора в руке, с плеча его не свисала, веревка, и не лежало в кармане мыло, которым привычно намыливал он ту веревку, но что это был палач, все многочистимые и вовсе не чтимые вроцлавцы знали точно. Палач сказал:

— Обращаясь к вам, одnogорожане, и памятуя о наисправедливейшей на свете Вроцлавской ратуше, перед лицом наидостойнейших на свете мужей, денно и нощно всею душой служащих нам, поспольству вроцлавскому, я должен прежде всего сказать, что никогда не знал только что названного здесь якобы доктора разных наук якобы Франциска Скорину из некоего якобы литуанского места. Должен вам сказать, что ни снимать его головы мне не доводилось, ни клеймить плеча, ни отрубать руки. Я вам скажу, что это в самом деле на беду нашему славному городу ганзейскому уменьшилось при Жигимонте в королевстве польском разбойников, конокрадов, фальшивомонетчиков. И еще вам скажу, что у меня уже рассыхаться стали хомуты возле позорного столба ратуши, в которые зажимал я шеи поганых злоумышленников, как заржавели вконец и наручники, в которые руки бандюг и грабителей я заковывал. А уж о моем давно не точенном топоре и говорить не приходится, как и о том, что вот уже третий месяц, купцы уважаемые ганзейские, вроцлавские, не за что мне купить у вас хоть чего-нибудь детям моим — исхудалым, ослабшим и бледным...

Палача больше не слушали. И тогда на помост Соляной площади поднялась пышнотелая разодетая молодлица.

— Я — Эльза Грубляйн, урожденная Груббе, вдова славного купца вроцлавского Шпека-Соромного, — сказала она и продолжала: — О, это был бы наисчастливейший день в моей жизни, мои наисчастливейшие одnogорожане и одnogорожанки. И, я думаю, вы догадываетесь, мои дорогие одnogорожане и одnogорожанки, что я имею в виду. Если он, этот якобы доктор, и якобы Франциск, и якобы и так дальше, будет отдан палачу, то решение будет справедливым. Ведь только справедливость и может торжествовать в нашем наисправедливейшем епископском и ганзейском Вроцлаве. И я прошу всех наидостойнейших мужей наидостойнейшего места нашего вроцлавского отдать Франциска палачу, иначе я признаю в нем незабвенного мужа моего — вашего сотоварища, вашего соратника, вашей высокой гильдии купца, о купцы ганзейские, вроцлавские! Ведь кто ж из вас не помнит моего достославного мужа — торговца маслом и яйцами Грубляйна-Шпека-Соромного?! Куда только не довозил он свое

масло и свои яйца? В Вену и в Венецию, в Париж и в Грецию и, вполне возможно, в тот самый якобы Полоцк, откуда якобы вышел этот достославный муж, о котором тут и геральдом и палачом говорено. Дак ежели мой незабвенный, доброй памяти Грубляйн-Шпек-Соромный доезжал до Полоцка, то разве ж не похож на мужа моего этот наискромнейший якобы Франциск из якобы наискромнейшего Полоцка?!

О боже! Вы не хотите в нем признать моего мужа? Тогда признайте брата. Это же правда из правд, что он — мой брат, и не глядите, что губы у меня — побольше да что я — лупоглазее, а левый глаз, тот вообще с косинкой, — в семье, как говорят, не без уroda!..

Не признаете вы и братом его моим, тогда, прошу вас, признайте его моим любовником, ведь я влюбилась в него с первого взгляда. О! Иди ко мне в объятия, бедненький мой, ринайся, печатничек ненаглядный, обнимай! Я не допущу, чтоб этакая головушка была снята, чтоб этикие плечики клеймо позорило, чтоб этикие рученьки отрубленными упали!..

Ничего тут не могли сказать горожане вроцлавские, потому что действительно добрую душу имела добрая вдовица доброго купца ганзейского, вроцлавского Эльза Грубляйн-Шпек, урожденная Груббе, которая не без ведома прокурора накануне прошлой ноченьки пыталась добиться взаимности от задержанного во вроцлавской ратуше неизвестного Франциска с прямым на то заданием — прояснить неизвестное. Однако и на этот раз не столько от желаний страстной вдовицы зависела судьба полоцкого Одиссея, сколько от совсем-совсем другого...

Известно, судьба человека, которого обвиняют, во многом зависит от прокурора. И прокурор места Вроцлавского превзошел самого себя в красноречии, когда с полным своим прокурорским обвинением выступил во вроцлавской ратуше против Франциска Скорины. Обвинение звучало примерно так:

— Молчит! Вы послушайте, мои многочтимые достойники места нашего многославного: молчит. А вы знаете, что означает молчание русина? Сговор, заговор, сетью которого, если мы не распутаем его, он, как паук, обовьет головы наши и сердца наши и выпьет кровь нашу христианскую! Однако ж затем бог человеку разум дает, чтоб свинья его не съела! И я вам скажу, почему он молчит, почему не отвечает. Он боится выпустить из рук нити заговора своего! И я вам сейчас, как сердце свое на ладонь, выложу эти нити! Христиана Падерсена — кто из вас не знает его? Не знаете, а это ведь — *Datiae*^[110], это ведь та же напасть, что и наш молчун: Псалтырь, Новый завет в Дании на вульгарный язык — поняли? —

перевел. Одного поля ягодки! А теперь прошу вас взглянуть на печатные книги Валахии: да, на этот раз — Daciae^[111]! И если наш молчун попытается здесь отрицать, что он этих печатных книг и в глаза не видел, что он лишь к печатным книгам Гутенберга присматривался, то не сыщется дурня, который бы ему поверил! И мы не верим!..

И это ж надо еще, чтобы в наш набожнейший город прежде Лютера пришел некий Франциск?! Пришел с той же ересью, которую уже проклял в Риме святейший папа! Пришел, чтобы накликать и на нас гнев справедливый бога и Ватикана!..

Но я должен вернуться еще раз к тому, что же прячет от нас злосчастный пришелец за словами Daciae и Daciae? Ведь здесь, опять же, только глупцы, высмеянные достославным Эразмом Роттердамским^[112], не смогут уразуметь, что нас как бы плыть между Сциллой и Харибдой принуждает этот упрямый молчун. Но с кем он, этот молчун: с Габсбургами или с Ягеллонами? Вы поняли меня, о умнейшие из умнейших? Кому служит он, верен кому: дунскому Иоанну I, у которого он мог быть королевским секретарем до своего прихода в Падую, ибо королем Дании Иоанн I был до 1513 года, или Михне Жестокому, которого бояре Крайовы убили в Валахии уже в 1509 году, или Влади Молодому — господарю валашскому, который мог отправить своего секретаришку Франциска в Падую еще до своей смерти в 1512 году.

В прошлом году все мы, славные мужи Вроцлава, оплакали величайшего из Габсбургов — Максимилиана I. Наша надежда теперь — Карл V, хотя и принадлежим пока что Фердинанду Чешскому. А он же, Францискус Скорина, едет в объятия Жигимонта Ягеллона, и я вас предупреждаю, что это — не Бона Сфорца, которая милостью его величества Максимилиана I в объятия Жигимонта в позапрошлом году ехала, — не Бона Сфорца, а подозрительный русин, тем более подозрительный, что неизвестно, с какими печатными книгами в свою Белую Русь едет. И ни его самого, ни его книг я в Варварию ни за что не пускал бы! Казнить! Только казнить! Ведь это же и в самой Литуании, как всему ученому миру известно, говорят: «Самый лучший русин — казненный». Казнить!..

Как видим, жестоким прокурором был прокурор вроцлавский, хотя и считал себя человеком красноречивым и образованным. Но вместе с тем истинную правду испокон веку люди говорят: белый свет — не без добрых людей. Не без добрых людей оказался на то время и Вроцлав, и, может, первым среди них был не кто иной, как сам тогдашний вроцлавский

епископ Иоганн Турзо.

И был тот Иоганн Турзо сыном как раз того Турзо-магната, который весьма преуспевал в горной промышленности и который в не таком уж и давнем времени, в 1491—1492 годах, со всей обязательностью, свойственной людям ответственным, опекал в Кракове первого европейского печатника книг славянских кириллицей Фиоля^[113], пока печатная работа его не была в 1492 году запрещена примасом Короны. Сын отца своего, Иоганн Турзо совсем по-иному, чем вроцлавский прокурор, смотрел на печатные книги славного продолжателя славного дела славного Фиоля, а значит, и на самого Франциска Скорину — сына Луки из далекого от Вроцлава места Полоцкого. И в результате всего лишь часть скорининских печатных книг была во Вроцлаве реквизирована. И пускай то была немалая часть, но все ж таки только часть отпечатанного Скориной в Праге. Попав, как сегодня известно, спустя 15 лет, а именно в 1535 году, во вроцлавскую ратушу на макулатуру для обложек актовых записей, эта часть потому и сохранилась под кожаным верхом солидных ратушных записей Вроцлава, что попала в макулатуру. Попади она в пламя костра, не сохранилась бы!..

А конкретно говоря, в макулатуру попало во Вроцлаве в 1535 году вот что: четыре непорезанных листа, отпечатанных Скориной, двадцать пять половинок листа да семь полосок шириною в шесть строк каждая. Таким образом, всего — изуродованного и не изуродованного ножницами — до восемнадцати листов текста: из книг «Исход», «Левит», «Числа», «Первая царств», «Четвертая царств», «Даниила-пророка», «Притчи Соломоновы», «Екклезиаст». Что станется с отнятыми у него во Вроцлаве книгами, оставляя Вроцлав, Скорина не знал. Но сколько и что было изъято, знал! «Лучше бы встретили меня на битом шляху Янтарном десять разбойников, чем один прокурор!» — думал Скорина, оглядываясь на Вроцлав.

И долго еще в глазах Скорины стояла краснокирпичная громада вроцлавской ратуши, какой она осталась в памяти при первом взгляде на нее, когда он в арочную дверь, не пригибая головы своей, смело входил. Который же час показывали тогда ратушные часы? Скорина не помнил. Но долго еще он видел очень отчетливо квадрат на острие одного из окон на втором этаже, а в том квадрате — круг солнца с разбегающимися от него лучами, как в собственных его книгах.

Готической отделкой, узорчатыми ромбами фронтона, крестами вроцлавская ратуша в целом походила чем-то на Тынский костел в Праге. Но то был не Тынский костел, как солнце в квадрате ратушных часов не было солнцем из герба Скорины. «Сколько же, однако, на свете божьем

солнц? И разве не все люди к ним руки простирают, щитами-тарчами те солнца свои делают, щитами-тарчами теми не от солнца ли самого закрываются?!» — и об этом все думал, думал после Вроцлава Скорина. А настоящее, действительно единое на весь мир, на всех людей солнце вольно-вольно плыло в небе. И поглядывал на него после вроцлавской ратушной удушливости, тоже свободно вышагивая возле своих облегченных фур, человек в мантии и красном берете. Поглядывал и чуть заметно улыбался, радуясь, что, хотя одну из бед и не миновал он во Вроцлаве, но все же на одну беду в его жизни теперь меньше будет. «Что ж, — заключил он, — *in spe, in infinitum...* В надежде!.. В бесконечность!..» Позади была Корона; впереди было Великое княжество Литовское.

Не из корысти, а из радения, или глава пятая, в которой довольно подробно повествуется о первых радостях и огорчениях досточтимого ученого мужа Франциска Скорины в Вильне, о его волнующей поездке в родной город Полоцк, а также о печатании в славном месте Виленском «Малой подорожной книжки» и о немалых хлопотах как вокруг нее, так и вокруг издания «Деяний апостолов», которым лишний раз было доказано, что не бывает пророков в своих монастырях и многое другое.

И тут он с болью понял...

Максим Богданович

Ибо, если преходящее славно, тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с превеликим дерзновением.

Из второго послания апостола Павла к коринфянам

1. ПЕРВЫЕ РАДОСТИ И ОГОРЧЕНИЯ

Вильна была перед ним. И солнце над нею в зените — в небе синем и чистом, как его глаза. И то ли от синих глаз его разголубелось небо над Вильной, то ли от синего неба над Вильной глаза его радостно поголубели, славные виленцы под тем ясным, золотым солнцем, сиявшим над ними, не шибко задумывались. Не думал о том и Скорина, возбужденно переживая свое прибытие в Вильну под ее такое синее и чистое небо. Ave sol! Да здравствует солнце! И это было самое искреннее приветствие Скорины, рожденное радостью его возвращения на родину — возвращения с осуществленной мечтой, возвращения человека, который цену светлому солнцу знал, его по-особому осмысливал, со своей судьбой, со своей личностью связывал. И не беда, что после Вроцлава легче было коням, запряженным в малоповоротные фуры! Главное — книжный скарб, обретенный его неустанным трехлетним трудом в Праге, сюда, в Вильну, привезен. И теперь Скорина будет рядом с Богданом Онковым, Якубом Бабичем, Юрием Одверником, ведь рядом — перед ним — была Вильна со всей своей красою, притягательностью, знаменитостью. Дух захватывало, речь отнимало еще и оттого, что Скорина въезжал в Вильну через Кревские ворота. Ворота эти станут впоследствии называться Медницкими, а еще позже — Остробрамскими, сейчас же они именовались Кревскими. Ольгердов путь из Полоцка на Вильну оканчивался этими знаменитыми воротами. Скорина был в самом конце Ольгердова пути, но путь его собственный вел сюда не через Крево, хотя отчасти и через то самое Крево, если помнить, что Кревская уния вообще взяла под свой контроль дороги из Великого княжества не только на Краков, но и на Прагу. Да не об истории, близкой или давней, думал Скорина, въезжая в Вильну через Кревские ворота. Он знал, что за ними он враз окинет взором уже известную ему треугольную рыночную площадь и подворье Якуба Бабича увидит на ней, и каменный дом Юрия Одверника. Ниже Кревских ворот — по правую руку — по-прежнему стоит пивнушка, где накануне своего отъезда в Прагу три года тому назад он окончательно договаривался о деле с Богданом Онковым и Якубом Бабичем. Одверник на тот разговор не пришел, и Скорина прощальное слово Юрию передал тогда через Онкова. Передал, чтоб аж до этого дня думать, почему отсутствовал тогда Юрий?..

Вильну Франтишек знал еще благодаря отцу своему — купцу Луке Скориничу, поскольку урочные виленские ярмарки были ярмарками и торгового люда полоцкого: одна из них открывалась на Водокрещу, другая — на Успение. Две, а то и три гулкие недели продолжались те ярмарки, и на две и более недели задерживался тут, бывало, отец Франтишека, чтоб после месяц-другой при случае рассказывать младшему сыну о Вильне. О

чем только не рассказывал отец! И о разных посадах этой славной столицы Великого княжества Литовского, которых тут, как и в Полоцке, было шесть, только назывались они половицами — Литовской, Русской, Немецкой. Отец, однако, охотнее вспоминал не о половицах, костелах или церквах Вильны, а про ее купеческие гостиные дворы, и прежде всего про тот из них, который построили здесь еще при Ольгерде новгородские купцы. Любил говорить и про гостиный двор, выросший заботами короля Александра, добавляя при этом, что все-таки жаловал король Александр купца, не забывая о нем. То королевское внимание, известно, касалось, как понимали его сами виленские торговые люди, не столько заезжих гостей, сколько их, местных купцов. Ведь это же не им, виленцам, а приезжим купцам сурово предписывалось останавливаться только на дворе Александра и нигде более. И еще обязаны были приезжие купцы, устроившись на отведенном для них дворе, доложить о себе городской раде. И перед отъездом своим они должны были сделать то же. Ко всему категорически запрещалось приезжим купцам торговать в Вильне с такими же приезжими купцами. Торговать они имели право только с купцами виленскими, только с человеком виленским. Так что забота Александра о купце была перво-наперво заботой о виленском купце, о Вильне.

Но что, однако, ни вспоминал Скорина из рассказов отца об этом городе, первые дни его встреч в Вильне не могли не быть радостными, праздничными. Друзья его — Богдан Онков, Якуб Бабиц — книги, им напечатанные, видели, известно, и до сих пор. Но чтобы их рассматривать с Франтишкой — не рассматривали. И то были такие смотрины печатных книг, словно все трое -до этого их вообще не видели и в руках не держали, с жадностью не вчитывались в них. А все потому, что рассказывал друзьям Франтишек на тех смотринах и впрямь не только о том, что они уже знали из предисловий, но и прежде всего о том, что в предисловия не попало, не могло попасть. Скорина рассказывал и рассказывал о всех сложностях и тонкостях дела, уже свершенного им в Праге, о всех деталях и мелочах, что обычно помнятся людьми не очень долго, хоть как раз-то из них и состоит сама жизнь человеческая в ее неуловимости, быстротечности, исчезаемости. Пива, понятно, при той долгой-долгой скорининской исповеди была выпита не одна кружка, меду был вычерпан не один гарнец, и не одни жирный гусак был к тому пиву и меду зажарен, не одно стегно воловье ломтями красно-багровыми на подносы серебряные легло, приправленное густо и смачно и круглым зеленым горошком, и душистым огненным шафраном, и тертым красным бурачком, и заморским сладким изюмом.

Но вместе с первыми виленскими радостями явились и первые виленские заботы. Заботы Скорины были купеческими, торговыми. В чем они конкретно состояли, сегодня неизвестно. Дойди с того времени до нас, например, торговые книги Богдана Онкова или Якуба Бабича, а такие книги у ганзейских купцов всегда были, потому что вести их обязывало Магдебургское право, — так вот, сохранись те книги, ляг теперь своей объемистостью, кожаными обложками, графами, числами, подсчетами и расчетами на наш стол, и, как Богдану Онкову или Якубу Бабичу, каждому сегодня было бы ясно, сколько средств потратили те же Богдан Онков и Якуб Бабич на пражскую Библию — на бумагу, на которой она печаталась, на шрифт, на гравюры, на виньетки, на заставки. И сколько и на что в своем печатном деле израсходовал в Праге и сам пражский печатник Франциск Скорина, и каких затрат оно вообще потребовало, и какую прибыль ему и его друзьям вообще принесло, и сколько книг в тот или иной день продали и даже кому в долг продали — все, все было бы известно из торговых книг Богдана Онкова, Якуба Бабича, дойди они только до нашего времени! Хотя и понятно, что торговая книга — не волшебное зеркальце, сполна отражающее жизнь купца вообще и его торговую деятельность в частности. Ведь та же купеческая деятельность по обыкновению обуславливалась для торгового человека правилами, похожими на законы умножения, когда одно число пишется, а другое — в уме держится: семью семь — сорок девять, девять — пишем, четыре — в памяти. Сколько чего у купцов разных времен в памяти оставалось, кто, когда и где о том доподлинно знал?! Так же и в торговые книги то, что оставалось в памяти купца, купцом никогда не записывалось. Ведь память купца, способность к прикидке, острота и беглость мысли и были обычно залогом успеха купца, порукой его барыша. Расчет на бумаге — одно, расчет невидимый, нутряной — другое. Знали их купцы до Онкова и Бабича, знали и купцы Онков и Бабич. Но при всем том знании натыкались купцы до Онкова и Бабича, как наверняка и сами Онков и Бабич — может, часто, а может, не очень часто, — на самые разные пороги. И если бы не те пороги, то, известно же, не в 1522 году, а уже и в год своего приезда в Вильну спокойненько печатал бы Скорина свою первую здесь, в Вильне, виленскую книжицу — «Малую подорожную книжку». А так как не отпечатал он ее здесь, в Вильне, с ходу, тут же, вскорости, то это означало, что с ходу, тут же, вскорости, не получалось ни у Скорины, ни у Онкова, ни у Бабича. Все было не так просто, как могло показаться Скорине в первые дни по приезде. Что с того, что шрифт, виньетки, заставки и всякий иной скарб сюда, на место, Скорина все-таки привез? В Вильне, здесь уже, на месте, на какое место все это легло-

попало, на том же месте и продолжало себе полеживать! Ведь поначалу, видимо, возникла проблема с бумагой: бумагоделательная мастерская близ Вильны только-только заработала, и бумага была покамест неважной. Да и за что перво-наперво браться в Вильне — что переводить? Это вновь-таки не могло не беспокоить Скорину, Онкова, Бабича. Ведь купцу надлежит знать, что за спрос на его товар! Таким образом, нужно было или повторять в Вильне печатание текстов, уже печатанных в Праге, или заняться подготовкой к печатанию новых...

Вопросов, требующих решения, набиралось много, но в первую голову ставилось добывание денег, а также необходимость заручиться опекуном, равным если и не королевской привилегии, то хотя бы некой определенности, гарантирующей уверенность, что за спиной твоей стоит сила, которая поболее тебя и которая в обиду тебя не даст, если что непредвиденное случится. И все-таки эти серьезные хлопоты ' поначалу Скорине казались не такими уж трудными — по той отчасти причине, что все они делились на троих — на Онкова, Бабича и на него, Скорину. Но с каждым днем Скориной все больше завладевала в Вильне иная забота — самим Скориной малопредвиденная, Онковым, Бабичем — тоже.

И ходил Скорина по улицам и улочкам Вильны, словно неопит, и останавливался возле каждых ее ворот — больших и меньших, словно вело его к ним неотложное дело, хотя не было у него в те первые Виленские дни никакого неотложного дела. Он просто встречался с городом и то, задирая голову, подолгу смотрел на Замковую гору, то, желая убедиться, сколь длинна оторачивающая Кривой город с его великокняжеским замком каменная стена, берегом Вилейки доходил до Бакшты, сворачивал направо и добирался по Немецкой улице аж до истоков Вингры. Строительство оборонительной стены вокруг Вильны было завершено при короле Александре — в год, когда Скорина стал в Кракове бакалавром. Пять больших ворот насчитывалось в этой стене, да еще поменьше ворота были — одни со странным названием Мокрые (что возле них выбивался из-под земли родничок, Скорина не знал), другие с менее странными названиями — Татарские, Чертовы (Чертовы потому, как разузнал Скорина после, что магистрат держал в их башне некоего знаменитого на всю виленскую округу разбойника по имени Чертов Отец). Но возле каких бы ворот ни задерживал свой шаг Франтишек — возле Вилейских, Тройских, Кревских, Спасских, какими б улицами и улочками ни шел, везде он словно оказывался в тупике со своей единственной мыслью: «Почему Онков и Бабич ничего не отвечают на расспросы об Одвернике, будто специально отводя от окон его дома?.. Молчат, ровно каменные стены костелов,

церквей...» Сколь великим было это молчание, можно себе представить, если костелов на то время в Вильне насчитывалось восемь, а церковей — восемнадцать. И Скорина готов был зайти в каждый из тех костелов, в каждую из тех церковей, чтоб выпытать, о чем умалчивают Онков и Бабич. Но, известно, алтари молчат, если нет возле них человека. Молчали друзья, молчали храмы, а молчание ведь никогда еще на свете ничего хорошего не предвещало.

Как мы уже знаем, в своих пражских послесловиях Скорина ни разу не преминул воздать хвалу богу в троице единому. Но писал ли Франциск Скорина по-книжному о боге в троице едином, говорил ли более по-площадному, по-обиходному, что бог троицу любит, с божьей троицей было у него как с божьей — всегда одинаково. Иначе дело оборачивалось у него с троицами иными — не с небеси, а с земли. Попятно, когда он вспоминал Прагу и все, что он там сделал, то непременно видел в той своей удаче содействие троицы небесной — бога. Но если бог содействовал ему, то содействовал и его приятелям — Онкову, Бабичу. При этом Скорина как-то не замечал, что он с ними — троица, и троица из тех, возможно, которые он, всевышний, любит. Но, собственно, их, виленских побратимов Скорины, не два, а три. Троица была уже и без него, Скорины, и третьим в ней был тоже виленский его соратник и купец Юрий Одверник. Юрий Одверник, однако, с некоторого времени как бы выпал из круга виленских друзей Скорины — выпал, когда в новой ипостаси перед Скориной предстал, когда и он и Скорина свои равно влюбленные взгляды направили в сторону одной и той же вильнянки. Так возникла новая троица — с третьим лишним. Бог, как полагал Скорина, такие троицы не жаловал. И, может, именно эта неприязнь бога к неким там любовным триадам — Скорина думал о ней теперь очень часто — как раз таки и была очень серьезной причиной того, что аж до сих пор Франтишек оставался неженатым и никак не мог забыть той единственной, что обособила для него Юрия Одверника.

Одверник! Что он тяжело болен, как ни скрывали Онков и Бабич, скрыть от Франтишека Скорины не могли. Вильна не утаила, треугольная площадь рыночная, любопытные взгляды из окон, сопровождающие его, Скорину, вечные недомолвки добрых, учтивых виленцев. И, как только Скорина дознался, что с Одверником, тут же очутился при нем — при Одвернике.

...В комнате с узкими высокими окнами, в которой лежал больной, было сумрачно. Скорина рассмотрел кровать, мастерски сработанную, — ее украшенные всевозможными узорами спинки тоже были высокими —

особенно та, что в изголовье больного. И подушки под голову Одверника были подбиты высоко, и высокая посуда с некими отварами — густыми, темноватыми — высилась на кресле, приставленном к -кровати сбоку. Еще одно кресло стояло поодаль. «Для Маргариты» — подумал Скорина, чувствуя всю необычность в этой комнате кресел, столь редких в то время в купеческих домах, зачастую просто недостижимых, словно королевский трон, не только для многих купцов литовских, но и для магнатов. Кресла, однако, свидетельствовали здесь не о спеси, роскоши, богатстве их обладателя, а — Скорина понимал — о том, что ничего в этом доме не жалели, только бы лучше стало его хозяину, только бы поправился он, только бы явственней ощущал он желание домашних, исстрадавшейся жены пересилить то, что, может, через узкие окна, может, через узкую дверь, но все ж таки в эту комнату влезло, протиснулось, свалило ее хозяина на пуховую постель, пух обращая в войлок, белое тело больного полосуюя чернотой пролежней.

Дух в комнате стоял тяжелый, темнота оседала по нижним ее углам, и ступалось по мягкому ковру, устилающему каменный пол, неслышно. Высокая кровать, стоявшая ровно посреди комнаты, показалась Скорине смертным одром — показалась как раз потому, что стояла не у стены, а вот так — высокая, посреди комнаты с высоким потолком. Но тот, кто возлежал на одре, был жив. Он был жив, их Юрий Одверник, разбитый параличом, неподвижный, и то, что в его комнату вошли, услышал, тихонько застонал.

Скорина ступил в комнату не один — вслед за ним подвигался Онков, в растерянности остановился Бабич. Маргарита встретила их в сенях, подвела к двери, но сама в комнату не вошла. Скорина понимал ее... Сдавленно за ним дышали ему в спину высокий, дородный в своем просторном платье Бабич и вечно подвижный, а тут как бы связанный по рукам и ногам коренастый Онков. Бабич носил пышные усы и широкую бороду, Онков, как и Скорина, — только усы. Их щеки румянились, и Скорина отчетливо сознавал, что его друзьям — и огромному, под стать богатырю, Бабичу, и светлоблондинистому кряжистому Онкову — и ему, Скорине, как-то неловко здесь, в этой комнате, находиться, — цветущим, здоровым. Но не прийти сюда Скорина не мог. Онков и Бабич, те особого желанья не выразили. И не потому, что хотели оградить Франтишека от молчаливого в своей болезни Одверника: причина была в давней причине, им известной. Это — во-первых. А во-вторых, веселому после Праги Скорине — каково ему будет теперь?.. Вдосталь когда-то напереживался! Снова пробуждать в нем прошлую боль, снова осуждать друга на бог весть что — этого не хотели ни Онков, ни Бабич. Потому ничего и не говорили

Франтишеку, всё оттягивали, на его расспросы неопределенно «мекали».

Скорина — лекарь. И потому уже не мог он не поспешить сюда, чтобы взглянуть на все хотя бы краешком глаза. Слишком мало дают больному отваров — показалось ему сразу же. А почему отсутствуют медницы, чтобы кровь пускать? Нет жиров — ни баночки с заячьим, ни с медвежьим, ни с каким-либо еще, чтобы пролежни хоть на ночь смазывать. Может, больше, чем заморские кресла, душу больного, взор его успокаивали б, снимая боль, мерцающий посверк жемчуга, сапфира? Да и крепкий алькермес не повредил бы! Но почему же и Маргарита его, Франтишека, лекаря, к больному Юрию не позвала? Неужели и ей никто не сказал, что он, Франтишек, уже здесь, в Вильне, приехал, вернулся?..

Одверник дышал с трудом. И чем труднее он дышал, тем старались сильнее сдерживать свое дыхание и Скорина, и Бабич, и Онков. Одверник дышал труднее — значит, волновался: волнение учащало его дыхание. И нужно было что-то делать, что-то говорить, чтобы хоть как-то облегчить состояние больного. А лекарь Скорина, словно вовсе не лекарь, сам не зная почему, не слова утешающего искал, а, как будто над великой тезой, принялся размышлять, то ли подойти ему к окну, чтобы видеть лицо Юрия более освещенным и лучше понять по лицу больного его недуг, то ли перейти на ту сторону кровати, чтобы их лица — его, Онкова, Бабича - в более ярком свете увидел Одверник и мог узнать своих друзей. И поскольку он, Скорина, никак не мог разрешить такой никчемной тезы, которая лишь уводила его от главного, сама собой заметно разрастаясь по мере того, как все более и более Скорина терялся, продолжая стоять в ногах больного, а за ним безмолвствовали и маленький Онков, и большой Бабич.

Тяжелое молчание затягивалось. И тут Скорина с болью понял, что *это* — надолго, что откупиться от этого невозможно, что *так* будет продолжаться и месяц, и год, и, может, два, три... Беспомощность! Тут ни цирюльник не поможет, пускай он кровь хоть по три раза в день, ни отвары, ни даже из самого Лондона доставленные перстни — с самыми необычайными черносверкающими камнями.

Видел Онкова, Бабича, его, Скорину, непосредственно Юрий Одверник или не видел, Скорина уверен в том не был. С той минуты, как друзья переступили порог этой комнаты и из сумеречной глубины ее застонал Юрий, казалось Франтишеку, прошла вечность. Так и не решив, с какой стороны лучше будет подойти к кровати Одверника, по левую или по правую руку стать от нее, Скорина по-прежнему оставался в ногах Одверника, почти впритык теперь приблизившись к нижней спинке этого скорбного ложа. Он отчетливо видел сейчас высокую спинку над головой

Юрия, видел профиль Юрия, лежащего на кровати на правом боку, отвернувшегося лицом и всем телом от окон, от света. И тут Скорине бросился в глаза узор венка из дубовых листьев на той высокой спинке — точно как на гравюре с его, Скорины, лицом. И был узор тот как напоминание об их общей славе, мужском достоинстве, возможной вечности, но главное — общности. Да, это и частица его, Скорины, лежит неподвижно на этом высоком ложе! Одверник — частица его, Скорины; ведь печатное дело — их совместное дело. А книги — как дар их поспольства поспольству иному, более многочисленному. «То ли он, Одверник, сам себе, то ли Маргарита заказала эту кровать больному, а может, еще и не больному Юрию — кровать с дубоволистным венком славы?» — подумал Скорина. Поскольку тут, возле Юрия, стоять и дальше молча было невозможно, то надобно было не так самому в душе задаваться вопросами, как спросить о чем-нибудь больного, сказать что-нибудь больному. Давно уже надобно было!

И Скорина тихо, но и ему, и его друзьям Бабину и Онкову показалось, что очень громко, молвил-позвал: «Юрий!..»

Одверник, как лежал на правом боку, так и продолжал лежать — не шевельнулся, но глаза его раскрылись, и Скорина ждал, что Одверник вот-вот заметит их — его, Бабича, Онкова, — и заулыбается, лицо его прояснится, и он повернется к окнам, к свету. Но Одверник смотрел перед собою, и ничего не изменялось в его лице — ничего.

— Юрий! — уже настойчивее кликнул Скорина.

И в напряжении трое друзей, каждый — телом своим, каждый — взглядом своим, каждый — душой своей, подались вперед, поближе к тому, что было Юрием Одверником. И тогда они, словно из глубокого глухого подземелья, спустя какой-то, точно для них в этой комнате не очерченный промежуток времени услышали:

— ...г-г-грет-та...

Звали — не их. Помнили — не их. Выбрали некогда — не их, и с избранницей своей оставались — без них. Не то что на «вы» они все перешли, друзья его, Одверника, с Одверником, с которым они всегда были на «ты». Но он, Одверник, звал не их. Да это уже и не он звал, отметил про себя Скорина, звало то, что было еще памятью Одверника, за что он, единственное, держался еще в этой жизни. И хотя в комнате, где лежал Одверник, дверь была толстой, дубовой, стены были толстыми, каменными, зовущий голос больного Маргарита тотчас услышала и тотчас возле постели больного объявилась. Спустя какие-то мгновения Скорина, Бабич и Онков сумеречную, с высоким потолком комнату Одверника

оставляли.

Франтишеку было нелегко: всегда нелегко понимать больше других, особенно если это — понимание неизбежного, чего ты не в силах предотвратить и что неумолимо надвигается, как тень черной тучи. С болью думал Франтишек про Одверника, но с каждым днем его мысли все чаще переключались на Маргариту, и снова прошлое, что было некогда между ними, заныло, заболело, словно и не вырывал он его из души своей, как вырывают ноющий зуб. И спасение теперь для Скорины было одно — уехать на время из Вильны. Так согласно полагали и словоохотливый Онков, и по обыкновению молчаливый Бабич. И прежде всего необходимость его отлучки они, чтобы скрыть действительные причины, вынуждавшие их настаивать на ней, связывали с хлопотами о печатном и книготорговом деле, которое и впрямь надобно было оживить, которое находилось в довольно плачевном состоянии и требовало не засиживаться в Вильне, а спешить от города к городу, от места к месту. Радостно-говорливое возбуждение от первой встречи уже прошло. То, что было осуществлено в далекой Праге, здесь, на родине, требовало своего продолжения, наращивания, углубления. Но здесь, на родине, все как будто замерло: ни продолжалось, ни наращивалось, ни углублялось. Более того: в подклетьях Богдана Онкова еще не проданными лежали книги, пересланные Скориной хозяину этих подклетей из типографии Павла Северина еще в позапрошлом году. С приездом Скорины в Вильну количество книг в подклетьях Онкова и Бабича увеличилось, но хлопот с их распродажей не уменьшилось. И нужно было что-то делать. Скорина рвался прежде всего в свой родной Полоцк. Онков и Бабич не очень поддерживали его в этом намерении, поскольку знали, что там Скорину ждет: только в прошлом году весь город подвергся разрушению — был сожжен, разграблен, вытоптан. Друзья уговаривали Скорину ехать в Витебск, но тот настаивал на своем. В Полоцк! Он поедет только в Полоцк, и в Полоцк он прежде всего и поехал.

...Решение Скорины ехать в Полоцк для его виленских друзей Бабича и Онкова не было внезапным. Но для кое-кого оно таки оказалось неожиданным, и перво-наперво для его извечных добровольных спутников — Прекрасных цветков средневековья, как представились они Скорине при самой первой встрече с ним в чешской Праге. Особенно волновался доктор черной магии Иоганн Фауст, и вот почему: он потребовал от доктора Франциска Скорины полного возмещения всех расходов, понесенных им по дороге сюда, в Вильну, куда он перебрался вслед за Франциском Скориной. И получилось так, что та знаменитая на все времена перепалка,

вспыхнувшая между достославным Иоганном Фаустом и многотимым Францискусом Скориной по поводу мыта, в пути взимаемого за проезд, происходила, понятное дело, в уже известной нам пивнушке, находящейся при треугольной рыночной площади, на правой стороне улицы, если идти по этой улице от Кревских ворот.

Гойным^[114], как всегда, оказался пан Твардовский, который заявил, что поскольку в небесах не взимают мыта, а он, как известно, путешествует над этой грешной землей на молодом месяце, то от любого платежа со стороны Франциска Скорины он отказывается, потому что считает ниже своего достоинства брать не принадлежащие ему по праву, хотя и значительные деньги.

Станьчик сказал, что он любит короля Жигимонта, и с радостью опускал в пустую королевскую казну на каждой мытне каждый золотый и флорин, и потому тоже никакой компенсации от многоуважаемого ученого мужа Франциска за свой переезд из Праги в Вильну не требует.

К удивлению доктора Фауста, не потребовал возмещения убытков и скуповатый Голем. Оказалось, что он лицом своим чрезвычайно похож на широко известного не только в Литве, но и в Короне ростовщика Рабичковича, и в большинстве случаев получалось так, что не Голем платил пошлину, а наоборот — сплошь на мытнях сборщики пошлины оказывались в определенной задолженности перед самим Големом и вместо того, чтоб некую квоту с него востребовать, весьма щедро сами сыпали ему в глиняную пазуху пенязи. Однажды — или это Голему показалось? — даже сам король Жигимонт снял перед ним свою шляпу с огромным белым пером, от чего бедный Голем, хотя и были его щеки глиняными, покраснел как рак.

И, таким образом, один лишь знаменитейший доктор Фауст настаивал на своем, требуя от знаменитейшего доктора Скорины возмещения убытка, причем любой монетой, и ссылался при этом на великую мудрость римлян, утверждавших, как известно:

— Non olet!..^[115]

Станислав Станьчик тут же уел доктора Фауста:

— То же мог сказать, продавая Христа, уже Иуда.

По обыкновению растягивая рот во всю губу и по обыкновению отчетливо произнося каждый звук, доктор Фауст ответил:

— Многоуважаемый шут! Я всего лишь претендую на принадлежащие мне законно пенязи, шиллинги или некие там гульдены, которые беспардонно выгребли из моих кошель эти неотесанные мытненские

выгребальщики, принимая меня то за лекаря, то за ландскнехта, то даже за Мартина Лютера.

И тут доктор Фауст впервые пожалел, почему он не похож на Голема. Но при этом чести своей не уронил, поскольку добавил:

— Вот еще, досточтимые Панове, одно из очевидных преимуществ, которое дает отсутствие души!

Станьчик поглядывал на доктора Фауста вопросительно. Поэтому доктор Фауст продолжал:

— Шуты всегда понятного не понимают! А как тут не понимать, что у кого нет души, у того нет и нюха?! Посему, Панове, деньги для тех, у кого нет души, и не пахнут. Non olet!.. Однако...

Тут доктор Фауст снова глянул в сторону Станислава Станьчика:

— Однако я должен при этом добавить, что, хотя доктор Франциск Скорина и весьма дорог для меня, я никогда его не собирался и не собираюсь продавать! А возместить же свой убыток я требую по той простой причине, что не имею больше драгоценного металла, дабы сопроводить и дальше по Литуании выдающегося ученого мужа, моего дорогого коллегу Франциска Скорину.

И доктор Иоганн Фауст пригорюнился. И вынужден был в данном случае Франциск Скорина утешать пригорюнившегося доктора Фауста тем, что пошлины с него по дороге из Вильны в Полоцк никто брать не будет, но еще в большей мере тем, что стал просить и его, доктора Фауста, и пана Твардовского, как Станьчика и Голема, в Полоцк вместе с ним не отправляться, а по-роскошествовать в полной свободе тут, в Вильне, без него, поскольку все же его, Скорины, присутствие не могло ведь того или иного из наипрославленных его коллег в чем-то не сдерживать, а быть причиной какого бы то ни было сдерживания для кого бы то ни было оп, Скорина, понятное дело, совсем не хотел бы (с трудом доводя эту предлинную фразу до конца, Франциск свой многозначительный взгляд бросал, известно, прежде всего на пана Твардовского). Тем более, убеждал своих сподвижников Франциск Скорина, что поскольку нет между Вильной и Полоцком перегородок-мытней, то и наищедрейшему Станиславу Станьчику никак не удастся и дальше пополнять дырявую казну налюбимейшего им короля Жигимонта, а пану Твардовскому жесткость цыганского солнца — месяца, как раз пребывающего во всей полноте своей, может лишь подпортить изящную фигуру его. Ну а ждать, когда месяц пойдет на ущерб или тем более родится новый — молодой, Скорина тоже никак не может.

На том и порешили: Прекрасные цветки в Полоцк не поедут.

2. В РОДНОМ ПОЛОЦКЕ

Своего Полоцка Скорина не узнал, особенно предместий. Все вокруг лежало в руинах, обугленное и обрушенное огнем и лишь местами затянутое молодой живительной травой, там-сям уже начинающей буйствовать по-июньски. Там-сям пепелища были прикопаны, там-сям их уже заслоняли белизною теса новые стены или на скорую руку латанные свежей щепой стрехи недогорелых подворий. Резче других выпирали своими черными ребрами пожарища Верхнего замка — городом его уже не называли: Пожарищем! Крепкими были замковые стены из дубовых колод, крепкими были башты из дубовых колод, но покрепче их оказалась сила, что взяла город приступом. И чудились теперь Скорине уже не прошлые порубежные зацепки, хоть все и проистекало из них — как их продолжение. Продолжением зацепок всегда бывают огонь, вытоптанное подворья, поруганная честь...

Опоздал он, однако, ой как опоздал! Да хоть бы и здесь прошли все его молодые и уже немолодые годы, никто и в этом случае не сказал бы ему, что не «божиим попущением» наслана напасть на город, не потому случилось все, что он или кто другой чем-то гневил и разгневил-таки бога. Люди и только люди — причина происшедшему — и те, которых он знал, и те, которых вовсе не знал. Из того, что было ему известно, и из того, что ему никогда известным не будет, все проистекло.

...История движет мир вперед, история и запутывает самое себя. Были населяющие Киевскую Русь восточнославянские племена, общая древнерусская народность, и были северные соседи русичей — литва, жмудь, аукшота, пруссы, и соседи западные — мазовшане, поляки. И это еще до времен Киевской Руси литва, жмудь, ятвяги, аукшота не столько враждовали, сколько единились, жениясь, растворяясь друг в друге. Но нашествие разбило единство Киевской Руси, нашествие, которое сдерживали мечами и Койданово, Лида, Минск, Слуцк, и приостанавливали пуши и трясины земель дреговичей, кривичей, ятвягов, литовцев и жмудин. И там, куда не дотягивалась ордынская рука, где оставалась память «Слова о полку Игореве», идея единства, «Словом» воспетая, «Словом» утверждаемая, воспрянула, стала вновь обретать свою историческую плоть. Но то была уже не Киевская Русь, а новая феодальная держава наследников вчерашних русичей, кривичей, ятвягов, жмудин. Был в том новом процессе единения меч, подчиняющий строптивых и несогласных, были и свадебные венцы, роднящие через сынов и дочерей князей киевских, слуцких,

литовских, жмудинских. Где прошел подчиняющий меч, там земли Киевской Руси стали называться с того времени Черной Русью — земли Новогрудчины, Волковыска, Слонимщины, Белой Русью же стали называться земли Витебщины, Могилевщины, частично — Полотчины, Минщины. Затем — с постепенным возвышением Великого княжества Литовского — Черная Русь, Белая Русь, как и Жемойтия, Аукшота, стали терять свое самостоятельное значение, ибо тот, кто был из Великого княжества, будь он литовец, жмудин, вчерашний русич, за пределами княжества именовался литвином. И потому-то литвином и считался в Кракове, Праге, Падуе и Франтишек Скорина, тогда как в Падуе могли записать его и как русича.

И уже если Скорина опоздал, то он прежде всего опоздал со своим утверждением нового единства для своего народа, воспрянувшего духом в единении с северными соседями. Книга Скорины это показывала, старобелорусский язык, воспринятый им от матери и отца и ставший у него ярко публицистическим, это показывал. Но книги скорининской не мог увидеть Иван III, ее еще не видел и Василий Иванович. Они помнят, что было, они не знают, что есть. То, что было Киевским, они считают своим, будто ничего в мире не менялось. Вроде бы на одном и том же языке говорили тогда на Черной и Белой Руси и на Руси Московской, и вместе с тем это были разные языки...

И социальные верхи, и бояр, да и местичей тоже путало и то языковое соперничество, которое возникло в Великом княжестве Литовском едва ли не с первых лет его существования, — правда, еще не тогда, когда в нем поначалу государственным языком был древнерусский, а с того времени, когда заявил о себе старобелорусский, когда рядом с ним получал все более широкое бытование язык польский. Старобелорусский язык, возникнув как следствие новых исторических условий, как человеческий знак рождения еще одной народности, в силу своего естественного развития, обретения новой лексики, синтаксических конструкции — в связи с влиянием на него языков польского и литовского, — стал все более отдаляться от языка церковнославянского, от языка общерусской книжности бывшей Древней Руси. Но во времена Скорины языковые процессы оставались еще во взвешенном состоянии: все смешалось, окончательно не отстоялось, и это затрудняло задачи Скорины, что он особенно почувствовал, приехав в родной Полоцк.

Долго, однако, не было тебя здесь, Франтишек! А знал ли ты, о чем думал в тот момент польский король, когда горел твой родной город? А знал ли ты, о чем думал в тот момент великий московский князь, когда

полыхал твой родной город? А знал ли о мыслях Сулеймана Великолепного и о намерениях сыновей Менгли-Гирея, конница которых как раз и вытаптывала твой родной город?..

Если бы знал! Мир действительно начинался не при нем, при нем он только продолжался. Он мог продолжить то, что было, но мог чему-то и положить начало — ради продолжения. Продолжить, например, отцовское дело — торговлю шкурами. Продолжить изготовление конской сбруи — для бояр, для князей, или ковку мечей и кольчуг — для них же. Продолжить, молчаливо тем самым содействуя гарцеванию всадников с поднятыми над гривами коней мечами. Но именно этому он способствовать не мог и не желал. Тем более в родном городе — близком, родственном люду по ту сторону межи, прочерченной вовсе не по воле Скорины. Скорина же, напротив, ради преодоления той межи и взялся за новое, за неведомое — за печатание своих книг. Взялся ради преодоления порубежных споров, уходящих корнями еще к годам его детства, отрочества. Не король, не великий князь он, Скорина, а вот огромной важности задуму имеет: ведь это родному своему городу, как сын его, возжаждал он всей душой согласия, замирения, тишины-покоя, читая свою Полоцкую летопись, слушая своего отца Лукаша, осуждающего порубежные зацепки, слыша из уст материнских ласковое «Тиша», жадно вбирая в себя высокое, как семикупольная Софья, небо и открытым своим сердцем воспринимая надпись на фронтоне костела бернардинцев: «Arcus Caeli»^[116], помня, как всегда, и о словах, начертанных над входом в Краковскую академию: «Plus ratio ovam vis»^[117].

Как давно все, однако, было! И как отчетливо Скорина сейчас понимает, что *тогда* превозмочь беду было намного легче, нежели сегодня, теперь — после пожара, пролитой крови, безумия... Сегодня — трудней, неизмеримо трудней! Тяжело, однако нужно! Тяжело, однако иначе нельзя, как только искать и искать преодоления бедствий, насланных лихой судьбой, обидчивым попущением божьим!.. Огонь и кровь учат, но и пожарища — тоже. Пожарища, хоть они и лежали у ног Скорины уже только холодными обугленными головешками, пеплом, прахом, смешанными со слезами, но и они разжигали пламя чувств и мыслей. И говорил Скорина уже в первый день своего приезда из Вильны в Полоцк. Говорил с собой, говорил с братом своим Иваном, у которого в подклети-землянке обосновался на ночлег, ведя долгие — при свечах на столе — беседы. Молчаливость брата была сейчас как нельзя кстати, ободряли и внимательные, неотрывно глядящие на Скорину синие глаза Романки —

старшего братниного сына, хлопчика лет десяти-двенадцати.

Как бы ни знал человек свое время, в которое он живет, однако не все происходящее в этом времени известно ему, будь он хоть доктором, хоть даже дважды доктором. Не все знал о своем времени и Скорина, когда вел с братом долгие разговоры в его временном жилище-землянке или когда еще подольше в печальной задумчивости простаивал над пепелищем родного подворья. Ни отца, ни матери, ни родительского угла! Он уже при жизни своей не может войти во двор, который был двором его детства, переступить порог, который был порогом отчего дома, шагнуть в сумеречность материнского уюта, ощутить дух обжитого жилья, заволноваться. Что и как тут некогда было, где и какие лавки стояли, стол и столик, какое на сундуках малеванье красовалось, какая вьюшка в дымоходе торчала, какие кочерги возле шестка постаивали — все, все это сейчас в его памяти как невынутая заноза. Все это он сегодня, въяве, перед собою видит. А кто еще все это увидит, когда его самого на свете не станет? И именно потому на месте отчего домовья подкатывает ему сегодня к горлу терпкий комок. Но он об этом даже брату Ивану не говорит — зачем?..

Пепелище отцовского дома для Франтишека более, чем просто пепелище отцовского дома, поскольку видит он его и как бы в некоем зачарованном пространстве — меж двумя подвижными стенами: одна стена — утренняя заря или, может, зарница; другая стена вечерняя заря или, может, зарница. И обе огненные зари — стены, которые то как бы сходятся, то как бы расходятся. Какое ясновидение! Бревна огненные — не друг на друге лежат плашмя, как в стенах обычной хаты, разделенные куделистым зеленым мхом, а стоят в небе столбами — торчком. И те столбы время от времени как бы расступаются в стороны, и то одни всадники видятся Скорине в огненных проемах, то другие — слева, справа. О, как красиво! Белый конь — как библейский конь, и не из его ли, скорининской, Библии? Белый конь Погони знай себе косится то влево, то вправо, и как бы и с глазами коня Погони — взгляд налево, взгляд направо — сливается и взор Скорины.

И тут Скорина смекает: это ж на буланом степном скакуне — Мамай, на белом-белом — великий князь московский Дмитрий, который ведет свое войско на поле Куликово, к синему Дону, чтобы стать Дмитрием Донским^[118]. И красно-красно, радостно-радостно, празднично-празднично горит заревой Восток. Был бы ты, Восток, единственной стеной, к которой только и можно прислониться, прижаться, разве стал бы Полоцк тянуться, словно к брату, к Кракову, дабы и защититься от Севера — от Мальборка, от Кенигсберга, от Риги? Поле Куликово — поле Грюнвальда, разве не

одной дугою-радугою вы повязаны, и потягивала, силой полнясь, одна половина этой радуги-дуги животворную воду Дона, а другая — животворную влагу Вислы.

Если в небе семицветная радуга, взор человеческий испокон века радуется ей. Если в небе черные клубы дыма, красные космы огня, режет резью в глазах человека, застилаются слезами глаза человека. Как же кратко, однако, и скупое ты радовала Скорину, радуга! Как неумолимо, как грандиозно вставали по обе руки Скорины вновь и вновь огненными столбами стена восточная, стена западная, и грозно поколыхивалась та и другая, и словно приближалась та и другая, поскольку Скорине горячей и горячей становилось, и вот он как бы въяве уже слышит: копи храпят, мечи лязгают, треском гаковниц оглушают. А в огненном проеме стены восточной — обличье великого князя московского, а в огненном проеме стены западной — обличье короля краковского. И хотя обличья их — огненнощекие, и великий князь Иван III и король Казимир усмеваются...

Но о короле Казимире Франтишек с братом Иваном говорит очень мало: когда оно было! И Александр Ягеллон для них «когда оно было» — уже 14 лет минуло, как подсунул ему отраву Глинский. Хотя о короле Александре Иван Скоринич вспоминает довольно часто, как часто вспоминал этого короля когда-то и отец обоих Скориничей — Лукаш. Александр же замирения с Иваном, как счастья, жаждал, родную сестру Ивана III Елену в жены себе взял и сильно обижался, что шурина — великий князь московский — вроде и не шурина ему. И вспоминают часто братья Скориничи короля Александра еще и потому, что нет-нет да и сравнивают его с королем Жигимонтом — сравнивают то, что было при Александре, с тем, что делается теперь — при Жигимонте.

Жигимонта все тогда, как в самой Короне и Великом княжестве, так и в Полоцке, не считали правителем воинственным, не видели в нем удачника. Жигимонт на то время вон, едва ль не как Франциск, печатником стал, когда в позапрошлом году впервые налоговые универсалы отпечатал. И вот как раз о том, как из года в год растут налоги, перво-наперво говорят между собой Франтишек и Иван. В прошлом году эти налоги — и шос^[119], и чоповое — вдвое увеличились и, утвержденные сеймом, поровну легли на холопа и дедича — половина тому, половина другому. А нынче вообще исключительный налог ввели: с каждого взрослого жителя государства — поголовное! Имеешь свыше десяти лет от роду — значит, уже взрослый, значит, плати поголовное, поскольку начались королевские сборы на войну с крестоносцами!..

— А который уже год ордынщина?! — вздыхает брат Иван.

В этом же году и новый слух пошел по всему краю, что ожидается поправка законов Речи Посполитой — их *экзакуция*, то есть строгое исполнение. Зародился тот слух в Быдгоще, а слышен уже и в Полоцке с его шляхетскими требованиями сейма справедливости. Брат Иван никакой справедливости для своего положения от всего этого не ждет, потому что он давно уже видит, какую цель преследуют бояре полоцкие, да и вся шляхта: ограничить, побольше ограничить привилегии мещан, сколько можно противодействовать конкуренции мещан со шляхтой, которая познала уже вкус денег, сама торговать жаждет и никому в том деле споспешествовать не желает. Вон в прошлом году добились-таки шляхтюки, что местич-бургомистр судить их не будет, что бы кто из них ни натворил в Полоцке. Судьей у них, видишь ли, должен быть тоже только шляхтюк-староста!

Из подобных разговоров Франтишек все больше и больше понимал, что так ему необходимые пенязи и злотые у него просто из-под рук либо выгребает казна, либо перехватывает шляхта, либо уничтожают пожары. Перебирали братья в своих беседах чуть не все имена полоцкие — Глебовичей, Телиничей, Корсаковичей, Радковичей, Селяв. Что нового у них? По-прежнему над Уллой и Ушачей пасут их волов и коней. Но есть и перемены у них — понаделали себе запруд, понастроили мельниц, и вот рыбу они уже ловят, муку мелют. Но чтобы они, став мукомолами, да поддержали дело Франтишека, в это брат Иван не верит. Франтишек не исключал необходимости переговоров с каждым из них в отдельности, но самый первый визит он решил нанести полоцкому владыке, тем более, что о владыке Евфимии шла совсем не та слава, что ходила некогда по Полотчине о его предшественнике владыке Луке. Тот Лука и сына своего Андрея благословил на то, и сам только и смотрел, чтоб побольше земельных владений к рукам прибрать, закрепляя за собой усадьбы великокняжескими подтверждениями-привилегиями. Владыка Евфимий был другим — более гордым, нежели скупым. Он слишком долго не получал официального назначения, и это, по-видимо-му, разжигало его самолюбие. Так все было или иначе, но именно об одном скандале очень хорошо помнили в Полоцке, хотя и минуло с того времени уже десять лет. А скандал тот владыка Евфимий учинил на Виленском соборе, не будучи еще официально полоцким владыкой. Скандал разгорелся из спора, кому на соборе сидеть скамьей выше: ему, Евфимию, еще не Полоцкому владыке, или владыке Владимира Волынского архиепископу Владимирскому и Берестенскому Васьяну? И Евфимий тогда победил — сидел скамьею выше, нежели официально признанный Васьян. «Так неужели владыка

Евфимий и сейчас не захочет сесть выше, чем сидит?» — думал Скорина, идя к Евфимию — владыке Полоцкому.

Был июнь — самый песенный у птиц наддвинских месяц, самый лучистый месяц у солнца, самый буйнолистный месяц у дерева и буйнотравный у луга. Настроение июньских птиц и солнца, листьев и травы могло быть и настроением Франтишека, ведь шел Франтишек при всех своих отличиях — в докторской мантии, в ярко-красном берете, с перстнем широкоохватным на пальце, и посверкивал тот перстень на солнце, потому что руки Скорины были не в докторских, из телячьей кожи перчатках по локти, а держали, к груди прижимая, книги — Псалтырь, «Песнь песней», «Иисуса Сирахова», — оправленные уже здесь, в Полоцке, в подклети Ивана, в приметные отделкой кожаные обложки.

Скорина шел и не верил, что направляется в сторону той самой голубницы, где начиналась его жизнь, книжный опыт, любовь к письменам. И нес он в сторону той голубницы славу своей жизни, своего опыта, своей любви — первые на этой полоцкой земле печатные книги. Он шел мимо знакомого кирпичного крошева, где некогда вместе с друзьями-ровесниками находил необычные монеты с необычными зигзагами надписей и ликами неведомых ему царей и королей. Как жадно вглядывался он тогда в те незнакомые лики, что прошли вратами вечности, явились к нему из вечности, были перед его тогдашней босоногостью, детской растерянностью и жаждой непреходящего, самой это вечности. Сейчас же при нем были книги, его книги, и даже с его портретами.

Не все оборонительные башни города от прошлогоднего штурма потерпели одинаково. Меньше других досталось Красной — самой большой и красивой. Самое большое и красивое — так уж, видимо, предначертано ему судьбой — должно оставаться, обязано оставаться, ведь если ему не сохраняться, чему же тогда сохраняться?.. И, как прежде, над всем местом полоцким возвышалась Софея. Сердце Скорины перед этой бледнозаревою плинфовой незыблемостью затрепетало, а Софийка всеми высокими своими семью куполами безмолвствовала, лишь посверкивала золотом крестов на солнце ослепительнее даже самого солнца. Скорина шел медленно. Полы его мантии здесь, на просторном пригорке возле Софеи, принялся широко развеять, набегая из-за реки, ветер, и эти полы Франтишеку немного затрудняли поступь, хотя и могли они стороннему наблюдателю показаться даже расправленными для полета крылами. «Может, надо было взять с собой на встречу с владыкой брата Ивана?» — подумал Франтишек, подходя уже к палатам Евфимия, но что-нибудь переиначивать в своих намерениях было уже поздно. И Франтишек взялся

за дверное кольцо, чтоб постучать в хоромы владыки. Стучать довелось не раз и не два. Открывал дверь очень уж неторопливый в движениях и довольно пожилой монах, который, казалось, попросту не спешил впускать посетителя в покои. Монаха, казалось, нисколько не впечатлили ни докторское достоинство этого посетителя, ни его книги, ни то, что называл он себя полочанином. «Может, монах на мзду намекал, расспрашивая столь долго, что я и кто я?» — запоздало спохватился Франтишек, ожидая ушедшего монаха и жалея, что не вкинул ему в длинный рукав хотя бы грош. Монах наконец вернулся и, показалось Франтишеку, вроде уже приветливее прежнего попросил входить.

Владыка Евфимий принял Франтишека — для него совсем неожиданно — в роскошной своей трапезной, где пахло не столько ладаном, сколько недавно смакованными яствами. Владыка пребывал в погожем, можно даже сказать, добродушном настроении. Но добродушным в действительности владыка Полоцкий не был, и в этом Скорина убедился очень скоро. Как славного ученого мужа приветствовал Евфимий Скорину, хвалил его усердие и тружание, одобрял его заботу о пище духовной, на потребу души предназначенной, говорил, что слава его далеко слышна и что возносит она хвалу слову божьему и потому богу, может быть, и угодна, однако митрополиту Киевскому известна ли, еще неизвестно, и патриарху в Константинополе известна ли, тоже еще неизвестно, и будет ли книга печатная душевному спасению православных служить в той же мере, что и живую рукою книга переписанная, снова-таки еще неизвестно. А главное, что мудрость божья в ней простым языком изложена, а не всевышнему угодным, понятным священнослужителям и в Полоцке, и в Киеве, и в Вильне, Москве, Твери, Суздале, Турове, Львове... «А потому, — рассуждал владыка Евфимий — скажите, достославный ученый муж, кому нужны ваши книги «Иисус Сирахов» и «Песнь песней», чему научат они — разве купеческому говору?..» Спрашивая так, владыка Евфимий сверлил Скорину своими черными глазами зло и упрямо. А когда Франтишек попытался предложить ему напечатать «Кормчие» и «Требники» на языке, понятном духовенству во всех тех самых городах, которые только что угрюмо называл его преосвященство, владыка Евфимий часто-часто, словно что-то страшное отталкивая от своей груди, задвигал перед собой руками, и Скорине показалось, что это именно его владыка теснит своими торопливыми жестами в темный угол трапезной, чтоб не чувствовать сего богопротивного Духа.

— Бог воздаст! Бог воздаст! — выдыхал он раз за разом слова о воздаянии господнем. Но за что воздаст и что отдаст бог ему, Скорине, или

кому другому, этого в трапезной владыки Евфимия было не понять. И только одно было для Скорины совершенно ясным: архиепископ Евфимий ни пенязя не даст ему ни на те книги, которые нужно печатать, ни на те, которые уже напечатаны.

— Не для того владыка Лука угождая над Уллой и Ушачей скупал, чтоб владыка Евфимий их опять распродал, — только и сказал, выслушав Франтишека, брат Иван. — Земля, брате, — их пища, а не слово божье!

Легче от правды этой Франтишеку, однако, не стало. Непонимание, непонимание! А как прийти к взаимопониманию? Неужели он, Скорина, совершил ошибку, на языке обиходном, а не церковнославянском печатая свои книги в чешской Праге? Нет, ибо владыка Евфимий вон как задержался, когда он, Скорина, предложил ему начать и на церковнославянском языке книги печатать. Значит, причина здесь не только в языке. И, все еще видя перед собой конкретный облик владыки Евфимия, об ином — более общем и безликом — стал думать Скорина. И, как наивное дитя, не понимал, как же кто-то может не принять *новость*, если это *новость*?..

Назавтра все в Полоцке говорили, что сын Лукаша доктор Франтишек был у владыки Евфимия. Особенно горячо обсуждали этот факт в ратуше, в магистрате. Радчиков здесь по-прежнему насчитывалось 24 — половина православных, половина католиков. Католики выражали свое непонимание, почему Франтишек, будучи сам католиком, книги для православных печатает, а православные разделились: одни взяли сторону владыки Евфимия, другие — доктора Франтишека. Владыку поддерживало большинство, Франтишека — меньшинство, но это уже давало надежду: есть в Полоцке люди, понимающие новость! Конечно, поддержи Скорину кто-нибудь из Корсаковичей, или из Глебовичей, или из Селяв, он мог бы просто сказать о своей победе. Но родовитые полочане видели в докторе Франтишеке перво-наперво сына бывшего купца Лукаша Скорины и только потому уже отворачивались от него, а если и покупали Псалтырь для детей своих из рук его, то словно из рук проходимца. А вообще для Франтишека многое прояснилось в жизни полочан уже не его детства, когда побывал в голубнице...

Иеромонаха Анания он, к неожиданности своей, не узнал — так иеромонах постарел, усох и сгорбился. Не узнал иеромонах и бывшего Тишку Скоринича, которому, как всем его ровесникам, некогда наказывал:

— Книжки... воском от свечи не скапте, не изморайте, не зволожите!

Иеромонах Ананий принял Франтишека за чужеземца и, как поначалу казалось Франтишеку, заговаривался — то ли от бремени-тяжести

пережитых немалых лет, то ли от чего другого. Но заговаривался иеромонах Ананий не без упрямого нажима на одной и той же мысли: чужеземцы растаскивают по свету божьи дары Софеи, а он, Ананий, старается уберечь их.

— Я — на страже, ибо — лютую!.. — перехватил Ананий взгляд Скорины и сделал жест, которым словно имитировал удаление, исчезновение чего-то в пространстве; голосом же он продолжал:

— Всевышний карает, отнимая славу Софеи, ласку божью, красу небесную. Чужеземцы — жадные, латиняне — загребущие. Ты — чужеземец?..

— Я — Франтишек, сын Луки Скоринича, полочанин, доктор наук...

— Н-а-а... — протяжно заакал Ананий. — Чуже-зе-мец... Зачем же ты здесь?..

— Я — здешний. Вы еще учили меня по Псалтыри.

— Я?! — удивился Ананий, взглядывая на длиннополую мантию Скорины. — Бог свидетель: разные голоса я слышал, — продолжал он, — но чтобы такой голос слышать, — не привел господь!..

Вновь перекрестился, но стоял рядом с Франтишеком, не отходил в сторону, не оставлял его. О чем-то долго думал, вспоминал. В храме были только они вдвоем. Стояли перед «Премудростью божьей Софеи». Друг друга дыханье слышали, так как Франтишек не мог волноваться, а грудь Анания похрипывала старчески.

— Убо грешныя!.. — говорил Ананий. — Зде же часом в олтари людей посполитых, яко в купилищном дому бываеть...

И уже вовсе не о Софийке, а обо всей непотребщине, не однажды, видать, творившейся в здешних храмах на глазах у этого иеромонаха, с фанатически блестящим взором, торопясь, будто опасаясь, как бы слушатель не исчез, Ананий шептал:

— Внутри святого олтаря неции и мясо и сыры, и хлебы, и овощи всякое, и медовину, и воловину вносят, и животная скоть во священный храмы пуцають!

Ананий лихорадочно шептал:

— Все, кто у власти, — из Весничан, из Улицы, из Путилковичей, из Дольцев Малых и из Дольцев Больших — лишь бы себе куш посолидней урвать!.. Ежегодно оброком шесть недель служи, а еще от каждого дыма — пуд меду, шестнадцать четвертей — солоду ржаного, девятнадцать — овса, два воза — сена, пуд хмеля. Да владычице Софее каждый человек с пашни своей четвертый сноп отдает.

— Пришелец, — снова начинал Ананий, глядя в глаза Скорине. — Ты

— пришелец, иначе почему не слышишь голосов Дольцев — и Малых и Больших, — Путилковичей, Весничан? А? Если не слышишь этих голосов, то, может, голоса Селяв услышишь, наместника Станислава, Корсакевичей, Левона Телпнича? Хотя нет, Левона ты не услышишь, ибо, точно во сне, видит он уже себя боярином в собольих воротниках и синекафтанным полочанином возле бургомистров больше не трется! А вот как дети Селявы жалуются — и Богдан, и Иван, и Василь, что у них ни пенязей нет, ни сил, чтобы выставлять королю три, четыре, а Василию аж десять коней, это — ну же, напряги свой слух, заморский гость! — слышишь?..

Но и вновь Скорина ничего не услышал, он единственно видел перед собою в рассеянном дневном свете, заполняющем храм, старого монаха, который принимал его за чужеземца, за пришельца и настойчиво просил услышать нечто.

— В том и беда, что не слышим друг друга, — заключил Ананий и поднял руки высоко над собою. — Тогда, может быть, тех, кто громче других на площадях и в ратуше кричат, услышишь, — наконец предложил Ананий и, подражая кому-то хорошо знакомому, стал вскрикивать; Башты ни единой целой — ни шестиугольной, ни четырехугольной, ни круглой! Ни ручниц на стенах, ни затынных пицалей, ни гаковниц! А что если опять осада?! Мы — Корсаковичи, и наша отчинная городня между Себежской и Михайловскими башнями. Мы, Корсаковичи, последнего пенязя не пожалеем, дабы неприступным место Полоцкое оставалось! Корсаковичи — такие!..

Уже сгущались сумерки. В сумерках величественного Софийского храма Скорина все еще слышал голос иеромонаха Анания, которому, наверное, прежде всего и хотелось быть просто услышанным, тем более, что сей новый и молодой человек знает и голубницу в храме, и храм и наверняка ведь поймет, что если где и заговаривается он, Ананий, по старости своей, то потому только, что многое может сказать устами своими.

...Чтобы купец да денег не нашел, в это Франтишек Скорина — сын купца — поверить не мог! И однажды, после своего очередного посещения ратуши, Франтишек, по-мальчишески озоруя, принялся, точно по писаному, обрушивать на брата своего просто неудержимые потоки слов: «...Король польский Жигимонт I... Ивану Скориничу... Франтишеку Скориничу...» «Дали есмо им и то подтверждаем сим нашим листом вѣчно и непорушно им самим... з людьми путными, з их землями пашными и бортными и з распашы, з лесы, з дубровами, з балоты, с лозами, з сйножатями, з луги, и з озйры, и з рѣками, и з рйчками, с криницами, с потоки, з бобровыми гоны,

и с ставы, и с ставищи, и з млыны или их вымелками и ссажевками, и з ловы звериными и пташьими и рыбными и со всими входы тых людей и платы грошовыми и иншими податьми и доходы и вжитки...» Ну, почему тебе, Иване, король Жигимонт наш наидобрейший хоть одной такой жалованной бумаженции не дал, — почему? Вот пошел бы ты, как другие, да и обошел дарованные тебе, дорогой мой, угодыя «з дороги да в бродок, а з бродку да в болота, а из болота межею да в пруд, а из пруда межою да в дворщъный мох, а от того мху межою да в прорытую гору, а ис прорытое горы у-во мхи, а изо мхов да в Молинъце озерко, а из Молинца долинами да в чистый мох, а из чистого в заборский, от заборского в росеньский да через владычные дубы...»

Начитавшись у магистратского писаря в ратуше разных жалованных грамот, Франтишек так вот не без игривости дарил брату надежды на бог весть что, поскольку ни наследства для них ниоткуда не ожидалось, ни такого еще случая не было, чтоб король мещанину да от собственного куса пожаловал!

Впрочем, Франтишек и Иван Скориничи были купцами, и они хорошо знали, откуда и когда грош прикатиться может. Однако не всякий грош научил их еще отец приветствовать. И особенно омерзительным считал отец Лукаш пенязь ростовщический — долговой. Он говорил обычно:

— Я свои шкуры на собственной шкуре, на собственном горбу волоку и в руку беру честно заработанную выручку. А за что дерет три гроша, одолжив шляхтичу грош, ростовщик? Где справедливость? Где ваша шляхетность, шляхта?! — возмущался, бывало, отец Лукаш. — Нет! Ни один полоцкий купец не отдаст свой пенязь в рост! — восклицал он уверенно. — Ведь это же стыд и срам — незаработанный грош брать, вымогать. Ведь и мещанин, и купец тоже отличаются своей шляхетностью, а не только одни бояре! И почему это шляхетный шляхтич, когда у него нет наличных, тотчас забывает про свою шляхетность и бежит занимать к пейсатому ростовщику деньги!

И старший Иван, и младший Франтишек хорошо помнят, как радовался отец их Лукаш, когда король Александр всех ростовщиков из Великого княжества Литовского выгнал, как некогда Мономах из Киева. Выгнал, да, правда, ненадолго — вскорости вернул, так как самому понадобились деньги, а одолжить не у кого было. А уж как стал одалживать Жигимонт, то ничего подобного свет не видел! Не видели того, известное дело, воочию и ни Франтишек Скорина, ни брат его Иван, зато как отдавал свои долги король Жигимонт, об этом в Полоцке знал, пожалуй, каждый, кто имел хоть малейшее отношение к торговле. Знал и Иван Скорина. И

когда Франтишек начал свое веселое причитание в духе жалованных грамот, то Иван тут же вспомнил обласканного Жигимонтом Рабичковича. А что за жалованные королем грамоты были у Рабичковича, это в Полоцке тоже знал, пожалуй, каждый, кто состоял при торговле, да и те, кто не был при торговле, а просто проявлял хоть иногда охоту к меду или к пиву, тоже знали. Самих же этих грамот, полученных Рабичковичем от Жигимонта, Иван, конечно, не читал, хоть был обучен русской грамоте, а грамоты Рабичкович получил на языке тогдашнего полоцкого поспольства. Содержание их, однако, Иван знал, как знал и то, что за птица сам Рабичкович и откуда. А милость королевская к Рабичковичу была действительно чрезвычайнейшей: и шляхетство получил он от Жигимонта, будучи принятым в стариннейший род Лелива, и подскарбничим Великого княжества Литовского стал в конце концов. Был бы Франтишек подскарбничим Великого княжества Литовского — чего б тогда ему на свете не достало?! Владыка Евфимий, кто действительный владыка — ты или подскарбничий?..

— С тебя, Франтишек, вполне хватило бы, — заверяет брата Иван, — если б корчмы полоцкие, медовые и пивные, как на три годика Рабичковичу, продал тебе наш найдобрейший Жигимонт. Да если б полоцкие соляной и восковой склады, как некогда Рабичковичу, тебе в аренду на пару годочков Жигимонт отдал!..

Однако не отдаст король Франтишеку ни соляной, ни восковой в аренду склад, не продаст ему король ни одной — ни медовой, ни пивной — полоцкой корчмы, ведь должен-то король деньги Рабичковичу, а не Скорине. Ведь не Скорина же, а Рабичкович отмерил сукна и отсчитал пенязей вавельским служкам многочисленным — жолнерам Жигимонта, им нанятым. Сукно — жолнерам^[120], а королю — бархат да одамашек. И так на сукно, бархат и одамашек и все остальные королевские надобности взял Жигимонт ни много ни мало, а 5 тысяч коп, и 600 коп, и 30 коп и пятьдесят грошей. Было это, правда, уже довольно-таки давно — еще до королевы Боны. Однако ж и на позапрошлогодную встречу Боны тоже ведь не у Скорины занимал деньги Жигимонт, а вот-вот и еще займет, поскольку Бона ждет наследника. А потому и не до Литвы королю Жигимонту, не до виленцев пока что ему, не до полочан, хотя полочане тоже двойным королевским налогом на этот год обложены!

«А что если у какого-нибудь Рабичковича попросить денег на печатание книг?» — явилась как-то Франтишеку незатейливая мысль.

— Выгода Рабичковичу здесь какая? — только и спросил при этом Иван и добавил: — Не в корысти твое дело, а в радении!..

— В радении?.. — удивился даже Франтишек. Такого слова в Полоцке еще не было слышно. И слово это сильно понравилось подростку Роману — племяннику Франтишека.

— Радение, это же — хорошо, да? — спросил он у отца.

— Кому хорошо, сынок, а кому плохо, — неопределенно ответил старший брат Франтишека. А дядька Франтишек, улыбаясь и синими глазами и русыми усами, говорил:

— Хорошо это, Романка, хорошо!..

Хорошего здесь было, однако, мало, поскольку вот что произошло в один из последующих дней, когда Франтишек намерился посетить бернардинский костел.

...«Тут уж меня за чужеземца не примут», — думал Франтишек Скорина, идя с Пожарища в костел бернардинцев, на котором, Франтишек помнил еще с детства, красовались два слова — по-латыни: «Arcus Caeli». Да, это действительно так: некогда здесь, как будто в небо, поднимался он в чудное звучание, в таинственность и божественность, в трепетность латыни!.. И Франтишек не мог не быть благодарным учеником. Франтишек был благодарным учеником. Кроме того, и другие сантименты связаны у него с этим костелом, где молилась его мать. И вообще Франтишек помнил, как строился в Заполотье этот костел — к западу от довольно старинного княжеского замка, неподалеку от впадения Полоты в Двину, — деревянный, из смолистых бревен, от аромата которых аж дух перехватывало. Помнил Франтишек и какие волнения в Полоцке поднялись, когда огороды и клетки церкви святого Петра передали бернардинцам — это осуждал даже его отец. Помнит и как расширялись земельные владения бернардинского монастыря перед самым уже его уходом в Краков — за счет земель богатейшего полоцкого мещанина Тишки Ворушинича. А он, малец, когда-то думал, что на всем белом свете есть только один Тишка — он, Франтишек. И, когда узнал, что проживает в Полоцке такой богатый мещанин, как Тишка Ворушинич, поначалу даже искренне закручинился. Теперь о Тишке Ворушиниче в Полоцке мало кто вспоминал. Зато бернардинский костел с монастырем вот они — у всех на глазах, и процветают, как некогда усадьба Тишки Ворушинича.

И было еще то, чего Франтишек сам не помнил...

Если действительно купеческий сын Лукаш Скорина взял себе в жены дочь из католической семьи, то сам уже этот факт многое сегодня проясняет нам и в судьбе старших Скориничей и в их характерах. Родив супругу первого сына, уже из одной любви и уважения к своему Лукашу молодая жена купца Скорины могла назвать первенца согласно мужниной

православной традиции — Иваном.

Иное дело — младший сын. Он был моложе старшего едва ль не на добрый десяток лет. Иван умрет в 1529 году, и если он прожил хотя бы столько, сколько его брат, а именно 55 лет, то, значит, родился он где-то во второй половине 70-х годов XV столетия.

Мужчины средневековья нрава были крутого. Но, человек своего времени, Лукаш не мог не любить молодой жены своей, вовсе не взирая на различие вероисповеданий. Он вообще ведь был купцом, а для купца каждый человек — покупатель, и пусть он себе верит хоть в Перуна, хоть в дьявола, лишь бы только брал товар, лишь бы платил. И если исторической реальностью и впрямь был факт перехода православных и отца и матери Франтишека Скорины в католическую веру, притом одновременного их обращения, то на этот их выбор наверняка повлиял прежде всего купеческий дух Лукаша, его торговые сношения с католической Ригой, с ганзейскими купцами, с которыми, вполне могло показаться Лукашу, ему, уже как единоверцу, легче будет найти общий язык, а потому и торговля будет понаваристей.

Но вернемся в семью Лукаша Скорины, где предположительно он — православный, его жена — католичка.

Лукаш Скорина, как всякий купец, был в своем деле хватким, ушлым, разбитным. Тогдашнему купцу постоянно угрожал разбойник. Защищаясь от грабителей, купец и сам брал в руки нож, и тогда он мог уже не только обороняться, но и нападать. Как разбойники с ним, и сам он позволял себе порой обойтись со своим братом-купцом, поскольку брата в нем он менее всего видел, а больше воспринимал его как соперника, чьим добром при случае не грех и поживиться.

И, может, как раз-таки зная об этом купеческом промысле, и стала жена Лукаша Скорины мечтать о совсем иной для своего меньшого сына судьбе. И так же, наверное, потихоньку радовалась, что ее младшенький к грамоте потянулся, просиживает до поздней ночи над письменами. А стал он пропадать у бернардинцев, стал учить латынь, мать перед сыном чуть не благоговела, —дохнуть на него боялась, имя его почти молитвенно выговаривала, точно имя Франциска Ассизского: «Фраан-ти-шек!.. Ти... ша...»

Тихой, а не рискованной, спокойной, а не полной всяческих опасностей жизни, как у отца-купца, желала своему младшенькому сыну мать.

— Мама хочет, чтобы я, как Франциск Ассизский, раздал отцовы шкуры и пенязи нищим и побирушкой сделался? — спросил ее как-то

Тиша.

Этого мать не хотела. Иное дело — стигмы, как бы повторение на твоём теле ран Христовых — всех пятен: на обеих руках и ногах и на левом боку. Этот лучезарный, огненный след у первого из всех смертных проявился именно у Франциска Ассизского. Такого приобщения к мукам спасителя рода человеческого мать Франциска Полоцкого сыну своему всем сердцем желала. Тем более, что в святой своей наивности она знала, что Франциск Ассизский был тоже сыном купца. Так почему её сыну меньшенькому не суждено быть столь счастливо осенённым духом божьим?!

— Франциск Ассизский! — вздыхала молитвенно мать Франтишека Скорины. — Спаси сына моего от всяких худых знамений, спаси его и дай крепость и силу душе его, чтобы стал он похож на тебя, ибо я неспроста же ему имя твоё выбрала...

...При входе на костельный двор Франтишека узнали сразу: молодыми некогда приехали сюда из-за тридевять земель бернардинцы, моложавыми оставались они и сейчас, и только прибавилось в них самоуверенности, гонора. Тишку некогда любил главный среди бернардинцев, которого малец называл князем. Человеком он был уже тогда пожилым и более других отдал ему, Франтишеку, своей души и знаний. Поэтому на первые упреки сегодняшних моложавых хозяев бернардинского костела Франтишек почти не обращал внимания.

— *Vitae non scholae discimus!*^[121] — ответил, не задумываясь, на их колкое замечание, что, мол, разве это многомудрый отче и его, Скорину, и всех их учил тому, чем нынче он, Скорина, занят?

— *Vita non scholae discimus!..*

«Понимайте, как хотите... Учимся, чтобы жить, а не ради школы! Жизнь, а не школа учит!..» — так думал Скорина, не приглашённый с костельного двора хозяевами костела ни в его белое широкофасадное здание, ни в келью монастыря.

— Что, учёный муж сюда приехал почувствовать приязнь и расположение поспольства? *Aura popularis?*^[122] — спросила одна из бернардинских сутан, перехваченная поясом с блестящим крестом, заткнутым за этот пояс под правой рукой.

— *In commune bonum*^[123] прибыли... — не то спрашивала, не то утверждала вторая бернардинская сутана.

— *In spe?*^[124] — полюбопытствовала третья.

— *Ubi amici, ubi opes?*^[125] — подключилась четвертая.

— *Aurum recludit cuneta?*^[126] — уже с откровенной неприязнью целилась в сердце Франтишека пятая черная сутана с посверкивающим на солнце крестом, тоже заткнутым за пояс возле правой руки.

И, таким образом, все пять рук молодежавых бернардинцев оказались в одно мгновение на маковках сверкающих за поясами крестов.

— *Vade retro, satanas!*^[127] — этого бернардинцы Франтишеку еще не сказали, но сказать могли в любой момент, и Франтишек зашагал прочь с их костельного двора. Лучше бы он не знал латыни! Это не тех небес врата!

— Ха-ха-ха! — смеялся, аж за живот хватался брат Франтишека Иван, когда тот рассказывал ему о своем посещении бернардинского костела и как не получилось там у него подняться в небеса. — Знаешь латынь, то и хвала тебе! Свет с нею прошел, а не обжираться, как все они, за счет нашеньких. Прошел свет и вернулся, а куда вертаться им? Души как заплыли жиром, так из жиру и не выплывают. К черту ученые путы-диспуты! Лай пса не взлетит в небеса! Костел обирает, корчму покрывает — разве не так?! И, может, пора нам уже и в корчемку — нет?..

Не один Рабичкович держал в то время корчмы в Полоцке. Они были и у наместника полоцкого Станислава Глебовича, который жаловался при случае, что на Полоцком замке стало нечем поживиться, и у Михаила Скепьевского, и у мастеров и продавцов горелого вина и давних жителей Полоцка Торопчанина и братьев Пушкаревых. Ну, так к Миклошу Пушкареву или Степану Пушкареву идем? — вроде как заспорили братья Иван и Франтишек. На полдороге, однако, их остановили скоморохи.

Скоморохов в Полоцке уважали. И как бы косо ни смотрел на них владыка Евфимий, но согласно Магдебургскому праву и скоморохи считались ремесленниками места Полоцкого. Черным по белому в этом праве было записано: «Ремесники места Полоцкого — золотари и кушнеры, кравци, седлари, римари, ковали, слесары, шевци, сыромятники, кожемяки, гончари, пивовары, тесли, мурали, дряголи, столяри, то есть, скрипники и всякого ремесла, так же и скомороси...» И собирались по своим отдельным цехам ремесленники и челядники, и сходились тоже в своем конце скоморохи. И свечей на вечер, ночь, сколько нужно было и в соответствии с цеховым уставом, покупали, мастерами становясь, челядники и пива, опять же сколько нужно было согласно тому же уставу, восьмилитровымп бутылками-ахтелями несли, и бочки шонской, самой лучшей тогда, селедки прикатывали. А скоморохи всегда веселыми были и без пива, только бы ярмарка гомонила, только бы остановился один-другой зритель, и дудели тогда дудники, водили по кругу медведя медвежатники,

гусли настраивали гусяры...

Гусли и остановили Франтишека. Гусли переливисто звенели, перебираемые пальцами неспешно. Звуки были чистыми-чистыми — каждая струна как бы вздыхала и затихала, дабы так же отчетливо был слышен звук струны следующей. Гусяр, чтобы длинные седые волосы не слепили ему глаза, перехватил, как делал это некогда в чешской Праге, печатая свои книги, Скорина, лоб черной лентой, завязанной на затылке. Франтишек остановился перед ним, зачарованный звуками гуслей. Остановился рядом Иван. И кто-то еще подошел и остановился. И кто-то еще...

Боже! Как просто, обычно как: люди подходят, хотя никто их не зазывал. Люди слушают, как слушает и он. Слушают незнакомца. Как звать этого гусяра? Что за песню играет он?..

Нет! Он, Скорина, по-видимому, в чем-то все-таки ошибся, когда не с музыки начал. Псалтырь — гусли, гудьба. Так-то оно так. Но душой Псалтыри не услышишь, как слышишь эти гусли. Глаза — не уши. Глаза его еще должны узнать аз, буки, веди, чтобы аз, буки, веди зазвучали звуком, оживили уста, слились с голосом, с мелодией. Как же он этого не понимал с самого начала?!

А гусяр пел:

Не разливайся, мой тихий Дунай,
Не заливай зеленые луга,
Ходит там, бродит олень,
Ходит олень — золотые рога...

Золоторогий олень был далеко-далеко. Гусяр — близко. И верил Скорина, что олень — золоторогий. Олень не олень, однако рога и впрямь золотились на солнце, и потому как бы являлся взору олень-солнце. И вот уже человек-солнце не может без солнца-оленя, хотя он так нуждается и в просто золоте!..

Кто ты, гусяр? Скоморох, холоп?..

«А холопу и робе веры не пяти!» — хлестнуло вдруг по памяти. И отец говорил так, и старшин Иван, потому что в Магдебургском праве это записано. «Веры не пяти», а он верит! Почему? Скорина и сам не понимает. Да потому, видать, что не холоп этот гусяр, не раб, а, подобно ему, Скорине, человек поспольства: ведь он — скоморох полоцкий. И какое утешение души от него людям полоцким посполитым, — видишь, Скорина,

слышишь, Скорина?!

Скорина и видел и слышал. И оттого не веселей становилось ему, а печальней. А что за утешение полоцкому поспольству, думал он, от его гуслей — Псалтыри? Оно, полоцкое поспольство, Скорину так, как сам он музыку гусяра-скомороха, не принимает! Оно ведь не шибко покупает его Псалтырь — его гусли. И как ему, Франтишеку, обойти все концы города, все посады полоцкие, как побывать на всех вечеринках всех цехов ремесленных, где шумно беседуют мастера и челядники, где светлые свечи горят, веселое пиво пенится, бочки самой вкусной шонской селедки с выбитыми днищами по углам расставлены?!

Истинное горе! А он же, Скорина, еще не побывал на воскобойне, не поговорил с воскобаями! Он же не был еще в соляной конторе, не встречался там с солеварами! И на таможду он не заглядывал, а сколько мешков соли там промытили за это время, сколько камней воску! Не был он и в ратушной важне^[128], и в суконнице^[129], что там же — в ратуше, и в каморе пострпгальной, а еще хочет, чтобы люд посполитый в его сторону поглядывал, чтобы так зачитывался его Псалтырю, как заслушался он сейчас-песней гусяра.

Иван знать не знает, что за думы одолели его брата, который словно окаменел своими синими глазами перед гусяром. Иван зовет Франтишека в корчму — все равно или к Миклошу, или к Степану Пушкареву.

...Никогда еще так не звала Скорину дорога обратно в Вильну, как после встречи на рынке с гусяровыми гусями. Он подводил итог своему приезду сюда, в родной Полоцк, и приходил к нерадостному, но очевидному выводу, что город зачах, да как еще зачах после того, как не стало их отца (почему-то смерть отца казалась братьям первою причиною всех несчастий Полоцка). А Полоцк на то время действительно замер. В нем вообще тогда реже собирались ярмарки (даже трех уже не приходилось на год!); отошли в ту пору в тень старые полоцкие роды мещанские, а власть все больше брали в свои руки бояре да выскочки времен короля Александра — разные там Хиндрики. И хоть вроде бы расстроился тогда Полоцк с новыми аж четырьмя гостиными дворами, с новой баней и особенно с обновленной ратушей, уцелевшей после прошлогоднего пожара со всеми своими мелочными лавками, но за выходящими на площадь ратушными дверями — и Франтишек в том уже удостоверился — книг его мало кто ждал. Если бы не королевские поборы, если бы не ордынщина, если бы не бесконечные войны... Бесчисленные «если бы!», «если бы!», «если бы!» только и слышал Скорина повсюду. И сердце его защемило. Здесь, на родине, он, может, впервые почувствовал, что такое боль сердца.

Но двери, однако, на то и существуют, чтобы стучаться в них. Сколько городов в Великом княжестве? Не все же они горели. Не все брались штурмом. А есть еще усадьбы, дворцы, подворья — и не только городские, разбросанные по всему княжеству, действительно большому, широко разлегшемуся от волн балтийских до волн моря Черного. Нет! У него, Скорины, и время еще есть. Нет! Он, Скорина, будет стучаться во все двери края своего и земель, его сердцу подвластных. Уж такова, по-видимому, его планида!..

Но в мыслях своих о делах своих Франтишек все чаще и чаще выходил и на Ивановы заботы. Им с Иваном надобно быть вместе! И поэтому Франтишек начинает уговаривать Ивана перебраться в Вильну: вдвоем, сообщая они там и торговое отцовское ремесло возродят — Впльна все-таки есть Вильна; и воеводе Годунову туда с конницей доскакать труднее, чем сюда, в Полоцк; и Романке — сыну Иванову — там сподручней будет учиться. А главное — они будут вместе. Они так долго были в разлуке, что нельзя позволить чему-то разлучать их дальше!..

В Вильну из Полоцка Франциск возвращался с братом Иваном и всей его семьей и скарбом, в прошлом году от огня уцелевшим. Но перед тем в Полоцке пережил Франтишек еще одно приключение, которое он уж никак не предвидел.

...Кончался июнь, приближался и наступил день Купалья. Еще совсем недавно весь Полоцк в дозволенной ему трехверстной окрестности за городской стеной рубил березовые ветви, чтоб украсить ими ворота своих подворий, пороги своих домов, углы своих комнат. Была Троица-семуха. И охапки аира, оголив берега Полоты и Двины, тащили по своим дворам сорванцы, а на дровотне их отцы секли тот саблеподобный аир на мелкие кусочки, чтобы хозяйки в комнатах устилали им тщательно подметенные полы. А теперь весь Полоцк рвал васильки и крапиву: васильки рвали девчата, крапиву — хозяйки. Васильки — на венки. Крапиву — на зацветку в хлевах косяков дверных, на отпуг то ли ведьм, то ли оборотней. буде они сунутся в сегодняшнюю ночь волшебную к хлевам, чтоб сосать вымена коров. Волшебной той ночи ждали и парни полоцкие, нашептывая целый день что-то веселое своим молоденьким соседкам-красавицам, выискивая, где плохо лежит какое-нибудь старое деревянное колесо или пересохшая на июньских ветрах борона в лохматых узлах плетенья-связки.

Настали дни, когда купальские костры позвали и его, Скорину, и он поверить не мог, что их еще так много, костров Купалья, полыхает вокруг Полоцка в эту ночь. И он пошел на один из них, как некогда ходил в далекой юности, боясь, что иеромонах Ананий узнает о его ночном

хождении к язычникам и не даст более читать письмен. Анания он теперь не боялся, вольно шел, будто влекомый неодолимым соблазном, на яркое пламя костра и на высокий голос песни, слишком уж похожей на песню про золоторогого оленя.

И было на древнем капище за Полотою и сегодня, как в ту пору, когда здесь же, на этом самом месте, звали девчата весну, водили хоровод, вели коня за уздечку, а на коне сидела она — молодая, радостная избранница хоровода, которая всего лишь на день приехала из Вильны.

— Маргарита! — едва не выкрикнул он во весь голос. Но — коня не было, уздечки не было, единственно хоровод кружил и из него раз за разом выхватывали парни девчат, чтоб пропасть-затеряться в буйных травах, в разлапистом кустарнике, подальше от огня — в купальской тьме!..

«Может, и впрямь не нужна им Псалтырь, может, и впрямь они только выдают себя за христиан, а сами — огнепоклонники, водопоклонники, травопоклонники?» — одинокий на высоком старинном капище сидел и думал возле белой горячей золы костра за полночь в белой льняной рубахе, стянутой красным с кистями поясом, Скорина. Как давно, однако, не было у него на плечах такой свободной в плечах сорочки! Но могла бы их не сутулить и мантия, и тогда на парней, которые здесь только что умыкали девчаток, он уже не посматривал бы как на всего лишь возможных читателей своей Псалтыри. Но и в том уже его счастье, что они есть — парни в расшитых белых сорочках, и еще большим оно будет, когда станут они читателями его письмен.

Восхода купальского солнца Франтишек решил не ждать, хотя ночь купальская короткая — заря с зарею сходятся. Это все-таки было не его солнце — не мог он сказать ему: «Ave sol!», не поняло бы оно здесь, на высоком купальском берегу Двины, его певучей латыни. Пусть же выплывает здешнее солнце в эхо песен, которые он, Франтишек, только что слушал здесь! Эхо этих песен колыхало его сердце, и наверняка эхо этих песен примется уже без него, Скорины, раскачивать золотой обруч солнца, едва оно выкатится из-за горизонта на розовый небосклон. И будет играть то солнце, будет играть, как всегда ранним утром на Ивана: половинясь, расходясь полукружьями и вновь сливаясь в золотой обруч, как всегда ранним утром на Ивана! Не его солнце — солнце языческое...

3. «МАЛАЯ ПОДОРОЖНАЯ КНИЖКА»

И НЕМАЛЫЕ ВОКРУГ НЕЕ ХЛОПОТЫ

И слушали могутный, плечистый Якуб Бабич и кряжистый, приземистый Богдан Онков своего друга Франтишека Скорину, когда тот приехал из Полоцка в славное место Виленское и ни пенязя с собой не привез, а только брата и его семью, и диву давались, с чего бы это Франтишек словно помолодел, откуда у него веселость, энергия и еще больше риска в планах и рассуждениях. Вроде как и не сын купца! Вроде как поубавилось у них в подклетьях книг, привезенных из Праги! Наследство получил, королевскую привилегию?..

Ни наследства Скорина не получал, ни королевской привилегии.

— Музыка! — восклицал он. — Все начнем заново с музыки, с золоторогого оленя!..

Почему с музыки, почему с оленя, ни малоразговорчивый Бабич, ни красноречивый Онков не понимали.

— Да, с музыки и киновари, — принимался объяснять Скорина. — Акафисты нужно тиснуть-печатать, каноны, чтоб гусяры пели, хлопцы пели, девчата!

Какие гусяры и парни, какие девчата, Бабич с Онковым тоже не понимали.

— А киноварь, чтобы взор привлекала, яко огонь в ночи! И сейчас наш купец — тот купец, который в дороге. С богом провожает его в дорогу мать, жена, так пусть и божье слово возьмет он в дорогу на всякий день, на всякую минуту. И еще любит купец считать, любит высчитывать, подсчитывать. Так мы ему и пасхалию, а не только часослов, оттиснем-отпечатаем, и пусть он высчитывает, когда пасха, когда коляды, сам пускай, словно бог, высчитывает! И акафисты пускай любой наш купец поет в дороге — по «Малой подорожной книжке». Поет — по книжице в двенадцатую часть листа, в два раза меньшей, чем пражские наши книжечки, в двенадцатую часть листа, чтоб в кармане у купца легко вмещалась, чтоб не мешала ему в кармане — при езде, при ходьбе. Книжица — малая, расходы на нее — малые, а радость от нее купцу — большая!..

Так Якуб Бабич и Богдан Онков впервые услышали о «Малой подорожной книжке», услышали они все то, в чем Франтишек действительно их убедил, заразив их и своим энтузиазмом, и своей верой, хотя, наступая, Скорина-печатник теперь и отступал, ибо «Книжку» решено было печатать на старославянском. И все это ради коммерции? Не только из-за нее, но из-за инерции тоже, потому что читатель привык, не мог за века не привыкнуть к старому словенскому языку, который также был и языком белорусов, но только книжным. Живой, разговорный язык

средневековому белорусу казался если и не ниже, то, во всяком случае, менее таинственным и, главное, менее освященным традицией. Скорине же надо было идти к печатному станку, к себе идти и через лабиринты языковых обстоятельств. Утверждение печатной книги! Книжного разума! Нравственности! Выше эллина и иудея! Но утвердит ли он живой разговорный язык так же авторитетно, как утверждена уже в сознании его соотечественников церковнославянщина? Утвердит еще! Несомненно утвердит! И стал дом Якуба Бабича в славном месте Виленском поблизости от рынка на треугольной площади возле Кревских ворот новой типографией Франциска Скорины. И вместе с тем хлопоты у Скорины с «Малой подорожной книжкой» начались ничуть не меньшие, чем некогда с большими пражскими книгами, а может, еще и поболее. Потому что в Вильне труднее было с бумагой, потому что в Вильне еще не появились такие опытные граверы и челядники, какие были у Скорины в типографии Павла Северина в чешской Праге на Старом Мясте. Но работа шла словно по маслу, словно путь сам по себе скатертью стлался. А все потому, что Скорина трудился одержимо, брался буквально за любую работу, делал все, что ни придется: и готовил текст к печати, и набирал его, подгоняя шрифты и буквицы, растирая киноварь, чтоб тут же схватиться за винт печатного станка.

Он действительно работал напряженнейше, бешено, потому что оттиснуть-отпечатать в год столько, сколько страниц было оттиснуто-отпечатано в типографии Якуба Бабича в год 1522-й, — это не то что сделать, представить трудно. Акафисты и каноны вылетали как птицы из гнезда, и не о двух крылах — о восьми, о двенадцати: акафисты — о двенадцати, каноны — о восьми. Были, однако, акафисты и по 16 листов — посвященные апостолам Петру и Павлу, кресту господнему. Всего же акафистов и канонов было в 1522 году отпечатано 168 страниц, «Часослова» — 60, «Шестоднева» — 36, виленской «Псалтыри» — 140, послесловия ко всей «Малой подорожной книжке» — 23. В итоге — 427 страниц текста за один год! Скорина радовался: в Вильне дело идет не хуже, чем в Праге. Пой же акафисты, подымаясь, стоя, Русь! Радуйся, как радовался он, Франциск, когда печатал «Псалтырь», «Часослов», «Шестоднев» и все каноны двумя красками — не только будничной черной, но и праздничной — красной. А где у него красная краска, там у него и орнаментов вдосталь, и буквиц-инициалов вдосталь. Иллюстраций, правда, в акафистах и канонах мало — всего три. Той роскоши с иллюстрациями, что была у него в Праге, здесь, в Вильне, у Скорины нет. И это, конечно, огорчало. Но все же и радовался Франциск, что хотя бы и столько

орнаментов, буквиц, шрифта привез-таки он из Праги и смог наконец продолжить свое печатное дело...

«Так в дорогу, «Малая подорожная книжка», в добрый час!» — закончив печатать «Малую подорожную книжку», в один, понятно же, праздничный для себя и своих друзей день напутствовал ее Франтишек в доме Якуба. Бабича или, может, Богдана Онкова, вряд ли, видимо, подозревая, что этот его новый взлет как печатника начался и с высокого наддвинского капища с позапрошлогодним купальским костром.

— Гу-га, гу-га! — танцевал краковяк пан Твардовский, припевая с акцентом ошмянско-польским:

Не было пас,
Был ляс^[130],
Не будет пас,
Будет ляс!..

«Ну что ж, — не удивился Скорина, — разве не сам я оставил дражайших Прекрасных цветков тут, в Вильне, чтоб они сполна насладились и волей и своеволием. Теперь вот получи!»

И действительно, когда б ни переступил он порот в пивнушку, что по правую руку от рынка на треугольной площади ниже Кревских ворот, пан Твардовский тут как тут:

Пока пью, до тех пор живу!

И бокал мальвазии или алькермесовки мгновенно, как в бездонной прорве, исчезал и с удивленных глаз доктора Фауста, и с присохлых глиняных глаз Голема, и с ироничных по обыкновению глаз Станислава Станьчика. А тем временем грозный пан Твардовский уже возвышался над массивным дубовым столом пивнушки, как с дубовой долбней, с пригласительным бокалом в своих влажных от пота руках!

Доктор Фауст и Голем свободно сидели за дубовым столом пивнушки и не сутулились настороженно. Не то Станислав Станьчик: гордость не позволяла ему хотя б слегка дернуться онемелым левым плечиком, но, совсем не ожидая от пана Твардовского поблажки, он безотрывно держал свою кружку при губе.

Доктор Фауст второй уже год не веселился. Второй уже год он

печалился по своей Неметчине, потягивая редкими глотками не славный гданьский дубльбир^[131], а здешнее пиво и закусывая самой вкусной и нездешней шонской селедкой, приговаривая при этом: «Прекрасно! Прекрасно!..»

Пана Твардовского это нисколько не удовлетворяло, и он чуть ли не каждый вечер гремел своим басовитым голосом:

Чтоб мы живы были
И шляпами водку пили!..

Будучи сами обладателями недырявых шляп, по-прежнему с опаскою посматривали на покрасневшегося щеками и не только щеками пана великого мистра Твардовского и доктор Фауст, и Голем, и Станислав Стапчик. О, как же эту их очевидную предосторожность стал с какого-то момента ненавидеть пан Твардовский — и притопывая черным каблуком со шпорой серебряной, и запрокидывая голову, с которой чуть не падала четырехуголка с высоким павлиньим пером при ней, и выкрикивая:

Если гулять,
Значит, гулять,
Девку обнять,
Пояс отдать!.. (в залог)

Пояс пана Твардовского не был, понятно, ни докторской мантией Скорины, ни докторской мантией Фауста, разве что в поясах всегда имелись карманчики, а в карманчиках — пенязи. Поведение пана Твардовского не могло тут быть ни примером доктору Скорине, ни примером доктору Фаусту. Но, может статья, именно потому, что он ни в Скорине, ни в докторе Фаусте, ни в Големе и даже ни в отличающемся шляхетностью Станиславе Станьчике не обретал себе достойных последователей, пан Твардовский вскоре так разозлился, что однажды вечером во все тон же известной нам пивнушке безапелляционно заявил и всей компании Прекрасных цветков, и самому наиученейшему доктору и печатнику разных там «Малых подорожных книжиц» Франциску Скорине, что пора наконец им услышать его главнейшую тезу жизни. И тогда в пивнушке возле знаменитого Виленского рынка на треугольной площади прозвучало коротко, но во всей своей значимости и силе великое кредо

великого маэстро:

— Жизнь — не что иное, как игра! Игра, несчастные умники! Игра, университетские бедолаги! Игра, пиволоты и глиняные головы! Га? У великих мистров игра, известно, великая, а у посполитых заморышей — посполитая грызня! Главное — не приобрести и потомкам оставить, а все, что имеешь или заимеешь, промотать! Промотать жито, промотать холопа, промотать лес, Крез ты или не Крез!..

И всего, всего, казалось, мог ожидать от пана Твардовского такой всегда терпимый к нему доктор Франциск Скорина, но то, что он вслед за вышеприведенной тирадой пана Твардовского услышал, услышать он, по-видимому, никогда не предполагал. А пан Твардовский, войдя в попросту неслыханный раж, уже только в глаза одному пану Франтишеку глядя, без ножа резал:

— Да мы вашего брата мещанчика, купчика, посполитчика, — да мы его купим и продадим и денежки подсчитаем! И нам, король, чистый путь давай — по воде и по суше! И нас, шляхту, а не одних лишь купчишек от мыта избавь — по всему Великому княжеству, по всей не уступающей величию княжеству Короне! И тогда мы Францию житом засыплем, Англию лесом забросаем, а вы захиреете в своих Вильнах, Витебсках, Полоцках! Захиреют твои купчики, и — тысяча дьяволов! — никто из них книг твоих покупать не вздумает! Глебович купит?.. Умора!.. Корсаковичи?.. Умора!.. Епимахи? Хиндрики!.. Хи-хи-хи!.. Не купят ни Радзивиллы, ни Сапеги, ни разные там Гаштовты, что на польский манер в Гаштольдыв себя переименовывают! Да они свои золотом тканые пояса (ах, как жаль, что эти пояса будут называться слуцкими, а не ошмянскими, ведь все-таки, Панове, недаром вы заметили, что недаром я по-польски и волхвую и пою и не с каким-нибудь, а именно с ошмянским акцентом!), — так вот я и говорю, что эти пни Гаштовты не только на книгу, но и за красивейшую белорусочку не оставят своего золотом тканого, голубым васильком вышиванного пояса, которым свои брюхатые животы обкручивают, — не оставят, гу-га, гу-га!

Скорина думал, но думать ему назойливо мешали, как побрякушки, простенький припев, немудреная рифма: «был ляс», «будет ляс», «ляс — нас», «ляс — нас». Это было невыносимо!

Скорина думал. И все же, если человек долго думает, он, просто не может не додуматься до того, что его наконец перестает иритовать^[132], сглаживая, как бы заволакивая ряской то,, что иритовало. И постепенно «ляс» оборачивался для Скорины лесом, и не темным бесом, а светло-зеленым, как Беловежская пуца, через которую не раз он проходил,

проезжал: хоть высокая-высокая — сосны, дубы, грабы, березы до пятнадцати, а то и двадцати саженьей, но солнечный свет, пробиваясь к земле сквозь кроны деревьев, становится изумрудно-зеленым, ласково-светлым. И видит уже Скорина в том свете, на травянистой полянке, оленя — золотые рога. И светлеет синева скорининских глаз и от света Беловежья. и от золотых оленьих рогов, рождая в его душе новые мелодии — щемящие, однако новые...

Скорина думал...

— Над этим надобно подумать, — медленными глотками смакуя здешнее пиво и надолго задерживая свой взгляд на сидящем в задумчивости Франциске Скорине, выговаривая каждое слово и каждый звук по отдельности, конклюдовал^[133] и наизнаменительнейший доктор Фауст.

— Если бы я только мог своею глиняною головою думать, — искренне стал убиваться Голем.

— Мне, как шляхтичу, здесь даже стыдно думать, — промолвил Станьчик.

«Мозг не знает стыда», — не согласился со Стальником в душе своей Скорина, вслух ничего, однако, не сказал и только снова сам себе напомнил, что спокойная совесть — изобретение дьявола. На душе у Скорины спокойно быть не могло, когда чернокнижные силы вон как расходились. Но это были только цветочки, ведь ягодки, известно, не впереди цветочков, а за ними.

Вильна не Прага. Вильна все-таки для Франтишека Скорины — сердце родины, сердце Великого княжества Литовского. Прага хотя ему и очень дорога, но Прага — в стороне. В Праге он все же был далеко-далеко отсюда и в мечтах порывался в Вильну ежеминутно, стремился к ней как птица с юга по весне. И то, что он в сердце княжества, в сердце родины, он чувствует на каждом шагу. Франтишек не затворник в доме Якуба Бабича, в комнатах, отведенных под типографию. Не затворник, потому что через открытое окно доносятся голоса с их узенькой улочки, с рыночной гудящей площади, в которую улочка впадает не очень говорливым ручейком. Толпа там каждый день собирается многолюдная, ведь это Вильна, и жизнь в ней бурлит постоянно — разноцветная, как разноодетые жители города, разноязыкая, как пришлый люд, отовсюду стекающийся сюда в половицу^[134] Литовскую, в половицу Русскую, в половицу Немецкую... Кто не живет сегодня здесь, кого здесь не встретишь! Что литовца, жмудина, литвина-русича, да и поляка, еврея, татарина — эка невидаль! Но с той

поры, когда король Александр взял себе в жены Елену, сестру Ивана III, здесь много проживает москвитян. Прижились и армяне — с того времени, когда Казимир, поощряя торговлю, приглашал и евреев и армян. Есть и караимы, которых из Крыма теснят крымчаки-татары. Есть цыгане, которых короли всех западных стран Европы изгоняют, а Речь Посполитая не гонит, как и стригольников^[135], «жидовствующим»^[136], синодами москвитского духовенства караемых беспощадно.

Франтишек Скорина не скажет, что дом Якуба Бабича, его печатня в стенах этого дома — сердце Вильны, но что его сердце бьется в такт бурной виленской жизни, он готов утверждать со всей горячностью, потому что в своей типографии в доме Якуба Бабича он — в центре всего, что в городе для него происходит. То-се услышит он с рыночной площади сам, кое-что увидит, на ту же площадь выйдя, но основные вести приносит ему из ратуши Якуб Бабич — первейший бургомистр славного места Виленского, который едва ли не каждый день встречается с епископом виленским Яном, со многими панам радичиками, воеводами, ксендзами, наместниками, войтами. А события попросту захлестывают Вильну — идет ведь год 1522-й! Уже в самом начале этого года — в январе — король Жигимонт издал указ о введении общего кодекса законов, о котором давно и неглухо говорилось в Вильне, что он в великокняжеской канцелярии пишется. Первые слухи о нем зародились еще в ту пору, когда виленская великокняжеская канцелярия стала собирать по всем магнатским замкам и шляхетским усадьбам, по местам и местечкам разными королями разным панам и служилым людям в разное время данные грамоты, привилегии, указы и другие документы при печатях и не при печатях. В январском королевском вердикте признавалось, что закона-статута в Великом княжестве Литовском до сего не имелось, поскольку суды вершились на основе обычаев, королевских указов и согласно мудрости и совести самих судей. Скорина принять это королевское мнение не мог, потому что он знал о «Русской правде» Ярослава Мудрого^[137], знал историю и «Свиток права великого князя Ярослава Володимировича», который тогдашний его владыка полоцкий Лука как раз уже лет двадцать тому назад привозил королю Александру сюда, в Вильну. Традиция права была на Руси очень давней. И даже если «Свиток права» Луки действительно подделка оригинала «Русской правды», то и в этом случае он — подделка под живую традицию, поскольку не будь она живой, не возникла бы и сама подделка! Но главным для себя Скорина в январском вердикте отметил желание короля Жигимонта, чтоб одинаковая справедливость была установлена для

всех: для магнатов, шляхты, посполитства — ремесленников и мещан. Против такого законоположения не мог быть ни Скорина, ни Бабич, как ни вообще шляхта, ни вообще посполство всего Великого княжества Литовского.

Против выступили магнаты. Уравнять их в правах со шляхтой? Никогда! До сих пор они между собой грызлись, не верили один другому, перехватывали друг у друга земли, боры, дубравы, луга и ляды, отнимали друг у друга номинации, воеводства, наместничества, кастелянства и епископства. А тут — как замирились.

И в Городне проект не прошел. Магнаты — все: Радзивиллы, Сапега, Ильиничи, даже князь Константин Острожский — встали против проекта стеной. Жигимонт велел переработать проект и передать его на обсуждение очередному сейму — 1524 года. Этого сейма ждало Берестье, в котором он должен был собраться, но еще в большей мере Вильна. Здесь тогда строили два новых гостиных двора — Московский и Немецкий, и виленцы по обыкновению весьма интересовались тем, что строится, кем строится, как строится. На этот раз, однако, Московской и Немецкой гостиницам не повезло — Вильна вся глядела не в их сторону, а в сторону великокняжеской канцелярии и Берестья.

В Городню тем летом 1522-го Скорина подскакивал не только из интереса к делам сейма. Была на то и еще одна причина, более серьезная: Скорина вел под Город-ней переговоры с одним из тамошних помещиков о возможности открытия школы — поначалу лишь в одной из его усадеб, а затем и в других. Школа, по скоринскому замыслу, предназначалась не для монахов — будь то доминиканцев, бернардинцев или православных. Это должна быть его, доктора Скорины, школа. В ней и учить он станет сам, набрав себе детей и тех из взрослых, кого только можно будет, чтоб поскорее их самих назвать бакалаврами: и мечта его — учить своих воспитанников *по-светски!*

А вообще и в 1522 году — во время печатания «Малой подорожной книжки», как и в первый год по возвращении из Праги, как потом и в третий и в четвертый, — Скорина в самой Вильне, можно сказать, мало обретался. Он меньше ждал встреч, нежели сам их искал. Он — как человек-встреча. Вихрь, а не человек, хотя и солидный, доктор наук, ученейший муж, авторитет. Потому и берут его часто в свидетели: где договор написать, где куплю-продажу засвидетельствовать. И вот он то в Ошмянах, то в Креве, Городне, Берестье, а то и дальше — в Варшаве, Кракове, Дрездене. В гостиницах, на постоялых дворах книг почетных гостей нет, и в анналах истории дни Скорины — часы его остановок,

ночлега, столованья — не сохранятся, написанные золотыми буквами. Да не об этом беспокоится Скорина! Ведь он в дороге — с книгами, которые хотел бы продать. Зовут его в дорогу и больные. И, кстати, в Вильне слава у него — это прежде всего слава «опатрёного», то есть рассудительного и дальновидного в своей умудренности мужа, ученого лекаря, книги печатающего! Но каким бы «опатрёным» ни был он для стороннего человеческого глаза, в торговле книгами своими его словно преследовала вечная неудача. «Есть докторове...» — писал он когда-то в Праге. А скольких докторов он встретил на берегу полоцкой Двины? А когда еще станут докторами над Неманом те, школы для которых над Неманом он еще не заложил? И вообще, кто, когда и где покупал книгу, если она могла завтра сгореть, ведь зарева на ночных небосклонах не гасли, а призраки войны продолжали оставаться реальными, а не воображаемыми?..

Но было еще одно обстоятельство, в силу которого, если только ничто не приковывало Скорину к Вильне — ни великокняжеская канцелярия, ни печатный станок, ни лекарские или юридические дела, — всегда покидал он Вильну, словно устав здесь до полусмерти. Продолжал болеть Юрий Одверник, и Скорина, едва лишь вспоминал об этом, готов был ехать хоть на край света. Однако ж и чувствовал всем своим благородным сердцем, что никуда ему не убежать от греха, потому как думал он не столько про Одверника, сколько про Маргариту. А ведь еще у апостола Матфея сказано — Скорина знал: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Но грех это или не грех, что он думает про Маргариту? Если думает, то уже грех. Да и не дивчина же она, не запоет, как пела некогда на Малой Стране в Праге кареглазая дочь хозяина, у которого он квартировал:

Не ходи к нам, молодец,
Когда я тебя не зову,
Да я и калиточку
Лентами завяжу.

Он — не молодец. А Маргарита — разве ей до песен при мучительных страданиях Одверника? Но, как на грех, Франтишек по-молодецки нет-нет да и пропоет в душе своей строфу в ответ на строфу кареглазой дивчины с Малой Страны. Пропоет, потому что ведь как же не пропеть, не повторить в душе вот это:

Хоть завяжешь их, девонька,
Лентами голубыми,
Я их поразвязываю
Словом ласковым.

О да! Он развязал бы, если б мог, судьбу Маргариты словами добрыми. Разве ж не сам он в первых строках предисловия к своей «Псалтыри» писал, что «на всяко дѣло добро уготован»? Но если на дело, то и на слово! Слов добрых в его душе вон сколько! Но какие все-таки сложные узлы завязывает ему судьба и хватит или не хватит у него слов добрых, дабы развязать их? А главное, не сказать ему тех добрых слов Маргарите, не сказать!.. В Вильне все дома, даже в самой крайней Немецкой половине, стоят для него поблизости от подворья Юрия Одверника. Но только выедет он из Вильны, как постоялый двор уже за первым поворотом дороги кажется ему далеким от Вильны, как Багдад. Болел Одверник, и побеги Франтишека из Вильны в «Багдад» продолжались. «Для влюбленного любой Багдад — не даль», — говорили в средневековье, но для Франтишека и дом Якуба Бабича — за рыночной треугольной площадью — был далью Багдада, хотя до жилища Одверника от него рукой подать.

4. «АПОСТОЛ», ИЛИ ПОЧЕМУ НЕ БЫВАЕТ ПРОРОКОВ

В СВОИХ МОНАСТЫРЯХ

«Малая подорожная книжка» — это дорога: она в дороге с человеком, а человек в дороге с нею. Но где бывает больше человек: в дороге или дома? Купец, может, больше в дороге, да и то не всегда: в пургу или просто в сильный мороз лучше и ему не высовывать нос за ворота, ведь за мшистыми стенами подворья, законопаченными льняною паклею окнами и утепленными дверями, при дышащих жаром в жаровне углях и мигающей сальной свече куда уютней, нежели в дороге. А если ты не купец, а просто местич — мещанин, боярин, ремесленник, божий служка, то вообще ты больше дома, чем в дороге, и дом твой — твой дом, твой конец-улица, твой посад-половица, твой рынок с клетками и ятками^[138], где ты покупаешь хлеб и воловину, твой храм божий, куда ты ходишь молиться, — в общем, твое место, твой город. И если тебе не нужно в дорогу, ты и не шибко

поспешишь приобрести подорожную книжицу, хоть она и малая. Да не столько сейчас продажа книжицы Скорину и его друзей беспокоит. Не выходит из головы другое: дело их заглохнет, если их слово не дойдет до местичей — местичи и все, кто мог бы помочь книжице, останутся глухими и слепыми, не слыша о книгах, не видя их. А в конце концов опять и опять все упиралось в норовистый пенязь, который сам не лез в калиту, не падал манной с неба, не валялся на дороге. А он очень был нужен для продолжения дела, для продолжения начатого некогда в Праге Псалтырью и уже здесь, в Вильне, — «Малой подорожной книжкой». С малого все начинается — это знал Скорина, как и то, что малое не может удовлетворяться малым, не может не двигаться, не стремиться к большему, великому. Ведь если есть малое, должно быть и великое, и, отдавая предпочтение малому, человек это делает не потому, что он не жаждет великого: лучше, мол, синица в руке, чем журавль в небе. А если синица уже в руке, то почему теперь не следить глазами за журавлем в небе, почему не простирать к нему рук, почему словом не заклинать его слететь с недостижимого неба на достижимую землю? Впрочем, одного заклинания мало: чтоб на земле чего-то достичь, надобно действовать — среди этой окружающей духовной дремоты, спячки, среди забытой жажды душевного спасения, среди отринутых помыслов о чем-то большем, нежели сегодняшняя выгода, забота о рубашке своей, что к своему же телу ближе. И трижды нужно действовать, когда на твоих же глазах брат не любит брата, ближний — ближнего, не просто чинят друг другу то, чего себе самим век чинить не пожелали б, а кровь брат брата проливает, дом брат брата жжет, могилу брат брату копает. Полоцкое пожарище все еще дымится, жаром опекает сердце Франтишеку, хоть само пожарище затянулось уже, наверное, шестью слоями дерна, густо зарастающего по весне дятельником. Владыка Евфимий, полоцкие бояре... Сосчитать?.. Да все, все! И представители самых старых родов, и выскочки. Их лица знает, помнит Франтишек — лица, которые лишь отворачивались от него — сытые, довольные, иногда удивленные: «Да ты рехнулся со своими книгами? Стоило так далеко ездить, чтобы ни с чем вернуться! Один срам святой памяти старому Лукашу!..» Не однажды уже казалось Франтишеку, что он в немую, глухую стену упирается — стену бесконечную, словно кирпичные оборонительные валы магнатских и княжеских замков вдруг раскольцевались, разогнулись, вытянулись в эту одну прямую стену, даже перекрывающую, наверно, саму стену китайскую. От кого за той стеною прячутся? От него?.. От книг его?.. Не расступается, как в Сезам по велению чародея, а стоит хмуρο, неприступно?..

Неприступные стены штурмуют. Надо штурмовать. Штурмовать столь же дерзко, сколь равнодушна и глуха перед тобой стена. И Скорина будет ее штурмовать — один и не один, с друзьями. И перво-наперво с Якубом Бабичем он говорит об этом. Два года уже прошло, как оттиснули они «Малую подорожную книжку». За два года они сполна убедились в слепоте, окостенелости, казалось бы, своих, казалось бы, зорких людей. Но у Бабича есть пенязи. А есть они у Бабича, есть и у Скорины. Зачем же им чужие дукаты, когда у них есть свои — для поспольства. Так или иначе, но Библия, изданная в Праге, частично окупилась, «Малая подорожная книжка» хоть и небольшую, но прибыль дала. Теперь можно действовать и дальше, идти на риск, стучаться не в двери местичей и бояр, а в их души, и не рукой, а книгой, словом. Слово — бог! С богом, словом божьим неужто не достучатся они до всего поспольства, неужто не разрушат китайской стены безразличия к их делу?..

Встал вопрос, что теперь издавать? Если они истинные христиане, если их забота о душевном спасении и свете Фаворском, добродетели, христианской любви, согласии, то что ко всему этому человека может надежно поворотить, как не евангелия апостолов — Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Скорина больше любит эту часть Библии, потому что в ней больше солнца, больше человеколюбия, нежели в старом Моисеевом законе — жестоком, мрачноватом, в бесчисленных кровавых пятнах от коварства, казней, измен, войн. Но что необходимо сегодня им, Бабичу и Скорине, прежде всего: или душевное спасение по Христу, или духовное совершенствование их соотечественников по евангелиям от Матфея, Марка, Луки, Иоанна, или что-то еще? Если бы их соотечественники не были уже христианами, не знали писания по рукописным книгам, то, возможно, весы размышлений Бабича и Скорины в виленском доме Бабича вблизи треугольной рыночной площади и качнулись бы в пользу исповедальных частей Нового завета — откровений Матфея и других апостолов. Но соотечественники Бабича и Скорины — виленцы, полочане, вся Русь в пределах Великого княжества Литовского — уже достаточно знали апостольские евангелия: со времени крещения Руси пятый век минул. Но вот как раз-таки с этим своим знанием и Моисеевых заповедей, и наставлений апостолов Матфея, Луки, Марка, Иоанна виленцы и полочане, с которыми у Бабича и Скорины были как шапочные, так и нешапочные знакомства, оставались все еще инертными, с не оформившимся окончательно самосознанием, не утвердившимися в принадлежности к новому времени и новому народу. И потому не добродушно-увещательные части евангелия избрали Бабич и Скорина

для печатания — ни Матфей, ни Лука не виделись им героями, которых надобно поднимать на щит, хоть, казалось бы, Лука мог уже тем импонировать Скорине, что отец Скорины такое же имя носил — был, как тогда говорили, тезоименный с этим святым, как бы получил от него благословение в жизни. И еще все дело решало то, что Скорина и Бабич были людьми действия, поступка. В печатании книг заключалось их действие, и то, что они стремились пробудить души соотечественников книгами своими, тоже являлось действием. Люди действия должны были и восславить действие, обратиться к герою прежде всего наиболее деловитому, целеустремленному, одержимому. И потому их героем, которому должно подражать, стал не Матфей, не Лука, не Марк и не Иоанн, а апостол Павел и, следовательно, в поучение для других они взяли ту часть Нового завета, героем которой этот апостол был и где более всего посланий именно этого апостола — аж 14. Не два, как у апостола Петра, не одно, как у Иакова, а 14 — как знак чрезвычайной активности. И вообще книга про апостола Павла называлась не статично, как евангелия от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, а словно воплощала в себе само движение, порыв, пафос: «Деяния»! Миссионерство! Именно миссионерами и чувствовали себя в это время Скорина, Бабич, целиком жертвуя себя делу — самому для них высокому, неустанно пробуждая новый дух, в котором они видели теперь главный смысл «добра посполитого».

«Деяния» были для Скорины и Бабича книгой Надежды. Надежды, что эту их книгу поймет не только полоцкое посольство, но и кое-кто выше, что с нею начнется настоящее их единение книгой, «русчизной», божьим словом Руси на Литве, в Великом княжестве Литовском и всей православной Руси. К порогам сильных мира сего они не сумели пробиться, но их книга пробьется и ступит в замковые палаты. И когда окажут помощь их книге, их делу сильные мира сего, то это и будет та победа их самих, их книги, их дела, которой они ждут. А что, может статься, они и сейчас обманываются, в то ни Скорина не хочет верить, ни Бабич, потому что они знают содержание «Апостола», потому что содержание «Апостола» такое, которое говорит: «Или... или...» Так неужто не на сторону слова Белой Руси, не на сторону посольства Белой Руси станут те, кто еще не стал, кто колеблется в нерешительности, как на распутье? «Станут! Быть такого не может!» — уверены Скорина и Бабич, как верят они, и особенно Скорина, что их объединение посольства станет не чем иным, как живым воплощением — наконец-то! — раннехристианского идеала братства людей, коллективизма и деловитости. Мополит посольства — это прежде всего. И они вроде бы на подступе к

нему, к нему вроде бы рукой подать. А следующий шаг — к сильным мира сего. Ведь разве они не христиане, разве не их соотечественники?!

...Где впервые христиане стали называть себя христианами? В Антиохии. Не минул Антиохии апостол Павел, как и Иконии, Дервии, Лпстры, Писидии, Памфлии, Пергии, Атгалии. Прошел он Финикию и Самарию, Сирию и Киликию, Фригию и Галатийскую страну, Кипр и Македонию. Был он в Мисии и Вифинии, в Троаде и Самофракии, Амфиоподе и Аполлонии, Афинах и Коринфе, и, наконец, в Риме. Шел апостол Павел пешком, в кровь сбивая ноги, плыл морем, и бури разбивали корабли, на которые он садился, и он чудом спасался из морской пучины, как и из темниц, куда его бросали не однажды, как и из городов, где его не однажды побивали камнями, не однажды спускали с городских стен в корзинах из-под винограда или в плетенных из виноградной лозы колыбелях. Библия есть Библия: в ней очевидно прославление чудес, которые вроде бы творил святой Павел или бог с небес, опекая своего пророка, когда каменные стены острогов перед ним расступались, стражники спали все глухим сном, а он выходил из очередного заточения без единой царапинки на лице. Однако не чудесами поражать полочан и виленцев было в замысле Скорины, когда он брался за печатание «Апостола», как чаще всего библейскую книгу «Деяний святых апостолов» называли. Уже говорилось, что Скорина не столько апостольство выпячивал, сколько проповедовал поступок, действие, прославлял активность, учил одержимости в служении идее, пробуждал беспокойство и деятельность среди аморфных и бездеятельных — деятельность вплоть до самопожертвования, пример которой как раз и давал апостол Павел, когда говорил: «Да я ни на что не оглядываюсь и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью окончить путь свой и служение...» Каждый, пожалуй, хотел бы окончить жизнь свою в Полоцке и здесь, в Вильне, в достойном служении, которое начал он, Франциск, в Праге, которое он, Франтишек, здесь, в Вильне, с Бабичем, с Онковым, с Одверником продолжают! Каждый? А где тот каждый в Вильне, в Полоцке? И готов Скорина, подобно апостолу Павлу, повторить пророка Исайю с его словами: «Пойди и скажи народу этому: слухом услышите, и не уразумеете; и очами смотреть будете и не увидите». Ведь и впрямь: разве Полоцк и Вильна не слышали про его пражскую Библию, про «Малую подорожную книжку»? Не видели их? Но вот же многие, видево, как не видели и, слышав, как не слышат. И соглашается Скорина со словами того же Исайи: «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем», — соглашается с

этими словами Скорина, соглашаются с ними его друзья Бабич и Онков. Они не могут не согласиться с ними уже по той простой причине, что не сомневаются в пользе своих деяний, своего дела. Они знают, что сомневающийся подобен морской волне, которую ветер поднимает и развеивает. Их объединяет с «Апостолом» общая мудрость, только уже не из «Деяний апостолов», а из послания патриарха Иакова, в самом начале которого тоже как будто бы формулой их поведения звучит установочная мысль: «...испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие...»

Терпение — действие? Да, терпение — действие, ибо нужно претерпеть время глухоты и слепоты, вытерпеть его без сомнений и в надежде, что тому, кто стучится, открывают, что тот, кого будят, пробудится, кого зовут, отзовется, кого направляют, направится. И, печатая соборные послания Иакова, Петра, Иоанна и особенно все четырнадцать посланий Павла, Скорина, несомненно, понимал их как слова-призывы, слова-обращения Павла и Петра, словно дядек из Вильны или Полоцка, к люду посполитому Вильны и Полоцка, к сильным мира сего. С призывами, упреками, уговорами апостолов как бы сливал свой голос неапостол Скорина.

Он — доктор, это значит — учитель. Так же с латыни и переводится на его родной язык слово «доктор». Вот он, учитель, и учит, а про служение люду посполитому — люду посполитому на пользу и славу, он писал уже вон как давно — на Старом Мясте в чешской Праге!..

И он, Скорина, учит. Может, лучше сказать, не столько учит, сколько, подобно апостолу Петру, «побуждает напоминанием» тех, для кого печатает новую свою книгу «Апостол». Побуждает, как Петр; увещевает, как в своем послании апостол Иуда; свои пожелания высказывает, как Павел, и так же умоляет о жертве — живой, святой — для разумного служения тому самому делу, которому привержен он. И, словами апостола Павла, Скорина готов поучать: «Отдавайте всякому должное: кому подать — подать; кому оброк — оброк; кому страх — страх; кому честь — честь». Честь отдавайте, само собою — докторам, учителям, честь книге, мудрости, мудрецам, книжникам.

О, если бы это он с площадей вечевых Полоцка, Вильны, Витебска, Турова, Берестья читал во весь голос — вещал как Иаков: «Послушайте, братья мои возлюбленные!»; призывал как Петр: «Прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в

братолюбии любовь». Любовь и между людьми подразумевает Скорина, и между народами, все еще мира не ведающими, и любовь к этой вот книге, которую он сам печатает, к этому люду посполитому, для которого печатает, к языку, на котором печатает, к письменам-буквам, которыми слова оттискивает. И главное — он, Скорина, вызывает на свет ту любовь, с которой начинается деятельность, приносящая плоды, успех. Ведь недаром же у апостолов писалось об этом, и, если бы читал он вслух, ой как бы он подчеркивал своим высоким голосом, что если пробудились и бурлят в ваших сердцах добродетель, рассудительность, братолюбие, любовь, что если есть и умножаются они, то вы непременно вкусите успеха, пожнете плоды, а если нет у вас всего этого, тогда вы слепые. Потому, братья, больше и больше усилия, дабы сделать твердыми ваше намерение, ваше решение, ваш выбор. Намерения, решения, выбора, известно же, какого ждет от люда посполитого и сильных мира сего Скорина, как и Бабич, как и Онков, — намерения поддерживать их дело, книгу, идею братолюбия и замирения всей Руси посредством слова, — решения только такого, выбора только такого! Он, Скорина, — апостол, пророк? Да, только из провозвестников самых новых. Мы сегодня говорим: из апостолов Ренессанса; он же только еще осознавал, что из новых...

Если б Скорина и впрямь на вечевой площади все, что мог проповедовать, проповедовал, со всей вечевой площадью, со всем городом, со всей округой думами своими вслух делился! Но пока что все это писалось, печаталось в полумраке бабичского дворика. Слова пока что ложились на листы местной бумаги. И стопки этих листов росли и росли, только что из-под печатного пресса вынутых, только что сшитых. Молчали стопки листов, молчал над ними и Скорина. Работа шла молча. Молча словами библейских пророков заклинал виленцев Скорина; молча словами тех же пророков умолял их, как новорожденных младенцев, возлюбить чистое слов молоко, стать живыми камнями, чтобы домом духовным себя возносить под небом. И в том заклинании, в той мольбе слышался не только ласковый, приглашающий тон. Временами просто гневным водопадом, а то и огненным вулканом обрушивал, низвергал Скорина на головы тех же виленцев и полочан слова самого безысходного отчаяния: «Нет понимающего; никто не ищет бога; все совратилось с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного... Гортань их — открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их... Уста их полны злословия и горечи; ноги их быстры на пролитие крови; разрушение и пагуба на путях их; они не знают пути мира». И будь это не так, Скорина был бы спокоен.

Но тут Скорина мог соглашаться и с патриархом Иаковом, что весь мир лежит во зле. А где истина, правда, справедливость? Где любовь? Апостол Павел за ним повторяет или он, Скорина, за апостолом Павлом повторяет, вопрошая: «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего?» Скорина, конечно же, ищет мудреца, книжника, совопросника своего столетия, своего времени. «Не обратил ли бог мудрость мира сего в безумие?» Это была у апостола Павла цитата из Исаии. Приводил ее, оглядываясь вокруг себя в своем XVI столетии, и Скорина, также затрудняясь ответить, не одно ли и то же мудрость и безумие. И видел он над собой, над Великим княжеством Литовским, королевством Польским, Московской Русью, империей турок, — видел их властителей. И вновь задавал себе Скорина, как на полоцком Пожарище, вопрос: обладатели мудрости державной, вы и вправду обладатели мудрости державной?

Но рядом со Скориной были не властители. Рядом с ним был посполитый люд, были бояре, владыки, епископы. И разве ж нет у тебя и к ним слова, апостол Павел, призывающего их говорить единое, чтоб не разделялись они больше, а все обнаружили общность духа и мыслей? Ведь на то же оно и слово, чтобы всякой мыслью, всяким познанием дух обогащать. Вот в чем надежда. Кто пашет, должен пахать с надеждой, кто молотит, должен молотить с надеждой. И вновь Скорина мыслит мыслью апостола Павла, и вновь его словами переубеждает Бабича, Онкова, когда тех начинает одолевать сомнение. А чтоб его уверенность сполна передалась друзьям, Скорина открывает «Апостола» и вновь же читает послание Павла к коринфянам, которое вновь же звучит и как послание виленцам и непосредственно Бабичу и Онкову: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем». Первою верой Скорины было то, что не покинут он и его друзья богом, но горела в нем и неукротимая, бурлила, как лава в вулкане, жажда быть не оставленным поспльством, не отринутым успехом, удачей и, наконец, победой. О, если бы это осуществилось, произошло, отбросив в сторону всякую злобу, зависть, всякое коварство, криводушие, всякое лихоречие!.. Мы ждем, ждем, говоря словами апостола Петра, нового неба и новой земли, на которых живет правда, ждем под своими старыми небесами, на своих древних землях Впльны, Полоцка, Витебска, Турова, Менеска, Берестья!..

Но мысли Скорины вновь и вновь возвращаются к тому, что разделяло и разделяет, отгораживало и отгораживает человека от человека, город от города, землю от земли. И Скорина здесь как бы приглашает читать

послание Иоанна о *них*. *Мы и они* — вот еще одна формула проклятых перегородок, ненавистного итога:

«Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши».

О, «Апостол»! Ты — надежда Скорины, ведь неужели, прочитав это, можно по-прежнему оставаться глухим, слепым, немым?! Нашенский неужели станет ненашенским? Неужели не почувствует зова предков, крови, слова, в котором родился и с которым отправился в мир?!

Скорина знает много, Скорина знает историю. Кто-кто, а уж он-то знает, как обретали владычество сегодняшние магнаты, как писарь Сапезка становился Сапегой, потомки Тышки — Тышкевичами, Ходки — Ходкевичами; а от какого-нибудь Федка начинались родословные князей Вишневецких, Збаражских, Порицких, Воронежских... Неужели они согласятся с притчей того же Осип: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную — возлюбленную»?

Это счастье Скорины, что здесь, в Вильне, рядом с ним Бабиц, Онков, и в деле его ему неведомо одиночество. Слава богу; неведомо. Долой пророчество: «Остался я один, и моей души ищут». Не ищут. Не один я. И не трое уже нас. и не четверо — больше! Трудимся! Побуждаем! Печатаем «Апостол»! Для добра посполитого, которого жаждем, добиваемся. И ежели бог за нас, то кто супротив нас?! Мы благодарны богу, что он избрал нас, вразумил нас, дело нам в руки вручив, слову печатному научив. А неблагодарных богу обесчестим, сердца их помраченные наполним из огромной чаши слова отчизненного. Слово — бог! Скорина согласен с тобой, апостол Иоанн. Слово — бог, ибо слово есть мудрость изреченная, справедливость, свет, божье деяние, начало согласия и мира под небесами!..

Скорина не был бы Скориной, не возьми он сейчас для печатания «Апостол». Скорина не был бы Скориной, если бы, как мечом, не ударял в сердца соотечественников и современников словами, которые сегодня называют ключевыми. И это, право, одно наслаждение — взглянуть сегодня на чудо ключевого слова в «Апостоле»: народ, вера, добро, целомудрие, любовь, старание, истина, слово, надежда, закон, опыт, дух, дело, учение, учитель, мудрец, книжник! И как бы только с большой буквы приглашают себя писать сегодня эти ключевые слова «Апостола» — только с большой. Ведь они — смысл того, что проповедовал Скорина; ведь они — высокие имена того, к чему стремил он взор и душу своих читателей; ведь они — первичные для Скорины понятия души человеческой как света Фаворского, как святости, евангелия, откровения. А в эмоциях, которые Скорина в «Апостоле» обнаруживает и тоже в радении своем акцентирует,

преобладало то, что несло в себе отрицание — с частицей «не»: «не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих»; «ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал»; «не для гнусной корысти, но из усердия» дело свое делаем; «никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя»; «быть служителями... не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворим». И общий вывод, который делал Скорина по напечатании «Апостола», был один: «Итак, каждый должен разуметь нас...» С этих слов начинался четвертый раздел первого послания Павла к коринфянам, и в этих же словах нашла самое точное выражение новая надежда Скорины и его друзей на успех великого их дела. А бескорыстие и усердие становились теперь не только девизом на некоем перевале, конкретном этапе его жизни, но и одной из главных формул всей жизни его вообще. Отчего она, эта формула, пошла, от кого? Что от апостола Павла, понятно. Но прежде всего от самого дела, которому всей душой отдался Скорина.

И как только «Апостол» был им напечатан и тяжелый фолиант первой переплетенной уже книги — в свежем, поблескивающем окладе — лег на стол в светлице Вабича, радостный Скорина, обращаясь не то к хозяину светлицы, не то вообще ко всей Вильне и ко всему Великому княжеству Литовскому, с торжеством промолвил, как бы повторяя вслед за апостолом: «Так пусть же, пока жив род человеческий, гнусным будет гнусное! Слава дерзновенности, одержимости, усердию!..»

— Несчастные! Несчастные! — точно плачя-вопленица голосил, забыв, что голошение — бабье дело, славный мистр чернокнижия пан Твардовский. — Тысяча дьяволов, — продолжал он, — да поймите вы наконец, что и тот, кто не гуляет и не пьет, лишь здоровеньким помрет! Несчастные! В ясырь, петлей сдавив, утащит вас Сулейман Великолепный, и вы не Роксолана, чтоб его женой любимой стать! Или отхватит вам голову какой-нибудь новый Михаил Глинский! Или пощекочет шейку палач Жигимонта, если улыбнетесь великому князю московитов! Не снимете шапки перед Радзивиллом, не будет на что руке вашей надевать ту шапку! Услужите Гаштольду, собак на вас натравит Радзивилл, а услужите Радзивиллу, и бороду вам и усы выдерет Гаштольд! Это ж прямой конец света, а они гулять не хотят — несчастные!

Несчастные молчали. И пан Твардовский уже совсем лихорадочно искал, бросаясь во все стороны своим ярким пером, как же ему поглубже, побольнее достать молчунов. Хотя попробуй достань их, когда уже вечность, как доктор Фауст душу свою Мефистофелю продал, а рабби Лем,

напротив, Голему душу молитвами не вымолил. Да и не такой человек был пан Твардовский, чтобы сдаться, не доняв этих молчунов, и он всецело взял на прицел Скорину, душа у которого имелась.

— Молчите, потому что умствуете?! Омудряетесь. тысяча дьяволов! Мудрецы мне нашлись, точно до вас их не было! Но с чем приходили, с тем и уходили. Схоласты несчастные! Сочиняют разные «Предисловия», живьем переписывая тексты из Ветхого завета, из Нового, надергивая, как ботвы из грядок, цитат из Григория и Василия Великих, Иеронима и Августина блаженных, Герасима и Феодосия святых, Исаака и Ефрема Сириных, думая, что уже и сами с усами — великие, блаженные, святые, Сирины. Как бы не так!

Намек был прозрачным, но Франтишек на этот раз лишь слегка усмехнулся в свои пышно-светлые, как спелый. овес, усы. Благодушие Франтишека только подстегнуло пана Твардовского:

— Будто неправда?! — Тромыхнул он. — Для чернокнижников книги белокнижников — не секрет. Непосредственно текст Библии цитируете? Цитируете! Смысл чужих предисловий в своих предисловиях повторяете? Повторяете! Да вы попросту занимаетесь перефразировкой, схоласты несчастные!

Скорине, конечно, здесь нечем было крыть. Ибо что правда, то правда: его мудрость была и в широкой начитанности, и в открытом цитировании в своих текстах текстов своих единомышленников, причем не обязательно со ссылками на них. Не всегда он также указывал, с какого места и текст какого апостола брался, переписывался и становился уже его текстом, с несколько, может быть, измененными фразами, а то и вовсе сохраненными слово в слово. Скорина так действительно делал, но тогда это было общепринятой традицией, и то, что Скорина следовал ей, конечно же, не превращало его автоматически в схоласта. И потому Скорина и не подумал отбиваться от заседающего пана Твардовского, одновременно уже не слегка и как бы приглашенно усмехаясь, а куда откровеннее. Это уж пана Твардовского совсем заело, и вот, принимая позу едва ли не вроцлавского прокурора, он стал загибать пальцы поначалу на правой руке:

— Во-первых!.. «Да совершен будет человек божий, и на всякое дело добро уготован». Откуда это? Из предисловия Францискуса и из второго послания Павла Тимофею — глава 3, строка 17!..

Второе!.. «В ней воистину ест дух разумности святой, единый, различный, смысленый, скромный, вымовный, движющийся, непоквер ценный, истинный, сладкий, чистый, стальной, добротливый и всякую иную имеющий в себе добрую цноту». Откуда это? Из предисловия Францискуса

и из премудрости Соломона — глава 7, строки 22—23!..

Третье!.. «Возлюбиши ближнего своего яко сам себе». Предисловие Франциска и евангелие от Матфея — глава 22, строка 39.

Четвертое!.. «Се еще мало, и порушу небо и землю, и море, и сушу, и погну всеми народы, и придет чааный всем языком». Предисловие Франциска и книга пророка Аггея — глава 2, строки 6—7.

Эффект был неожиданным. Сам пан Твардовский уже едва ль не собирался разуваться, поскольку аж на двадцать шесть загибаний пальцев набрал он таких примеров, но уже на четвертом цитировании молчаливая тишина, до сих пор царившая в пивнушке, вдруг оборвалась возгласом: «Лада!..» Возгласы особенно усилились, когда пан Твардовский дошел до слов «И порушу небо и землю, и море, и сушу, и погну всеми народы...».

Скамья, на которой сидел Скорина, вмиг превратилась из скамьи подсудимого в незримое кресло триумфатора, потому что ведь возгласом «Лада!» приветствовали в Полоцке победителей. Знал об этом и пан Твардовский. Скорина — победитель? Но кто же тогда здесь он — пан Твардовский?!

— Несчастные! Победители?! Порушите небо и землю, море и сушу?! Не с вашими усами! Не такие были до вас, не такие и теперь есть, а того не могут. Что? Не верите?!

И тогда пан Твардовский переключился на латынь, на гекзаметры. Если он Франциску и всем этим молчаливым Прекрасным цветкам ничего не доказал, ссылаясь на апостолов, то он сейчас им то-се докажет, ссылаясь не на апостолов. Микола Гусовский! До самого Рима дошел, вплоть до папы римского. И это по заказу папы римского написаны им гекзаметры:

Мир христианства с его христианскою верой
Треснул давно, и расщелина вглубь проникает..

— А вы тут — лада, лада! Как чернокнижник, — провозглашал пан Твардовский уже едва ли не на весь божий свет, а не только под низковатый потолок пивнушки возле треугольной рыночной виленской площади ниже Кревских ворот. — Как чернокнижник, — повторился пан Твардовский, — я должен сказать, что над этой расщелиной, о которой говорит в своей поэме наидостойнейший песнетворец Николаус Гусовиан^[139], я вижу не только Мартина Лютера, но и многоуважаемого Франциска Скорину. Но я — не о том! — сделав широкий жест, казалось, опять обретал новую блистательную форму пан Твардовский. — Я совсем не о том.

И следом за этими словами вновь зазвучали гекзаметры, вроде бы ни к кому специально паном Твардовским в пивнушке не обращенные, но все-таки своего адресата, безусловно, имеющие — Франциска Скорину. Итак, звучали гекзаметры:

Совесьть и честь у земных властелинов сегодня
Спят беспробудно. Все их дела и поступки
Людям — на горе. Державе — во вред и в убыток.
Властвовать хочется больше всего им;
Точат мечи постоянно сосед на соседа —
Ты или я зацарюю, вдвоем не ужиться.
Братоубийства и междоусобные войны —
И физический труд их и свет их духовный.
Бьются князья-воеводы, а стонут народы...
Наши враги, это видя, смеются открыто.
«Пастырем будьте для паствы», — писание учит.
Будут — дождетесь! Волками грызут свою паству.
Вот до чего довела их чрезмерная жажда
Славы, богатства и власти, и как очерствили
Все их нутро себялюбие, роскошь и слава!

И пан Твардовский захохотал как Мефистофель. Что ото был именно мефистофелевский хохот, мог подтвердить доктор Фауст. И торжествовал тут пан Твардовский, то-оржество-овал:

— Порушили небо и землю, море и сушу?! И земля и суша беспробудно спят. Спят беспробудно, кого ж вы хотите поднять в дорогу своими малыми подорожными книжицами, кого вы хотите подвигнуть на деяния своими деяниями апостолов! Апостолы, слушайте, что говорят поэты! Если их слово не пробуждает владельцев земных, беспробудно спящих, то разве разбудит их ваше слово — слово над *расщелиной*, слово накануне действительного конца света?! И *если я гуляю, то сознательно*. Это единственное, что на свете нам осталось. Не только мне, пану Твардовскому, но и всем панам и смердам, купчикам и челядникам! Всем!..

Пан Твардовский торжествовал. Прекрасные цветки средневековья молчали. Молчал и Франтишек Скорина. И как бы между прочим, обращаясь к нему, пан Твардовский добавил:

— А кстати, Микола Гусовский посвятил свою поэму «Песнь о зубре» королеве Боне. Посвятить что-нибудь ей пора уже и вам, многоуважаемый

Франциск Скорина! И не только ей, но и секретарю ее королевского величества ясновельможному Людовику Олифио, как то сделал тоже досточтимый поэт с берегов Немана и Днепра Микола из Гусова.

Скорина молчал.

Пожар в Вильне, или глава шестая, в которой с превеликой скорбью повествуется о Пламени Втором, настигшем многосведущего мужа в науках Франциска Скорину в Вильне, и о лютой жестокости неумолимого мора, что отнял у него любимую Маргариту и незабвенного брата Ивана, а также о менее достойных печали приключениях того же самого Франтишека Скорины в Кёнигсберге.

Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?..

Из «Песни песней»

1. ПЛАМЯ ВТОРОЕ

Сам Франтишек Скорина это время своей многославной жизни Пламенем Вторым не называл. Так случилось, что где-то возле этого времени стал он вторым мужем Маргариты, но разве мог он в душе своей хотя б на миг предположить, что он — второе пламя для нее?! О втором не думают, когда любят; о втором забывают, хотя как все это и Маргарите и ему, Франтишеку, пришлось пережить, о том лишь они вдвоем и знали — сам Франтишек, сама Маргарита — вдова Одверника!..

«Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы

ее — стрелы огненные; она — пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее...» Теперь Скорина не только был печатником этих строк из «Песни песней», оттиснутых им красной краской еще в Праге, — теперь он сам, как печать, положил на сердце свое Маргариту, положил ее любовь и судьбу, когда, взяв кольцо из рук Маргариты, надел его на палец ему старый, как мир, священник, который на брак их благословлял. Ни Полота не могла потушить своими волнами того, что еще некогда на капище возле Воловьего озерца начиналось; ни Двина в своих могучих берегах, как бы ни бушевала, не в силах была залить пожара, сжигавшего грудь, глаза, руки Франтишека и Маргариты. Но это, однако, и впрямь не было Пламенем Вторым, хоть и было Пламенем. Было оно как вечное солнце. И от бога оно было для них, и во славу бога и солнца, особенно для Скорины — пламя неуничтожимое, как сама стихия жизни. Некогда греки тех стихий насчитывали четыре: огонь, вода, воздух и что-то неопределенное, бесконечное. Любовь? Неопределенности Скорина не терпел. Про любовь же писал, как про «жадности плотские», видя в человеке существо двойственное: духовное, внутреннее, разумом наделенное и телесное, внешнее («зоунутранае»), похоти и греху подвластное. Девятую заповедь Моисея «Не желай жены ближнего своего» Скорина знал, как, наверное, все в его время. И он, Скорина, всецело повинуюсь прирожденным законам, как называл он заповеди Моисея, пока был жив Одверник, поступал согласно заповеди Моисея девятой. Настоящие мучения, о которых Скорина и не предполагал, начались для него после смерти Одверника. Не вспоминай Скорина при этом, как двадцати четверем профессорам Падуанского университета он излагал, не моргнув глазом, аристотелевскую науку о мозге как вместилище влаги, охлаждающей кровь, то разве смог бы он вообще охладить свою кровь, сбить жар ее, унять пламень ее? Мозг его здесь словно был Полоты глубже, Двины шире. То, что согласно «Песне песней» не в силах потушить вода и реки, до поры до времени все же гасили разум Скорины, сдержанность его, осмотрительность-осторожность. «Мужа и жены почтливое случение... от всех народов посполите соблюдаемо ест» — в эти свои слова, из «Второзакония» взятые, вкладывал теперь Скорина особый смысл, освященный и поучением Павла, что «мужи со своими женами имають во любви жити».

Апостол Павел! Да, апостол Павел — он не только на печатание «Деяний апостольских» подтолкнул в жизни Скорину. Подтолкнул он его и сейчас — в минуту растерянности скорининского разума, особенно в тот день, когда Франциск перечитывал отпечатанное им в Вильне первое

послание Павла к Тимофею, задерживаясь на словах: «Младые пак вдовице замуж да идуть». А разве ж Маргарита старая, Маргарита — вдовица Юрия Одверника? «Молодая! Молодая!.. Но как сказать ей об этом? Как?..»

...Непредвиденное случилось в начале июля месяца года 1530-го, и по причине неизвестной. То, что сушь тогда стояла весь май и весь июнь просто невыносимая, известно, как доподлинно известно и то, что огонь занялся от Трокских, или Францисканских, ворот. И хоть не было здесь надписи «Врата Небес», как на полоцком бернардинском костеле, огонь от них так рвался в небо, что от самих ворот и вообще места Виленского мало что на земле осталось.

Городской пожар для средневековья не новость. Но этот, в Вильне, просто ошеломил виленцев своей невиданной стремительностью. Ветер налетел тотчас же — порывистый, беснующийся. Где пожар, там ветер, — испокон веку знали виленцы, но то был даже не вихрь — ураган, который вымел две трети города едва ли не в мгновение ока, а что осталось после него, чернело призрачно не одними лишь пустыми подворьями погорельцев. Стены костелов, церквей, других каменных строений, особенно в тех местах, где их лизали языки огня, вырывающегося через раструбы окон, были теперь все в черных разводах от недавнего красного пламени. Огонь добрался и до Нижнего замка, и до кафедрального костела. Только до Верхнего замка не дотянул — как бы не хватило духу или малый взял разгон, чтобы взбежать по крутому склону горы.

Но что б ни говорили виленцы, откуда занялся огонь, у Скорины на этот счет было свое мнение. Дом Маргариты — на треугольной площади меж домами Ивана Плешивцева и Василя Воропанева, — как и дома самих этих ее соседей, сгорел. И хоть погорельцами стали также мещане виленские Мартин Субачович с женой своей Анной — сестрой Маргариты, и Николай Чуприн, все же тому, что они были только пассивными жертвами пожара, Скорина ничуть не верил. В глазах Скорины Субачович и Чуприн были прежде всего лихими поджигателями, а потом уже черными погорельцами, небом и судьбою покаранными за поганое дело поджога. И было то для Скорины яснее ясного. Суда ведь первого, так называемого тайного ^[140], и его приговора в пользу Маргариты, подписанного самим епископом виленским Яном, ни Субачович, ни Чуприн не признали. Не того аршина они были, чтоб уважать закон! Не того десятка, чтобы в споре за такой дом, как Маргаритин, уступать — а дом действительно стоял на бойком месте, соблазнял своим скарбом, своими надворными постройками. Отказаться от такого добрища, от такого богатства — да ни за что?

Бедная Маргарита! Разве ж она ждала, в окна высматривала, желала

смерти мужа своего — святой памяти Виленского радчика Юрия Одверника?! И Скорина поначалу вовсе не думал, что выйдет именно так, как вышло, что его бурное сочувствие исплаканной, почерневшей от неутешных рыданий вдове как бы станет поводом для их сближения. С его стороны только и была рука, протянутая для помощи, — рука, что под руку поддерживала женщину в ее беспамятстве. Комочки песка и камешки глухо постукивали о крышку опущенного уже в песчаную могилу гроба. Маргарита никого не видела, ничего не видела, словно вовсе утратила всякое чувство — даже руки, которая ее поддерживала. Но руна была — как первая в скорби ее опора. И потому при всем равнодушии к миру не могла не рождаться в изболевшемся сердце женщины благодарность за эту поддержку, эту опору. И оказалось, что руки человеческие на счастье и вот так — в объятиях горя, беды — иногда встречаются, и так вот порой судьба сближает, сводит людей. Ни перед богом, ни перед святой памятью Юрия Одверника Скорина своей вины в том не чувствовал, как не чувствовала в том же своей вины и Маргарита.

Но покуда пришла к ним взаимность, у Маргариты был единственно траур. И это как раз жалея дочь в ее горе, мать Маргариты Дорота — дочь Станислава — дом свой возле треугольной рыночной площади дочери Маргарите, а не кому-нибудь другому в завещании отписала. Что Франтишек станет зятем Дороты, никто еще тогда не мог предвидеть, хотя в оформлении того завещания Скорина как доктор наук участие, вполне возможно, принимал. Но разве ж то, что Франтишек Скорина стал зятем Дороты позже, нежели стал ей зятем Мартин Субачович, ставило Субачовича на первое место, давало ему право на владение домом Маргариты и полностью лишало этого права Франтишека Скорину?..

Как же, однако, ненавидел Скорину Мартин! Как ненавидел его Николай Богданов Чуприн! Лишь благодаря наущению Франтишека, его подстрекательству, считали они, у Маргариты на руках оказалось удостоверенное печатью материнское завещание — на нее, Маргариту, а не на Анну — жену Мартина, родную сестру Маргариты. Доктор!.. Законы знает!.. Пронюхал, где можно пожить! Охоч до чужого богатства, но ведь спустит все на свои никому не нужные книги!.. Не сам наживал — не жалко!

Маргарита все эти пересуды слышала и была уже не рада, что мать сделала так, а не иначе, хотя и не она же волей матери распорядилась. А в суде Маргарита ни разу еще не бывала — иди туда, свети глазами, точно ты украдала что-то, точно ты всегда лишь и норовила урвать у родной сестры ее же кровное. Все это было невыносимо, все это Маргарита очень близко

брала к сердцу и потому беспрестанно мучилась, терзалась.

А в суд пришлось-таки идти — и в первый раз, и во второй. Некое подобие Голгофы устроил, затеяв судебную волокиту, Маргарите и Скорине прежде всего Мартин — муж Анны. Ни на что не смотрел тот Мартин, как будто не его жене, а перво-наперво ему обида была нанесена. Пред ясны очи епископа Яна положил он даже лист без печати, называя его настоящим завещанием тещи своей Доротеи Станиславовны. Епископ Ян, понятное дело, не признал этого документа. Но выше суда тайного — суд королевский. И Мартин доходит и до суда королевского и там обвиняет в несправедливости епископа Яна, но главную напраслину возводит, конечно же, на Франтишека Скорину.

Пожара в Вильне тогда еще не было. За спиной у Скорины в его житейской судьбе к тому времени отпыхал лишь один пожар — тот, что в 1519 году пронесся по его родному Полоцку. Сколь ни огромный урон потерпел Полоцк в 1519 году, но тот пожар не воспринимался Франтишеком в некоей его фатальности, предрешающей перелом в его собственной судьбе и в судьбе его дела. И последующие годы это подтвердили: 1522-й — выходом в Вильне «Малой подорожной книжки», 1525-й — выходом в той же Вильне «Апостола». Но теперь шел уже 1529 год, и ничто не предрекало выхода новой книги, то есть третьей удачи. А разве без третьей удачи мог считать себя человек в средневековье удачливым, счастливым, предначертанное свершившим? Бог в троице един, и любое свершение только в троичности своей представлялось средневековому человеку месяцем полным, а не молодым или на ущербе. Не на ущербе, не на исходе чувствовал себя Скорина в 1529 году, потому что в этом году над его совместной жизнью с Маргаритой взошло и засияло в полный лик свой счастье, и никакие суды не могли его омрачить. Дом Маргариты был уже не только домом ученого мужа Франтишека Скорины, не только домом просто мужа Маргариты — он стал уже домом молодого отца Франтишека Скорины, когда Маргарита родила ему сына Симеона. Маргарита была счастьем Франтишека Скорины. сын от нее — его невыразимой радостью, гордостью. И теперь его мысли о книгах становились одновременно и мыслями о будущем сына: книги — новые, более совершенные — он должен, он обязан дать в руки, оставить в наследство и своему сыну и для своего сына что-то специально издать, напечатать. И это дело не терпит отлагательства. Сознание своего долга перед сыном, таким образом, только сильнее подстегивало и без того неугомного в своей деятельности Скорину-печатника. И хотя Мартин Субачович со своими судами на время и прерывал намерения Скорины,

однако и он, сам того не зная, определенным образом влиял на их возникновение и их дальнейшую участь, на саму судьбу Скорины, если та судьба на земле есть также и результат столкновений меж людьми, личностями, есть итог их встреч — официальных и неофициальных.

И так вышло, что первый — тайный — суд с Мартином Субачовичем стал для Франтишека Скорины и как бы первым шагом на пути его сближения с виленским епископом Яном, о котором в летописях того времени, в тогдашних официальных документах писалось: «Из князей литовских». Он действительно был из князей литовских, поскольку являлся внебрачным сыном короля Жигимонта, который носил одновременно и титул великого князя литовского. С 1519 года жил епископ Ян в Вильне. Итальянка Бона Сфорца, как только годом раньше заняла вавельский трон, тут же приложила все усилия, чтоб подальше от Вавеля оказались и первая любовь Жигимонта — Катерина Тальничанка, его внебрачная жена родом из Чехии, и ее старший сын Ян. Таким образом, и Тальничанка и Ян очутились в Вильне, где Ян и стал епископом. Ян, которому в 1519 году шел всего лишь 21-й год, еще и на первом суде за Маргаритин дом был весьма молод, красив лицом, широкоплеч и высок ростом.

Присутствовал Виленский епископ Ян и на втором суде, где снова разбиралась тяжба Субачовича и Чуприна из-за дома жены Франтишека Скорины. То был, как уже говорилось, суд королевский — самый высокий в Речи Посполитой и Великом княжестве Литовском. Вершил его сам король, а при короле заседали паны радчики Великого княжества Литовского, и прежде всего паны радчики старшие — те, кто составлял согласно державной традиции Вреднейшую Раду: епископ виленский, воевода виленский, кастелян виленский, воевода трокский, пан трокский и староста жемойтский. В 1529 году в Вреднейшую Раду конкретно входили известные уже нам епископ виленский Ян, воевода виленский Альбрехт Мартинович Гаштовт (Кгаштолт — согласно летописному написанию, и Гаштольд — согласно польскому произношению), кастелян виленский Юрий Виколаевич Радзивилл, воевода трокский князь Константин Иванович Острожский, пан трокский Ян Янович Заберезинский и староста жемойтский Станислав Станиславович Кезгайла. На том достопамятном суде из-за дома Маргариты из панов радчиков сбоку короля Жигимонта стали, кроме виленского епископа Яна, пан Юрий Виколаевич Радзивилл, князь Константин Иванович Острожский, епископ киевский Николай. Других панов радчиков Великого княжества Литовского писарь Копать, который писал судебный декрет короля и панов радчиков, не назвал — все они, по-видимому, были «паны радчики меньшие» и не считались равней

тем, кого писарь упомянул. Но тот факт, что кто-то из Преднейшей Рады присутствовал на суде Маргариты, а кто-то не присутствовал, так или иначе оказал свое влияние на судьбу Скорины...

Что б Скорина ни говорил с братом Иваном еще в Полоцке, да и теперь в Вильне о короле Жигимонте; что б ни говорила о его королевском величестве вся Вильна, где он задерживается на этот раз вот уже второй год; что б вообще о нем ни говорила в течение вот уже более чем двадцатилетнего его королевствования вся Речь Посполитая, король Жигимонт для Скорины ко времени суда Маргариты был королем Жигимонтом — был его королевской милостью, действительно достойным своей чести, светлым своей королевской светлостью. Король восседал на троне при всех своих королевских регалиях — жезле, яблоке, в короне, седой, как голубь, дородный, в роскошном своем убранстве из одамашека, пестреющем светловатыми узорами из стилизованных цветов. В это мгновение король Жигимонт был, как никогда, королем Скорины, ждущего от него справедливости. О справедливом монархе — отправителе законов и поборнике истины — Скорина всегда мечтал, и особенно когда в сказании ко второму закону Моисея писал о законах прирожденных, царских, о правах языческих, рыцарских, местичских, морских, купеческих. Воплощением всех этих законов и прав сейчас для Франтишека Скорины и являлся монарх — король Жигимонт! Тут вам не вроцлавская ратуша с ее вроцлавским же прокурором. Тут будет суд справедливый. Суд короля Жигимонта не может не быть справедливым!

Но как бы ни хотел Скорина заглушить в себе одно сомнение, заглушить его даже сейчас, когда суд продолжается, когда до приговора еще далеко, Франтишек не может. Он понимает, что король Жигимонт не совсем его король, хоть он господин всех подданных и в Короне, и в Великом княжестве, всех католиков королевства Польского, всех греко-православных в княжестве, всех иудеев, мусульман, еретиков. И еще Скорина знает, что Лютера и лютеранство король Жигимонт не поддерживает. Вон в защиту католичества издает эдикт за эдиктом — 1520-го, 1522-го, 1525-го годов, и все они — против Виттенберга, в поддержку Ватикана. Аннатов — ежегодной десятины из доходов государственной казны — платить папе римскому король Жигимонт не хочет, поскольку у него самого не хватает денег на войны — против Габсбургов, Василия Ивановича, Сулеймана Великолепного. Да и довольно для папы римского того, что король Жигимонт защищает все христианство европейское и самого папу римского от османских турок. Какие тут еще аннаты?!

Знает Скорина и то, как относится король Жигимонт к православию.

Было это, правда, на Подляшье, но слух разошелся по всей державе. Имеешь ты, православный русин, церковь, так имей, однако присягать мне, польскому королю Жигимонту, обязан в костеле, потому что присяга русина в церкви для короля Жигимонта вовсе не присяга. Имеешь ты, православный русин, право ходить со святыми дарами в городе к больному, так имей, но свеч с собою брать не вздумай, ибо на то есть королевское дозволение ксендзу и нет — православному священнику! И магистрат согласно той же воле короля может назначить в городе православного священника, а может и не назначить. А ежели назначит, то плати в казну рукавичное — аж две полтины медью. А помер священник, то в последний путь проводить его по городу в церковном облачении еще разрешается, но чтобы со свечами да с перезвоном колоколов, как хоронят ксендза, то это уже — ни-ни. Так где ж оно, равенство католика и православного перед королем? И если ты, Жигимонт, король мне — католику, то разве в такой же мере король ты мне — печатнику, издающему книги для православных? Разве ты судья моей Библии, «Малой подорожной книжке», «Апостолу»? Тем более прибудет ли тебе от того, сколько русинских книжек я отпечатаю?. Да и что еще подумает, что об этом скажет королева Бона, которая хоть и не сидит в Виленской ратуше на суде Маргариты рядом с королем Жигимонтом, но и стол и ложе делит с ним в Вильне тоже второй уже год, и дел у нее здесь побольше, чем у самого короля!..

...Вообще в Великое княжество Литовское Бона Сфорца отправилась на восемь лет позже, нежели приехал в Вильну Скорина, — 5 марта 1528 года. Сыну ее Жигимонту, будущему Августу исполнилось уже восемь лет, и уже шесть лет, как королевич Жигимонт в Вильне усилиями Боны был признан панами радчиками великим князем литовским. Такого еще не бывало в истории Великого княжества Литовского, в истории королевства Польского, согласно конституции которого король избирался — причем отдельно и в Великом княжестве, и в Короне, и по традиции поначалу он обычно становился великим князем литовским и только затем уже королем польским. А тут при живом еще короле Польши, живом великом князе литовском, которым одновременно был Жигимонт, чуть ли не грудное дитя Жигимонта признается панами радчиками Великого княжества великим князем литовским! Вот это была интрига, вот это была забота о династии Ягеллонов, об их троне на Вавеле, о державном могуществе короля!.. В 1528 году Бона Сфорца будто бы ехала только на литовский сейм для торжественного введения на нем в великокняжеское достоинство своего первенца Жигимонта Августа, хоть это как раз в тот год в погодичную запись хроники князей литовских было внесено: «Того ж року всю землю

Литовскую пописывали». Для чего «пописывали», мы еще узнаем, но предварительно вспомним, что инициатива признания двухгодовалого ребенка великим князем литовским шесть лет тому назад — к первому приезду в княжество Боны Сфорцы — исходила, как считалось, от канцлера всей рады Гаштовта. Чем его ублажила Бона Сфорца, кто его знает. Но доподлинно известно, что на тайном заседании рады не все паны радчики поддержали инициативу Гаштовта, а такой ее знаменитый на все княжество представитель, как князь и гетман Константин Иванович Острожский, даже опускался перед королем Жигимонтом на колени и просил:

— Милостивый пан, отступись — откажись от своего замысла!

То ли о соблюдении законов хлопотал князь Острожский, то ли побаивался вального, как тогда говорили, всеобщего бунта шляхты, которая могла возмутиться явно незаконным выдвижением сына короля в претенденты на короля, но князь Острожский действительно-таки упал на колени перед Жигимонтом, а вместе с ним, молитвенно сводя перед собою руки, пали и его единомышленники. Короля все это, однако, лишь разгневало. Конечно же, не следствием только наущений Боны Сфорцы был тот королевский гнев, хотя что бы он, Жигимонт, и ответил Боне, каким бы таким правителем он выглядел перед нею, если бы ее надежд, ее расчетов не оправдал, ссылаясь на противодействие не Ташицких даже, которые будут распинаться на вальных сеймах, а своей придворной, хотя и носящей громкое название Преднейшей Рады. Король гневался, и этот гнев решил дело, а не мольбы подданных, даже таких, каким был князь и гетман Константин Острожский. Был он тогда уже знаменитым победителем в 1514 году под Оршей, но был и верным слугой короля, ненавидящим государя всея Руси Ивана III за свой плен над Ведрошем и никак не желающим возвышения Гаштовта.

О князе Константине Острожском почти все из того, что знали о нем в Великом княжестве Литовском, знал и Скорина. И на суде Маргариты он поглядывает на него уже не как на вовсе незнакомого человека — не раз уж в Вильне он и видел его. Знакомым незнакомцем князь для Скорины останется, однако, на всю жизнь. К нему Скорину как-то не тянуло, как ничем не привлекал его Ольгерд и Ольгердов путь. Победитель в шестидесяти битвах! Гетман! Но если бы он только крымских татар бил! Если бы только выигрывал битвы! А то ведь и проигрывал. Притом у кого выигрывал и кому проигрывал? Ответы на эти вопросы Скорина тоже знает, как и то, что с именем Константина Острожского связана идущая по всему княжеству Литовскому слава защитника и радетеля православия. Но

даже и это не побуждает Скорину искать поддержки своим книгам у князя Острожского. Не замаливает ли он, князь Острожский, своим строительством церквей грехи перед тем, кто в православные храмы ходит — ходит здесь, в Литве, ходит в Москве, Новгороде, Пскове?

Лицо князя Острожского усобородое; щелки глаз узкие — от одутловатости лица; щеки в красных прожилках. Он закован весь в панцирные латы — наперсники, наплечники, недостает только шлема на лбу. Что ж, тут суд, а не битва.

Шрамы от сабель у князя Острожского — под зарослью бороды, под панцирем. То было летом 1500 года: израненный над Ведрошем, разбитый вдрызг, он был пленен русскими войсками. В то время Скорина еще даже не собирался из своего Полоцка уходить в Краков. Но Скорина стал уже бакалавром, когда бежал из плена князь Острожский — в 1507 году. В благодарность богу за свой счастливый побег из плена церквей в Вильне князь, однако, не строил. А вот когда победил в 1514 году под Оршей, то, пожалуйста, две церкви в Вильне выстроил, как торжественно и обещал накануне битвы, прося у бога победы!.. Такая практичность рационалисту Скорине не могла казаться непогрешимой. Тем более не по нраву была Скорине та непримиримость, с которой князь Острожский относился к московскому царю Василию Ивановичу. Об той непримиримости знал в Вильне каждый.

И еще одно понимал книжник Скорина, поглядывая на закованного в латы князя: если князь Острожский поддерживает перед королем Жигимонтом православную церковь, а православная церковь его, Скорину, не поддерживает, то скорее всего пустыми окажутся надежды, что князь Острожский когда-нибудь его, скорининское, печатное дело поддержит!..

А фигура пана виленского Юрия Николаевича Радзивилла обращала на себя внимание Скорины прежде всего широченным золототканым поясом, охватившим его огромное чрево. И Скорина вспомнил, как о таких поясах напевал в пивнушке пан Твардовский.

Нет! Этот пан и за персидскую шахию пояса своего не оставит, своим не поступится, хотя... И тут Скорине опять приходило на память, как королева Бона мирила Гаштовта и Радзивиллов, о чем тогда весьма охотно судачили все виленцы. Хотя королева Бона и приехала в тот первый раз в Великое княжество Литовское вовсе не бедной родственницей здешнего магнатства, а пани-владетельницей многих и многих окрестных земель, еще в 1519 году ей щедрым Жигимонтом подаренных, те подарки, однако, Бона считала мелочью. А в мелочь попали весьма значительные окрестные города и веси: бывшие княжества Пинское и Клецкое, Кобрин, Паланга на

берегу Балтийского моря, некоторые староства на Подлясье и Волыни, возле Городни, возле Ковно. Однако Бона жаждала большего, у короля выпрашивала большего, и потому Жигимонт в Вильне в 1528 году уполномочил ее на выкуп отданных им когда-то в залог владений не только в Короне, но и в Литве. И принялись заправила Великого княжества Литовского выбрасывать такие коленца, словно какие-нибудь шалуны-подростки. И так вот случилось, что снег в декабре не успел пасть на землю, а Николай Радзивилл — в пику своему заклятому до сих пор врагу Гаштольду — подарил королевичу Жигимонту Августу все, что незаконно умудрился прибрать к своим рукам. Бона хитрила: дар принимала, но при условии, что Радзивиллы помирятся с Гаштольдом. Радзивиллы вроде бы шли на уступки, кое-что жертвовали Гаштольду из своих владений, но опять же уступленными оказывались деревни, которые в действительности были королевскими. О, то была игра, то был торг! Бона выгадывала себе славу миротворца. И при своих интересах оставались Гаштольд, Радзивиллы...

Еще не уедет Скорина из Вильны, когда летом 1533 года Бона опять — уже на целых три года — оставит Вавель и прибудет в свои обширнейшие в Литве, Беларуси, на Украине владения. Три года есть три года: для шляхты, для отвода ее глаз и мыслей, для расположения к себе простого люда она закрутит и пустит во все стороны молву о себе как о меценатке-основательнице костелов и школ при них. И, таким образом, слава Боны как миротворца магнатов начнет умножаться на славу покровительницы образования. И вновь же в продолжение официальной версии — *сui bono?* [141] — Бона закрутит и пустит по всему краю слух о себе как о земле-устроительнице, всячески поощряющей культуру землепользования. А на самом деле все это будет не чем иным, как культивированием расчета и подсчета, обожествлением аршина, которым будет перемерена земля белорусская, и весов, на которых будет взвешиваться все, чем богата земля белорусская, чтобы полной мерой идти только в руки Боны и ни в чьи другие. И так подручными Боны сделаются мерщики, управляющие и войты: «пописывать» землю станут мерщики, выжимать прибыль из нее — управляющие с войтами. Осанна пелась их талантам, а не отсталой культуре местных Гутенбергеров. Был ли весь макиавеллевский азарт Боны Сфорцы, что принялась «пописывать» земли Беларуси, Украины, Литвы за год всего лишь до суда Маргариты, понятен Скорине, сказать трудно. Ясно, однако, одно: в Беларуси Боне было не до Скорины, как не до Скорины было и королю Жигимонту в Вильне. Все это Скорина весьма отчетливо увидел и осознал как раз на королевском суде Маргариты.

...Скорина был мудрым человеком, Скорина умел понимать сильных мира сего. И он явственно почувствовал, что, как ни красиво говорил в деле о Маргаритином доме перед королем и всей Преднейшей Радой, Жигимонт его как будто не слышал, как будто не видел. Может, сказалось недомогание короля — человека уже старого? Короля — и Скорина мог о том знать — задерживало в Вильне не только ожидание сейма, который должен был собраться только в октябре 1529 года, но и болезни. Собственно, Скорина мог быть только доволен, что сейм откладывался и что король недомогал, иначе королевский суд в Вильне в 1529 году вряд ли состоялся бы и тяжба с Субачовичем и Чуприным повисла бы над его шеей как дамоклов меч. А так — спустя минуту-другую он услышит приговор королевского суда, и Скорина надеется, что приговор будет справедливым. А что король не слушал его, скорининских, доказательств, логики, риторики, вроде как вовсе не видел его мантии, берета, то не такая уж это для него, Скорины, большая беда. Не слушал король, зато вон как слушал епископ Ян — Скорина даже растерялся, заметив его неподдельный интерес. Он в то мгновение не сказал бы, что — рослый, молодой, красивый — епископ ему нравится, но ощущение того, что к нему проявляют любопытство, у Скорины было. А кому не по душе такое искреннее внимание, тем более когда исходит оно от особ, подобных епископу виленскому?!

На суде о самом епископе Скорина думал менее всего, потому что он знал Яна как ревнителя католицизма, латыни, сторонника папы римского. Разве может такой епископ содействовать делу белорусского книгопечатания?!

Гаштовта не было на суде, и в думте своей Скорина, возникни надобность признаться, признался бы, наверное, что именно о нем и до суда и на суде он преимущественно и думал. И тому было много причин, из которых главная заключалась, может, вовсе и не в том, что Гаштовт являлся первым лицом в Великом княжестве Литовском. И действительно: Гаштовт был не только виленским воеводой, но и канцлером княжества, и, главное, готовил к изданию Статут Великого княжества Литовского. В истории княжества он станет первым статутом, и редакторскую работу над ним канцлер Гаштовт и заканчивал именно в год Маргаритинового суда.

О Гаштовте, Скорине казалось, он знал все: и что происходил Альбрехт из стариннейшего и знаменитейшего в Литве рода, и что род этот имел даже привилегию на печатку из красного воска, пользоваться которой было разрешено только правящей королевской семье. Женат князь Альбрехт был на княжне Софье Вереysкой, а Вереysкие вели свою родословную не от кого-нибудь — от самого великого князя московского

Дмитрия Ивановича Донского (сын Дмитрия Донского Андрей получил когда-то в наследство Верею, отсюда и князя Верейские). Гаштовт Альбрехт кичился повсюду прежде всего славою деда своего Яна — первого в их роду Виленского воеводы, чье имя широко и прочно вошло в летописи. Альбрехт Гаштовт — второй из Гаштовтов, кто стал виленским воеводой: усиленная славою деда, его известность воеводы Виленского была как бы дважды известностью. При такой известности можно было, если тебе угодно, не только не ходить на королевский суд. Хотя на то время у Гаштовта имелась на любой упрек и одна весьма уважительная отговорка: Статут!

Статут писался. Писался в великокняжеской канцелярии. И Скорина даже знал, кто был писарем. А был им секретарь канцлера Альбрехта Гаштовта Деодат Септений. Однако подступаться к Гаштовту через секретаря с тем, с чем Скорина задумал подступиться, означало напрасную трату сил. Ведь то, что намеревался предложить Гаштовту Скорина, отнимало промысел у писаря Гаштовта, как, собственно, и у всей великокняжеской писчей братии. Не для того писарь Деодат Септений адресовал панегирики Гаштовту, чтобы вдруг перестать называться его же канцлерским писарем, начальником великокняжеской канцелярии. Но у Скорины был свой замысел, и он продолжал о нем думать.

То ли произошло это уже ко времени Маргаритинового суда, то ли вот-вот должно было произойти: в Преднейшую Раду усилиями Боны включался не литовец, как Гаштовт, не белорус, как Острожский, а поляк Ежи Хвальчевский. Первый поляк в Раде! Такого еще в Великом княжестве Литовском не бывало! И тогда Гаштовт зашептал Радзивиллам:

— Господарь дал ему епископство и открыл доступ к Раде, желая бедную Литву подмять под ляхов!

Под ляхов не хотел литовец Гаштовт. О бедной Литве он говорил, боясь на деле за свое богатство. И, дабы уберечь это свое богатство, князь Гаштовт и все магнаты и шляхта Великого княжества Литовского и разрабатывали, писали Статут. Бона земли «пописывала», они Статут писали — в защиту своих имений, своих прав на свои земли. И писался тот Статут словами старобелорусскими, буквами кириллицы. На том самом языке, на котором свои книги печатал Скорина. Слышал или не слышал Скорина слова Гаштовта о бедной Литве, но отношение Гаштовта к ляхам, пожалуй, было ему известно. И пусть Скорина знал, что Гаштовты, став Гаштольдами, заделались и фанатическими католиками, как самый уже первый из них — боярин Ольгерда, это Скорину, как тоже католика, не смущало. Ведь каким бы ревнителем веры ни выступал Альбрехт Гаштовт,

католик Скорина тем не менее чувствовал, что Гаштовт близок ему именно тем, что при своем католицизме остается верным в немалой степени богатству русчины как богатству Лптвы, Великого княжества Литовского. Литва же действительно может стать бедною не только с потерей своих имений, земель, но также и с утратой русчины, языка!.. Чтоб это общее для Гаштовта и Скорины чувство языка глубже понять в его сущности, мы обратимся к фактам несколько более позднего времени, а конкретнее — к стихотворению Яна Казимира Пашкевича^[142] 1621 года. Будет это стихотворение написано рукою автора на чистой, 25-й странице слуцкого списка Статута, который к тому времени станет уже называться первым, потому что появятся уже и второй Статут 1566 года, и третий — 1588-го, и будет это стихотворение самым красноречивым образом выражать не только чувство гордости поэта за Статуты, но и большее — дух гордости за Великое княжество Литовское и все ему принадлежащее, пафос государственного патриотизма феодальной элиты, к которой принадлежал и Гаштовт. Стихотворение Яна Казимира Пашкевича будет начинаться так:

Полска квитнет лациною,
Литва квитнет русчиною;
Без той в Полсце не пребудеш,
Без сей в Литве блазном будеш...^[143]

Пусть Ян Казимир Пашкевич и ошибался — в том смысле, что категорически отъединял Литву от латыни, которой на самом деле, как и вся тогдашняя интеллектуальная Европа, цвела и Литва. Но чем не цвела ни Корона, ни вся Западная Европа, так это русчиною, старобелорусским языком. И Ян Казимир Пашкевич имел полное основание с гордостью заявлять, что его край цветет русчиною. Ведь это был цвет и впрямь не эфемерный, распускающийся не на один день, но, как и города средневековья, чудесный цвет средневековья на веки вечные. Этим цветом русчины в Литве, в Великом княжестве Литовском были и летописи, и предисловия и послесловия Скорины, и Статуты... Печатать летописи — такой мысли у Скорины не возникало. Да и тогда они, при его жизни, еще создавались — во многом как государственное летописание, как мифы и сколок реальности еще дооформлялись. Иное дело Статут. Заказы на него в великокняжескую канцелярию в Вильне уже поступали целою чередою: от королевы Боны, от киевского митрополита, от всех вообще больших и малых городов тогдашних земель Беларуси и Украины. Но чтобы в век

печатного станка три года кряду слепиться над перепиской фолианта, состоящего из 13 разделов — с 250 статьями?! У Скорины это не вмещалось в голове. Да вот как добиться встречи с самим Альбрехтом Гаштовтом, чтоб сказать ему обо всем, если он даже на королевском суде не объявился?!

А меж тем суд по делу Маргариты, жены Франтишека Скорины, подходил к своему концу. Писарь Копать зачитывал высокое решение. Слушал его король, слушали паны радчики, слушали Скорина с Маргаритой, их супротивники Мартин Субачович и Николай Богданов Чуприн. Глаза последних пылали, когда под сводами ратуши звучало отчетливо:

«...Тот дом и иншое именье и вьси рухомые речи держати и въживати тое Маркгорете, жоне доктора Фрапцьцышка Скоринипое и детем ее, а тот Мартин с жоною своею Анною и сын Богданов Чуприн Миколай к тому ничего не мают мети... Жоне доктора Францьпгька Скорины Маркгорете держати и въживати супокоине на вечные часы... а тому Марьтину и его жоне Анне и тому Миколаю Чуприну и их потомьком казали есмо в том вечное молчание мети...»

«В том вечное молчание мети»?! — лихорадочно думал Субачович. — Не успела постель остыть после мужа, а она уже домом своим завлекла другого? Нет!..» Глаза Мартина Субачовича так и полыхали гневом, и как только не вспыхивала от него разметанная на широком лбу чуприна Субачовича, можно было лишь удивляться. А вы говорите, сушь тому виною, что возник пожар в месте Виленском 3 июля года 1530-го?! Скорина в это поверить не мог.

2. ПРИКЛЮЧЕНИЕ С КЁНИГСБЕРГОМ

Маргарита плакала. Утешение женщины — плач; слабость женщины — плач, но и, может, сила женщины — плач ее. И пе в нем ли секрет ее власти над каждым, кто ее любит? Скорина понимает всю безграничность этой Маргаритиной власти над ним, но его дело для него превыше какой бы то ни было власти над ним. И плакала Маргарита, проклиная Кёнигсберг. Плакала, но желая вникать в намерения мужа, в его планы, мечты. Плакала, заклиная сынами обоими — Симеоном и Франтишеком, их общей будущностью и надеждой. Плакала, боясь отпустить от себя Скорину, потому что вдосталь уже наревелась по Юрию, находилась по судам из-за Мартина Субачовича. Плакала Маргарита, показывая на кучерявого, точно

ангел, и синеокого, как сам Скорина, Симеопку, жмущегося к ее ноге, цепляющегося за ее юбку. Плакала, держа на руках — при груди — еще в пеленках посапывающего малыша с таким же именем, как у отца. Маргарита плакала, потому что не хотела больше плакать. А он, Скорина?..

И вновь появилась на плечах его мантия, на голове — красный берет. И вновь он превратился в путника, словно семьянином никаким и не бывал. Маргарита не в силах была понять его. Маргарита и не задумывалась особенно, что означало для него сидеть пятый год сложа руки, в бездействии и, главное, без так необходимых для него поддержки, опекуна, меценатства, которые обещали бы реальный успех делу. А он словно ждал у моря погоды. И очень долго ждал. Задерживал суд, затем — день святого Михаила, на который приходился в Вильне сейм, где, Скорине казалось, может ненароком представиться случай поговорить с канцлером Гаштовтом. А потом наступил день возведения на великокняжеский престол Жигимонта Августа, и Скорина вновь надеялся на возможную беседу с первейшим лицом княжества — теперь уже официальным опекуном малолетнего великого князя литовского Жигимонта Августа, вице-королем, как стали его уже называть. Но прошли все эти дни, весь 1529 год прошел — четвертый год его бездействия, четвертый год его позора. Победитель на суде Маргариты? Да, победитель. Но разве именно его победа в том, что победило на суде?.. И Скорине показалось: путь к Гаштовту будет короче, если идти не напрямик из дома Маргариты, а в обход — через Кёнигсберг, через гостиную другого Альбрехта — Прусского, который, слышно стало, докторов наук приглашает, университет в Кёнигсберге открывать собирается, Лютеру покровительствует.

Бабич, Онков думали иначе. Советовались меж собой не однажды, прикидывали и примеривались не однажды. Были купцами все же: семь раз отмерь, один — отрежь! Только от чего отрезать-то? Денег на печатание книг не было, надежд на продажу книг — никаких, они продолжали оставаться товаром, не имеющим ни спроса, ни королевской опеки и королевских привилегий, вообще лишенным какого бы то ни было меценатства. Но главное — денег, денег не было!

Бабич говорил:

— Надобно ехать в Москву! Там наши книги купят, там — церковь, а не костел, там — великий князь московский Василий Иванович.

Онков вздыхал:

— Может посадить в темницу, как Максима Грека^[144]. Может обобрать, как меня, — через разных там Андреев и Жданов Перетрутовых.

Онков действительно оказался без копейки из-за своей щедрости и

доверчивости. Года три тому назад ссудил он под долговые расписки князьям Можайскому и Шемячичу аж 900 коп широких грошей, или попросту полтин, и ни денег тех новгородские князья не вернули ему, ни расписок у него не стало — некие Перетрутовы отняли их у Онкова на дороге в Москву. А 900 коп — это ж были деньги: в ту пору Полоцк платил в казну великого князя 400 коп, а тут — все 900. Не случись такая беда с той злосчастной ссудой, Онков и теперь не поскупился бы на расходы, связанные с печатанием книг.

Бабич настаивал на своем:

— За неких там Перетрутовых великий князь московский не в ответе. Одна Москва и может поддержать нас...

Скорина с ним соглашаться соглашался, но ближе, думалось ему, Кёнигсберг и Альбрехт Прусский, который хоть и присягнул публично Жигимонту в Кракове, но от католичества отошел, Лютера уважает, лютеранство поддерживает.

— Был бы ты, Франтишек, лютеранином! — противился Онков.

— Умный умного понимает! — убеждал его Скорина.

— Если бы каждый да понимал нас! — возражал Онков.

— Должен понимать каждый каждого! — настаивал Скорина.

Так и началось это приключение с Кёнигсбергом в жизни досточтимого Франтишека Скорины.

...Альбрехт Прусский был аристократом. Не бюргер Лютер, хоть и лютеранин, — как Лютер, в шашки играть со Скориной — визави — за один столик, в низенькие креслица не сел. Этикет! Хорошие манеры! Галантность! Да, со своей стороны, и Скорина в кёнигсбергской резиденции Альбрехта Прусского обнаруживал, сколько требовалось по этикету, и хорошие манеры, и галантность, а более всего совершенное владение латынью, познание в науках, живописи, осведомленность в политике, и не только одного короля Жигимонта.

Год шел 1530-й. Но еще средневековье чувствовалось. А в средневековье говорить о политике означало то же самое, что говорить о религии, а говорить о религии означало то же самое, что говорить о политике. Альбрехт Прусский был поначалу духовным феодалом, и только с 1525 года, признав себя ленником польского короля, стал феодалом светским. И, таким образом, в его лице перед Скориной предстал в Кёнигсберге не кто иной, как политик, совсем недавно сменивший сутану на камзол и тем самым как бы доказавший миру политическую роль и сутан и камзолов.

Аудиенцию у князя Прусского доктор Скорина имел в просторном зале

с камином. Зал был отменно меблирован: деревянные резные стойки, кресла, шкафы вдоль стен; эту роскошь дополняли красивые канделябры, подвешенные справа и слева от высокой и тоже узорчатой деревянной двери. Альбрехт Прусский принимал разные позы, стараясь выглядеть подчеркнуто независимым, точно все еще не давала ему покоя та, уже пятилетней давности, минута, когда он присягал королю Жигимонту в верности возле Марьятского костела в Кракове. И он вытягивался во весь свой рост возле камина, сияющего великолепием отделки, но холодного, потому что был май месяц. И камин своим уходящим в потолок дымоходом, казалось, тоже как бы подвышал фигуру князя Прусского. Князь обладал темпераментом человека не очень уравновешенного, порывистого в своих увлечениях до сентиментальности, к которой немцы склонны вообще. И в том, что Альбрехт Прусский был чрезвычайно доверчив, весьма легко убедиться из его охранных писем, выданных Скорине.

Но писем этих пока что на руках у Скорины еще нет, а ученые диалоги возле богато украшенного камина текут себе спокойно-спокойно, как Преголя, чьи рябющие под ветром воды равно видны Альбрехту и Скорине через широкие ренессансные окна княжеского дворца.

Говорили поначалу, разумеется, о политике. Чего же в этой связи могли касаться в 1530 году люди — такие, как Альбрехт Прусский и Скорина? Они могли говорить и о Сулеймане Великолепном, который в прошлом году занял венгерскую Буду и со всей своей османской ордой стоял под Веной; и о Жигимонте — короле польском, который снарядил в поход гетмана своего великого коронного Яна Тарновского с наказом вернуть королевству Польскому Покутье — земли между выступом Черногорья на юге и долиной Днестра на севере, перерезанные речкой Черемош; и о Франциске I — короле французском, ведшем войну с Карлом V; и наверняка же речь заходила о Лютере и лютеранстве, о Лихтенберге и Мюнцере. И чем дольше говорили между собою Альбрехт Прусский и Скорина, тем более импонировал Альбрехту Скорина, тем более Скорина его удивлял и очаровывал, а иначе ведь никак не могли появиться те два охранных письма, которые тем временем писались в канцелярии князя. Но Скорина еще не кончил рассказывать Альбрехту и о чинимых ему в Вильне кознях и несправедливостях, и о бедной, многострадальной жене своей Маргарите, и о несчастных сыновьях своих. Слезы жалости подкатывались к глазам князя, но Скорина о своих заботах упоминал большей частью мимоходом, всякая жалоба его текла не так полноводно, как за окнами дворца Альбрехта весенняя Преголя.

И говорил тогда Скорина так:

— Преголя, ваша княжеская милость, хвала всевышнему, — не Дунай, не течет в ней невинная кровь люда христианского из-под кривых сабель Сулеймана, ибо в северной столице над Преголью есть тот из рода знаменитейших Гогенцоллернов, кто, будучи на месте Карла V, давно поверг бы к ногам своим Франциска — короля Франции, и не позволил бы Сулейману Великолепному дойти до Вены, а молдавского господаря Петрилу принудил бы покориться Жигимонту.

Наверняка Скорина говорил Альбрехту Прусскому именно так, потому что понимал, что нет на свете аристократов, напрочь лишенных лести, вовсе не любящих ее, не тающих перед нею, как сахар в горячем чае. И учитывал при этом Скорина, конечно же, и то, кого жаловал Альбрехт Прусский, кого не жаловал. Карл V не мог вызывать его расположения потому хотя бы, что девять лет тому назад в Вариации осудил учение Мартина Лютера, а он, князь Альбрехт, в пику папе римскому и Жигимонту взял да и со всем своим прусским орденом перешел в новый закон — в лютеранскую веру. Не мог не осуждать Альбрехт Прусский и Мюнцера и пошедших за ним смердов, челядь, чернь, которые сделали своим знаменем обычный лапоть, его орлу рыцарскому, черному противопоставив и головы рыцарские славные в походе этом снимая.

И особенно у Скорины был свой резон повести речь о Лютере, о Лихтенберге. В истории Лютера его меньше всего занимали отношения главы протестантизма с Екатериной фон Бора — полюбил он ее или не полюбил? Скорина, пожалуй, коснулся перевода Библии на верхненемецкий язык, над которым Лютеру тогда оставалось работать еще четыре года. Но в центре внимания должен был оказаться барон Лихтенберг. Лютер без барона Лихтенберга разве стал бы Лютером? Не будет ли ему, Скорине, таким бароном Альбрехт Прусский?

Заранее Скорина этого не знает, и Скорина с князем Альбрехтом Прусским соглашается:

— Да! Да! Пусть же то, что превозносит ученый и чему покровительствует барон Лихтенберг, — пусть же все то превознесет и простонародье!..

Что ж!.. Скорина как ученый и печатник превозносит книгу, русчину, а барона, который этому покровительствовал бы, нет. Вы намек понимаете, князь Альбрехт? Князь Альбрехт сей намек не мог не понять. Но склонить князя на свою сторону одними лишь намеками было более чем наивно. И это уже заранее предвидел Скорина, когда брал с собою в Кёнигсберг и книги свои. Ведь кто бы не оценил значение для себя подобной визитки? И

потому не мог Скорина не показывать князю своих книг, как не мог князь не листать их — то ли Библии, то ли «Малой подорожной книжки», то ли «Апостола». И если Альбрехт заинтересовался предисловиями Скорины, то, возможно, завязалась тогда меж ними беседа о том, что важнее — Библия или повести о Трое и Александрии? Светский уже, куртуазный князь Альбрехт мог и не соглашаться со Скориной, что в книгах Библии «более и справедливее... найдешь, нежели во Александрии или во Тройи»...

Но, известно, все на свете имеет свой конец. Окончились однажды и беседы князя Альбрехта Прусского с доктором Франциском Скориной. Но что оба эти, столь разговорчивые мужи могли в чем-то выговориться до конца, поверить трудно. Как бы там, однако, ни было, а 16 мая 1530 года в канцелярии Альбрехта Прусского в Кёнигсберге письмо в Вильну на имя воеводы Гаштольда подписывалось, и Альбрехт Прусский, который был в приятельских отношениях с Альбрехтом Гагатовтом, и подобно ему, считал себя просвещенным человеком, на этот раз, возможно, недоумевал, как это его друг не заметил до сих пор книгопечатника Скорину, перво-наперво сообщая Альбрехту Гаштовту, что «не так давно прибыл под нашу власть выдающийся и многоопытный муж Франциск Скорина из Полоцка, *doctoris artium* и доктор медицины, даровитый педагог, подданный Вашей высокой милости и наиславнейшего города Вильны гражданин». Аристократия любила комплименты, они были в письме Альбрехта Прусского в духе феодальных обычаев, но чтобы сразу, да столько, да из уст такого высокопоставленного лица, как прусский князь Альбрехт, их услышать, надо было и впрямь по-настоящему удивить и очаровать князя. На том, однако, не исчерпывались комплименты князя Скорине, потому что вслед за ними в письме отмечались и скорининский «действительный и прекрасный талант», и «наивысшее мастерство, которое он демонстрирует с удивительным блеском и умелостью, приобретенной, по-видимому, не иначе как только благодаря своему многолетнему труду и путешествию ради приобретения множества знаний». А вы, вы там, в Вильне, что, до сих пор не увидели всего этого, не видите всего этого, столь очевидного для меня тут, в Кёнигсберге? — как бы упрекал-вопрошал своим письмом Гаштовту, да и не только Гаштовту, князь Прусский. Недооцениваете его вы, дооценим, дооценили мы — князь Прусский. Как дооценили? Да вот в письме и прочтите: «Милостиво приписали его к числу и кругу наших подданных и верных мужей и поставили его в ряд тех, к кому благосклонно относились». Вот какой была княжеская плата Скорине за наслаждение тем духом разумности и той изысканности, которые внес он своей личностью в кёнигсбергские палаты князя. Но это была не вся плата, да, собственно, и

не ее добивался от князя Скорина, а другого, о чем свидетельствует все то же княжеское письмо к воеводе Виленскому.

Альбрехт при своей чрезмерной чувствительности не способен был что-то подолгу замалчивать, утаивать. И поскольку просил у него Скорина самого для себя важного, князь Альбрехт не преминул зафиксировать это в письме к Гаштовту, начертав черным по белому: «убедительно просил». Убедительно — значит настойчиво, может, даже и настырно — при полном понимании цены слова, адресованного князем Альбрехтом воеводе Гаштовту, его обращения к нему. Наверное, Скорина сейчас надеялся на перелом в своей жизни, на то, что поправит главное свое дело и дела свои вообще, «несправедливо запутанные», как уверил он князя.

В письме прочитывается, и чего просил у князя Альбрехта Скорина: «...дать ему рекомендательное письмо», — и чего конкретно хотел Скорина, чтобы то письмо рекомендовало другим. Последнее проясняют, в частности, три абзаца с глаголом «просим», — особенно заключительный из них:

«Просим, чтобы вышеназванный доктор Франциск, наш подданный и слуга, не был оставлен на произвол судьбы, но, согласно нашему желанию и в силу необходимости, а также ради нашей тесной дружбы, пусть Ваше славное Величество будет добр к нему, посоветует и поможет в его деле с беспристрастностью и справедливостью как человеку достойному, рекомендованному. За это мы Вам, как другу весьма любезному, и всем Вашим со всяческим старанием и усердием отблагодарим».

Возвращаться в Вильну можно было уже с одним лишь этим рекомендательным письмом. Но в тот же день, 16 мая 1530 года, Скорина держал в руках и второй не менее важный документ — «Подорожную грамоту Альберта», как назвал себя в ней Альбрехт, — с текстом тоже очень красноречивым:

«Мы приняли и приписали к числу подданных и верных нам слуг выдающегося, большой эрудиции мужа Франциска Скорину из Полоцка, doctoris artium и доктора медицины. Далее, поскольку в настоящий момент обстоятельства, имущественные и личные дела, отзывают его отсюда в другое место, мы по-приятельски предлагаем и любезно просим вас, всех и каждого, согласно нашему желанию, помочь вышеназванному доктору Франциску, верному слуге нашему, в его судебных делах и, если того потребуют обстоятельства, неожиданные события и случай (ибо вещи человеческие более, чем неопределенные, изменчивые, слабые и непостоянные), в чем бы тони было не обидеть, но облагодетельствовать».

Примите его как человека достойного надлежащим образом, с непредвзятостью и справедливостью. И позвольте ему путешествовать и пересекать земли, владения, округи и собственности ваши в этом его странствовании безопасно, свободно и без всяческих препятствий. Как из внимания к выдающемуся мужу несравненного ума и художественного дара, светлого лекарского таланта и славного опыта, так и из почтения к нашей чести, знатности и милости всяческое содействие, покровительство и помощь оказывать ему. За это мы поощрим услугой всех вас и каждого в отдельности сообразно его состоянию, положению и достоинству с одинаковым старанием, усердием и благодарностью. А для пущей силы этого свидетельства и веры в него печатку нашу мы повелели привесить.

Дана в Кёнигсберге, дня шестнадцатого мая, лета от спасения мира через Христа 1530».

16 мая 1530 года Скорина, однако, не оставил Кёнигсберга. Он, видимо, ждал из канцелярии Альбрехта еще и послания виленскому сенату, которое вручили ему только 18 мая. Послание это было тоже от «Альбрехта из божьей милости», и в нем Скорина в первых же строках впрямую именовался «нашим подданным, дворянином и любимым нами верным слугой». Скорина — дворянин! Далее в тексте шла все та же настоятельная просьба князя «принять этого доктора Франциска как человека особо рекомендованного». И снова давалась широко развернутая аргументация того, почему принять. «Ради нашего имени и согласно нашему пожеланию, как требуют того правосудие и непредвзятость, чтобы его правое и справедливое дело не понесло ущерба и никто не осмелился причинить ему вреда, но к славному мужу справедливость и непредвзятость проявили. А если в его отсутствие что-либо из его имущества каким-либо беззаконием было отнято, пусть милостиво будет возвращено. И о нем, его жене, детях, а также о другом добре позаботьтесь и силою права от всякой обиды защитите». И все это писалось так, будто не было — без малого год тому назад — в Вильне приговора по делу Маргариты, будто решением тайного суда обижал ее виленский епископ Ян, а королевский суд именем короля Жигимонта не постановил дом возле рыночной площади в Вильне и все имущество при нем и в нем жене Франтишека Скорины «въжывати супокоине», «на вечные часы».

Нет, Франтишек, тут что-то не так. Почему же ты свои судебные дела представил князю Альбрехту запутанными и еще не решенными? Все ведь закончилось на том суде в твою пользу!..

Этот вопрос, однако, — еще полувопрос. Ведь то, о чем придется спрашивать Скорину уже на второй день после его отъезда из Кёнигсберга,

не поддается никакому описанию. Диво дивное, да и только! Положив себе за пазуху все три документа княжеской аттестации, поддержки и протекции, Скорина сделал вот что: уговорил безвестного до сей поры иудея — придворного лекаря и печатника Альбрехта Прусского — оставить Кёнигсберг и поехать с ним. Куда, зачем? По-видимому, в Вильну; по-видимому, печатать книги. Что, однако, мог пообещать лекарю и печатнику иудею Скорина? Что думал он при этом о князе Альбрехте, когда уводом его человека благодарил за письма к Гаштовту и в виленский сенат? Разве не понимал, что уговорить и увести из-под носа у князя необходимого для князя человека было грабительством среди бела дня, нанесением большой обиды Альбрехту? Какую цель преследовал он, обижая князя, от которого получил столь нужные себе рекомендации — пусть и ценою лжи, с помощью небылиц о жене и детях, о суде и запутанных своих делах? Зачем было макиавелльствовать, как бы вступать в соперничество с Боной Сфорцей, едва перешагнув порог княжеского дворца над Преголей и зная, что *obsequium amicos, veritas odium parit?*^[145] Вежливость и впрямь обеспечила ему приязненность князя Альбрехта. Но что возбудит в князе Альбрехте правда о преступном сговоре с иудеем?..

Как тут все нелогично — попросту не узнать Скорины! Человек, заимев то, ради чего в Кёнигсберг стремился, вдруг от всего как бы отмахивается — жестом самым широким, да еще плюет на все, да еще ногой растирает. К чему ж тогда было огород городить, зачем влюблять в себя, чтобы тебя разлюбивали, очаровывать собой, чтоб тебя развенчивали, чтоб охранные письма, тобой полученные, утратили силу или обладали ею только на то время, пока из Кёнигсберга в Вильну другие послания из канцелярии того же князя Альбрехта на имя того же воеводы Гаштольда не придут?! А они действительно пошли из Кёнигсберга в Вильну буквально через неделю — 26 мая — и содержали аттестацию Скорины уже полностью противоположную — не возвышенно лирическую. Увод Скориной лекаря и печатника иудея был для князя, по-видимому, столь неожиданным и ошеломительным, что с лихвой перекрывал его недавнюю очарованность Скориной. Князь Альбрехт на этот раз писал: «Сей дерзкий поступок человека вызывает у нас досаду, поскольку наносит обиду как нам, так и нашим подданным». И совсем уже иное «просим» торопилось в Вильну: «...просим Ваше славное величество, пусть разъяснят сему доктору Франциску Скорине несоответствие тайного вывода наших людей закону, и осудят его, и доведут до его сведения, что мы относимся к нему с неудовольствием и неблагосклонностью и что мы не ожидали от него такого незаслуженного поступка, как этот...» Короче

говоря, князь Альбрехт просил теперь осудить Скорину и одновременно отказывался от *прежних* данных ему рекомендаций, аннулировал их.

А ты, Скорина, спешишь с иудеем — лекарем и печатником — в Вильну, будто ничего там с тобой не случится, будто все твои три документа — сила. Спешишь сухим высоким берегом Преголи, топь, трясина — по ту сторону. Преголя течет спокойно, уверенно — в Кёнигсберг, под окна княжеского дворца. Остановись, Скорина, одумайся: ты же был назван там дворянином, даровитым педагогом, наидостойнейшим города Вильны гражданином, мужем необычайной эрудиции, несравненного ума и художественного дара, светлого лекарского таланта и славного опыта. Разве ты запамятовал, что тебя еще и верным любимым слугой называли? Где, кто и когда тебя так величал? Где такое признание ты имел? От кого такие лавры тебе достались? Остановись, Скорина, и поверни обратно в Кёнигсберг!..

Но Скорина не останавливался над Преголей, да и вообще никуда не думал возвращаться, кроме как в Вильну. Разумеется, ему нужен свой Лихтенберг, но может ли им стать князь Альбрехт Прусский, который только в свою веру и стремится его переманить? Он — фанатик и ослеплен прелестями лютеранства, а Скорине вовсе не по нраву лютеранский фанатизм, как, впрочем, и любой другой. Скориною князь Альбрехт увлечен совсем не потому, что он, Скорина, — литвин, а потому, что уста его обмываются многоводной рекой энциклопедии, что он — человек всеевропейский по своей учености.

И еще: пытаюсь найти в князе Альбрехте заступника, не ищет ли он, Скорина, для Белой Руси варяга? Нет, и впрямь, как справедливо говорил Бабич, не в ту сторону он выбрался на этот раз, не в ту!.. Если уж продолжать поиск, то лишь в том направлении, на которое указывал своим советом Бабич и куда им — ему, Бабичу и Онкову — путь не заказан: никто не задержит, если сам не воздержисься. Чистому душой и путь чист! *Ex oriente lux*. Солнце всходит на востоке!..

Но что ж это за удел — за горами, за долами искать себе заступника, опекуна?! Обидный удел, недостойный тебя самого удел, если ты самого себя уважаешь.

Что каким-то образом он обидел великого князя Альбрехта, сманив его лекаря-иудея, Скорина над тем не задумывается. Он все-таки человек Возрождения и чувствует право человека на полную вседозволенность и ничего особенно чрезмерного в том, что повел за собой человека, не видит. У него же, у этого человека, был свободный выбор: вчера он выбрал князя Альбрехта, сегодня он выбрал доктора Франциска. То феодал закрепощает

и только; приковывает к месту — и только; превращает в лакея — и только! А разве доктор — лакей, когда он — доктор? И разве лекарь — лакей, когда он для всех одинаков, помогая при хворях и богатому и убогому?

И как бы ничего такого и не происходило в жизни Скорины — будто расчетливо не жаждал он растрогать чувственного и доверчивого Альбрехта сотнями бед семьи своей, будто не было у него, горемычного, хождений по голгофам судебной тяжбы, будто не терзала его сердца неясность его книжного дела. Ехал себе спокойненько Скорина верхом на конике, ехал в своей черной мантии и красном берете, ехал сухим высоким берегом Преголи, а за ним — тоже на конике — поспешал иудей. Ехали себе спокойненько, и все. Это на той стороне Преголи трясина и почерневший непролазый травостой. А тут берег высокий, чистый. Лицо Скорины было светлым, улыбающимся.

А римляне правду говорили: *vultus est index animi*^[146]. Образом души Скорины было лицо Скорины, когда Скорина очаровывал собою Альбрехта. И образом души Скорины было лицо Скорины, когда он воспламенял словами своими душу лекаря-иудея, вознося ее, точно с земли в небеси, в свой замысел, в свой задор, в свою одержимость. Он ведь, Скорина, не был князем Альбрехтом, не мог пообещать иудею золотых гор. Он мог ему только рассказать про свое дело, полонить его своей идеей, своей неугомонностью, верой, надеждой, любовью. И он полонил лекаря-иудея всем этим.

За пазухой у Франтишека Скорины лежали аж три рекомендательно-величальных документа, адресованных великим князем Пруссии Альбрехтом Виленскому воеводе Гаштовту. Гаштовт — надежда. И рядом со Скориной — плечо в плечо — был новый помощник — иудей, печатник и лекарь, который, точно в омут головой, ринулся в дело Скорины. «Боже, помоги мне! — восклицал Скорина. — Я возвращаюсь, Маргарита, не в Кёнигсберг, а к тебе!..»

Франтишек Скорина не знал, что он возвращается в пожар.

3. СМЕРТЬ МАРГАРИТЫ

Вся жизнь Скорины распалась теперь для него на две части — до пожара и после пожара. До пожара, можно сказать, мир еще виделся ему в розовом цвете, после пожара он смотрел на него только сквозь стену пожара. Та стена пылала, и мир пылал — кроваво-красный огонь обдавал лицо Скорины жаром, слепил глаза. Он жмурил свои синие глаза днем, он

по ночам мало и плохо спал, и глаза его покраснели, мучили сильной режущей болью.

И никогда не думал Скорина, что чернокнижные силы га белом свете могут проявить такое сочувствие, оказаться столь жалостливыми!..

Сгорела на треугольной площади и пивнушка, где впервые в Вильне он встретился с паном Твардовским и дружной купой Прекрасных цветков средневековья. А потому пан Твардовский останавливал Скорину где-нибудь попросту среди лома и пепла — на пожарище и первым делом извинялся, просил прощения и торопливо заверял, что не он виновник виленского пожара, но что он — тысяча дьяволов! — тысячу раз кается, что будто бы накликать тогда огонь и на дом наиученейшего и налюбимейшего им доктора Франциска Скорины. И при этом он ловко срывал с головы свою шляпу с павлиньим пером и кланялся так низко, что аж подметал рукою со шляпой пепел пожарищ, словно заботясь о чистой и вольной дорожке для Франтишека:

— Что скверное, то не я! Что скверное, то не я!

Доктор Фауст смотрел на вещи, как всегда, философски — сквозь пальцы. «Что горит, сгорает рано или поздно, — невозмутимо обобщал он и выходил к еще более пространным обобщениям: — Человек сгорит в геенне огненной! Таков мир, таково человечество, что сгореть должно!»

Объективным, что ни говорите, оставался в неизменной своей трагической позе славный доктор магических наук — Фауст, который при всем при том даже высказал мысль, что огнем негрешно любоваться. Нерон Рим сжег? Сжег! Сжег ради чего? Чтоб полюбоваться, как будет гореть Рим! Так стоит ли переживать, если что-то из домашнего скарба или из печатных орудий в огне Виленском сгорело?! Не сгорело бы сегодня, сгорело бы завтра! А зачем ждать завтрашнего дня, если можно полюбоваться пожаром уже сегодня?!

— Где огонь, там поджигатели! — надоела объективистская философия доктора Фауста нефилософу Станьчику.

— А что, были-таки поджигатели?! — возрадовался пан Твардовский, который все еще убивался, полагая, что причиной виленского пожара стали его проклятия. Но если имелись поджигатели, дело круто менялось: осуждай поджигателей, а не себя.

Всезнающий доктор Фауст усмехался:

— А про богиню Грубите многочтимый пан Твардовский ничего не слышал? Богиню весны в языческой Литве? Последний раз торжества в честь нее весною этого года справлялись. Вот потому она и отомстила Литве! Нет?

С богиней Грубите пан Твардовский не был знаком, но так или иначе с той минуты, как прозвучало слово «поджигатель», он окончательно сделался убежденным оптимистом и теперь уже успокаивал измученного горем Франтишека Скорину:

— Тысяча дьяволов, пане мой! Бросьте бедовать: лучше семь раз гореть, чем однажды умереть!

И снова совсем неожиданно в этих обстоятельствах повел себя Голем, который вовсе не стал осуждать поджигателей и тем более огонь. «Глина в огне, — сказал он, — только силы набирается. Посмотрите, каким крепким да красивым я вышел из виленского пожара, точно жбан из гончарной печи! А будь я, ко всему, поливенный...»

Станьчик не сдержался:

— Хотите перещегоолять Рабичковичей?

Голем покраснел, но разобрать было нельзя, то ли это еще оставался на его обличье отблеск пожара, то ли это проступила так густо его стыдливость. По правде говоря, красивей всех на свете Голему и впрямь хотелось быть, но сей страстной мечты своей он особенно стыдился. Однако же если действительно хотеть чего-то, то уж хотеть в полную меру этого чего-то. И, поскольку и в самом деле душа без красоты несовершенна, как несовершенна и красота без души, то Голем, желая себе души, желал одновременно и красоты, вовсе не ведая, что подобных желаний ничуть не стыдятся.

Только ни философия Фауста, ни переживания Твардовского, ни обеспокоенность душой и красотой Голема— ничто в душе Скорины во время его мимолетных встреч с ними на пепелищах виленских не гасило боли и скорби, что жалили и растравляли душу Скорины на тех пепелищах. Вильна сгорела? Дом Маргариты сгорел? Печатня Бабича? Нет же! Сгорели его мечта, мысль, идея!.. Все внутри у него будто выгорело, будто гарью одной он дышал, и в горле у него все пересыхало, куском зачерствелого хлеба или жилистой воловины застревало, с питьем не глоталось. Он готов был ринуться в темные пущи — сбежать; он готов был броситься в быстрые воды — утопиться; он готов был оглохнуть, чтоб не слышать человеческой речи. И сколько дней и ночей липы и груши сухо пошумливали над ним покореженными в огне листьями, сколько дней и ночей волны Виленки и Вилии повиливали перед ним, устремляясь вдаль и как бы уводя его от его же отчаянья, растерянности, бездействия, апатии — сколько дней и ночей, кто знает?!

И те дни и ночи действительно сплыли. Не могли не сплыть, ибо разве вообще сгорели на его Белой Руси липы и груши, из которых его мастера и

челядники новых досок ему награвировуют, новых литерок и литер, виньеток навьрезают?! Разве пересохли и когда-нибудь вообще пересохнут волны Виленки, Вилии, Полоты, Двины, на которых новые мельницы бумагоделательные встанут, новые рулоны бумаги, да еще с филигранью местной — образами набыченных зубров и золоторогих оленей наизготавливают, напрессуют?! И разве ж умерла русчина Руси — язык, на котором Белая Русь его говорит, мечтает, поет, колыбельные слагает, с лютиями дружит?! Не мог, наконец, Скорина согласиться с тем, что мечта его в Виленском пожаре сгорела!..

Что, перед пожаром падать на колени, как перед Жигимонтом падал князь Острожский? Что, пожар — это ляхи, под власть которых боится подпасть воевода Гаштовт? Упрашивая ляхов, страшась ляхов, когда ж вы все-таки увидите силу, способную вас поднять с коленей, исторгнуть из молчания, из праха?!

Князь Острожский думал восстановить после пожара два своих в Вильне храма, как бы во второй раз поблагодарить бога за победу под Оршей. Как все же эти победители тщатся думать о своих победах! Хотя их летописец вроде бы не забыл, сочинив «Похвалу гетману Константину Острожскому»?..

Воевода Гаштовт, отредактировав Статут, уверовал, что власть его теперь на веки вечные утверждена есть!..

А в Кракове на Вавеле продолжал стариться Жигимонт, по-прежнему кивая в знак согласия совсем уже изъяловелой сединой своей пышной копны волос все молодой еще белокурой Боне, которая как в лихорадке обволакивала-оплетала паутиной своих интересов и Корону, и Великое княжество Литовское.

Каждый понимал себя и не понимал другого. Каждый! И просто заходила душа Скорины от этой застарелой обиды и боли. И еще одно его беспокоило — чувство вины: может, если бы не отлучался он из Вильны, ничего бы и не произошло. Может, оставайся он в том месте, где то случилось, того бы не случилось. Теперь Скорина был на том месте — прежнем, да вот только пустом. После драки кулаками не машут. Он и не махал, но и не делать ничего не мог.

Лихо-беда никогда не ходит по земле в одиночку. Так было и в тот 1530 год в Вильне, когда вслед за июльским пожаром на город налетел мор. В Кёнигсберге Скорину миновал английский пот — пощадила эпидемия, что лютовала там с осени 1529 года. Пощадила Скорину, да не пощадила его брата Ивана, который, возвратившись от сына Романа из Гданьска, поздней осенью 29-го года умер. Обойдет самого Скорину и мор 1530 года, но в

виленском дворце не станет в моровые дни князя Константина Ивановича Острожского. И еще до мора тяжело заболела жена Франтишека Маргарита.

Болезнь на пепелищах — дважды болезнь. Лето продолжало быть горячим: сушь июньскую сменила сушь июльская. Подповетье во дворе Маргаритино дома возле рыночной площади продувалось, как любое подповетье, по в знойной духоте того июля и здесь почти не остужался разгоряченный лоб Маргариты.

У Скорины хлопот набиралось, что лучше бы Маргарите и не видеть. Старшему их Симеонке пошел четвертый год, а зыбка младшенького, подвешенная в подповетье на перекладине, покачивалась рядом с высоким настилом, на котором лежала Маргарита: Маргарита рукой своей доставала до колыбели и покачивала ее, едва лишь Франтишек всплакивал. Сам же Скорина вынужден был отлучаться. Виленский епископ Ян только теперь, после пожара, поскольку в связи с бедствием у капитула появилось множество новых забот, предложил Скорине стать его секретарем. В другой ситуации секретарство Франтишека было бы для Маргариты одной лишь радостью, верной надеждой на быстрое их обустройство, а тут — о боже!..

Вообще Скорина встречался с виленским епископом Яном и до Маргаритиных судов. Своей подписью, например, он скрепил один из актов Литовской метрики еще в 1526 году — вместе с виленским ученым мужем Яном Сильвиусом и королевским секретарем Якубом Сташковским, доктором гражданского и церковного права. Тогда Скорина выступал в качестве свидетеля при подписании фундуша, данного слущким князем Юрием Семеновичем виленскому епископу Яну для создания прихода, заложения церкви и школы в деревне Вейсея Гродненского уезда. И, наверное, Скорине приходилось не однажды принимать участие в подобных делах, поскольку докторов наук, необходимых для юридического утверждения соответствующих актов, все же не так много было в Вильне, чтобы вновь и вновь не возникала нужда в услугах именно доктора Скорины. И вообще Скорина не мог не находиться в поле зрения виленского епископа Яна. Ведь разве могло не попасть в поле зрения епископа Яна хотя бы печатание Скориной «Малой подорожной книжки» в 1522 году, а затем «Апостола» — в 1525-м? Печатническую деятельность Скорины уж кто-кто, а епископ Ян держал в поле зрения, потому что следить за такой деятельностью попросту входило в обязанности епископа, потому что он был еще и ревнителем костела, потому что, наконец, его не просто выслали из Кракова в Вильну королева Бона и сам король Жигимонт. Считается, что виленский епископ Ян был на стороне королевы Боны, поддерживал ее в Великом княжестве Литовском. Правда, почему же

он тогда не дослужил епископом именно в Вильне, а получил вдруг назначение в Познань? В то время подобные перестановки благословлялись обычно Боной. Целых восемнадцать лет терпел междоусобные распри магнатов, а на девятнадцатый год — совсем незадолго до смерти — не вытерпел? Но в 1530 году Ян еще только одиннадцатый год пребывал в сане виленского епископа.

Что не союзник епископ Ян печатнику Скорине, Скорина не мог этого не знать с самого начала. Так почему ж тогда Скорина стал секретарем епископа Яна? Чтобы таким образом приблизиться к Гаштовту? Доказать сперва епископу Яну необходимость печатания Статута, чтобы тот уже своими устами довел эту мысль до ушей всемогущего в княжестве Альбрехта Гаштовта? Впрочем, материальное положение Скорины после пожара 1530 года было самым незавидным. А секретарь епископа не только человек, заседающий в большом Белом зале капитула, но и данник дороги. Не было уже брата Ивана, и, став секретарем епископа, находясь в разъездах, предустановленных епископом, Скорина получал одновременно и возможность послужить своим торговым делам, которые прежде вел сообща с братом Иваном. Положение Скорины осложнялось и тем, что он, как и вся Вильна, все Великое княжество Литовское, еще не оклемался от голода 1528 года. Скорина знал, что вслед за голодом обычно идут эпидемии — мор. моровое поветрие. Но в Вильну пришел тогда поначалу пожар, затем — мор. Скорина знал, что мор либо уносил жизни местичей и сельчан, либо поднимал города и веси и гнал их в пущи, непролазные болота, либо приковывал людей к месту — отрезанных от всего мира, осужденных на покорное ожидание исхода. На этот раз из Вильны выехать нельзя было. И проехать через Вильну тоже нельзя было. Свет словно кончился, а он продолжал думать о новых книгах, — по существу, о них прежде всего и заботясь, пошел он в секретари к епископу Яну. Дался ему этот Статут! Сиди да жги на сожженном подворье костры, отгоняй огнем и дымом поветрие от детей, от жены, от себя самого! Только не мор, по-видимому, свалил с ног его пчелу-хлопотунью Маргариту, — будь это мор, он проник бы и в грудь Симеонке, остановил бы давно сердечко и их грудного дитятки в липовой колыбельке, сыночка с его же именем — Франтишека. Дымно во дворе сожженного Маргаритино дома. Глаза выедает дым — глаза, однако не душу! И кипятку единственно доверяет Франтишек — им, спасительным, поит детей, отварами поит побледневшую Маргариту. Боже, спаси ее! Она — красивая! Она еще краше для него стала, родив ему двух сыновей. Гиппократ был бы доволен, увидев, какое светлое и чистое у нее лицо при беременности. А теперь?

Талый мартовский снег, вернешь ли ей прежний цвет лица? Но до марта ой как далеко!

И Скорина утром, вечером все пытается разгадать, что за хворь Маргариту мучит, обескровливает ей лицо. Он подслушивает тайны ее тела — подслушивает рукой, подслушивает ухом. Прощупывает пульс, каков он: сильный или слабый, учащенный или замедленный? Каждодневно проверяет цвет, запах, вкус ее мочи, потому что лишь такие способы распознавания недуга предписывает медицина его времени.

Он не в силах спокойно смотреть на ее тихую руку, в ее тихие глаза. Они для него как воплощенная жалоба. Особенно когда она складывает обе свои руки — ладонь к ладони, пальчик на пальчик, — и молитвенно прижимает их к заметно опавшим персям, и взор свой устремляет в немой мольбе на эти сложенные на персях — ладонь к ладони, пальчик на пальчик — руки. Кого и о чем она молит? Святую деву Марию? Она, может, и не жалуется святой богоматери, но ему кажется — жалуется. Жалобу, обращенную к небу, он адресует и себе, потому что с небом у него своя общность, свой разговор, свой расчет. Расчет не купеческий: ты — мне, я — тебе, а направленный на постижение тайны. Постичь тайну — возможно ли, не занимаясь расчетами, вычислениями, не следя за движением планет, всех девяти небесных сфер, вознесенных над грешной землей, — возможно ли без всего этого проникнуть в таинства земли и неба, жизни и смерти, рождения и умирания? И никогда еще не был он таким звездочетом, как сейчас, никогда еще не выпытывал так у звезд и созвездий, солнца и месяца их таинств, как сейчас, — ради нее, ради Маргариты, ради гаснущих ее глаз и тяжелых в неподвижности рук. Конstellация-сбег на небе планет и звезд, их узор, их движение — самые неблагоприятные. И Скорина не может изменить ни их узоров, ни их движения. Но об этом Маргарите ничего не говорит. Звезды молчат, солнце и месяц молчат, и молчит возле тихой Маргаритиной кровати Франтишек.

Почему он — не Гиппократ^[147], не Гален^[148], не Авиценна^[149]? Почему они не с ним, не приходят к нему? Молчание солнца, месяца, звезд всегда было понятным: они хоть и мудрые, да безголосые; не голосом передают людям свою мудрость, а тем, что уподобляются Геркулесу и Медведице, Лире-гуслиам и Андромеде, Гончим Псам и Дракону. Но почему Бабич молчит, Онков? Почему не помогают ему в его муке и горе? И, словно к ним — к своим друзьям, бежит он к книгам — в капитул, в его большой Белый зал. Книг там множество — и тех, что он уже читал, и тех, что еще не читал: «Канон» Авиценны, диалоги Галена, Гиппократа, книга о лечебных средствах, появившаяся в Страсбурге в 1507 году. И он читает:

«Тело наиболее здоровым бывает тогда, когда существует соразмерность во взаимосодержании частей, в соотношении силы и количества и когда они наилучшим образом перемешаны — кровь, слизь, желчь желтая, желчь черная...»

Да, это же так просто, это — по Гиппократу, и это каждый его собрат-лекарь знает. Конечно же, соразмерность, в необходимых долях слияние: чтоб лицо не желтело — меньше желтой желчи, чтоб не чернело — меньше черной, чтоб не бледнело — меньше слизи, а больше крови — и лицо опять зарумянится, зацветет, как мак, запунцовеет, как огонь. Но как смешать все эти желчи, как?! Не он ведь их смешивает, хоть и знает о смешивании, не он соразмеряет, хоть и знает о соразмерности. Скорина может смешивать отвары, запаривая цветы и травы, корни и растолченный в медных, серебряных и деревянных ступках жемчуг, выдерживая их на солнце, кипятя на огне, разложенном посреди их пожарищного подворья.

Но он благодарен книгам — за то, что многое припоминалось ему, пробудилось в нем, точно встало из небытия (может быть, так вот очнется от своей болезни, встрепенется, поднимется с постели и Маргарита?!). Он бежит с голосами книг в душе к ней, все их советы старательно выполняет, все наставления. Руки его дрожат, сердце верит, мысль надеется. Но разве дрожащие руки лекаря успокаивают больного? И разве не замечает она дрожание рук его? Чем тяжелее кубок с питьем, с отваром берет он в руку, тем увереннее становится его рука, тем увереннее он сам. Нужно, чтобы мне было все труднее, тогда ей будет все легче, — придя однажды к такому выводу, Скорина усложняет и усложняет для себя задачи, условия. Но, по-видимому, легчает от них лишь ему, а не ей.

Небо не выказывает милосердия, люди не помогают. Не одни ли только травы и цветы, листья и почки, корни и стебли-росточки и остаются его помощниками, заботливыми челядниками, призванными во спасение его лекарскими знаниями, лекарской практикой. Он возносится к полночным звездам и мыслью-разумом, и великой душой, но Маргарита этого не видит. Не видит она, и как жадно впивается он глазами в фолианты лекарственных книг, собранных при виленском капитуле. Он готов ослепнуть и от звезд и от книг, лишь бы ей возвратить зрение, лишь бы снова глаза ее радостно и ласково засветились голубизной, погожими ее переливами. И он слепнет и от звезд и от книг, но Маргарита видит только одно — будто бы целые боровые поляны душистых трав и соцветий он переносит на руках своих во временное их пристанище — в подповетье во дворе их сгоревшего дома возле треугольной рыночной площади.

Травы дурманят, одурманивают ее уже до сонливости, а от отваров ее

подташнивает. Все пузырьки, банки, бутылочки она уже узнает по запаху, цвету, вкусу.

Каждую свою отлучку, когда приходится оставлять ее одну, он оправдывает необходимостью являться пред светлые очи епископа Яна. Однако она догадывается, что не только в капитул идет он и сейчас. Она понимает, почему он тщательно окуривает их подворье. Она понимает, куда раз за разом отлучается ее Франтишек: он ведь лекарь, а в Вильне мор. Иной, может статься, и не пошел бы на подворья прокаженных, но Франтишек, она знает, не из тех: он пойдет. И она страшится за него, за детей своих, отца которых гибельное поветрие может так же скрутить, как сплошь и повсюду оно скручивает всех. Но Маргарита не спрашивает Франтишека остаться, она лишь наказывает ему, точно сама тоже лекарь:

— Возле окна стань, на сквозняке!

Кто же тогда не знал, что мор — это и мгла, густая, не уловимая глазом, и отравленный пар и что от зараженного человека он через дыхание переходит в здорового, вместе с кровью протискивается к сердцу и убивает его. О сердце Франтишека и беспокоилась Маргарита, умоляя, чтобы сквозняки дули не в сторону мужа, а от него, от окон, возле которых он встанет, в направлении больного и тех дверей, через которые ветер дыхание больного вынесет.

Но, пуская кровь, а тогда считалось, что с кровью, выпущенной из артерий и вен, истекает из артерий и вен отравляющий воздух, неосторожно устами захваченный, — так вот, пуская кровь несчастным, сваленным с ног моровым поветрием, Скорина все время оставался в руках у случая, а не в зависимости от того, стоял он при больных со стороны или не со стороны окна. Маргариту, однако, он всегда успокаивал тем, что лишь от окна давал советы занемогшим местичам.

И вот однажды, чтоб Маргарита не об одной только болезни думала, чтоб направить ее мысли на другое что-нибудь, Скорина сказал: «А знаешь, я поведал епископу Яну о моей заветной мечте и, надеюсь, доказал ему необходимость для Великого княжества Литовского книги нашей — русинской. Я, кажется, убедил его, что законы в Великом княжестве Литовском, о соблюдении которых так печется его преосвященство, только еще более укрепятся, если Статут будет напечатан и станет доступнее для поспольства. И для этой работы шрифты мои не сгорели, а готовы послужить, как и буквицы, и заставки, и виньетки. Его преосвященство выслушал меня очень внимательно и обещал поговорить обо всем с приятелем своим воеводой виленским, самим Альбрехтом Гаштольдом...»

Не куришь дым во дворе сожженного Маргаритино дома, не шатай

по Вильне мор, не припадай щекою выцветшей Маргарита к льняной, белой, как ее лицо, подушке — огромной радостью для Маргариты было бы это мужнино известие, несказанной радостью!

И спустя какое-то время, другим уже разом, когда еще более возбужденным вернулся с заседания капитула тоже весьма исхудалый и бледный секретарь епископа Яна доктор Франтишек Скорина, он снова как бы ненароком обмолвился в разговоре с Маргаритой: «А знаешь, сегодня его преосвященство епископ Ян сказал, что имел беседу с его милостью виленским воеводой Альбрехтом Гаштольдом и что тот проявил большой интерес к моему предложению, весьма внимательно выслушал его преосвященство и весьма благосклонно обещал в самом скором времени что-то предпринять определенное...»

Маргарита хотела доставить ему приятность со своей стороны — попыталась улыбнуться ему, но улыбка вышла такой квелой, такой беспомощной, что Франтишеку стало не по себе.

«Маргарита! Это ж ведь хорошо?»—голосом, как бы просящим у нее прощения, он только и спросил у нее, будто у самого себя. Маргарита еще сильней побледнела.

И спустя какое-то время, однако не третьим разом, потому что не во дворе сожженного дома жены Франтишека, а в великокняжеском канцелярии места Виленского дело происходило, Альбрехт Гаштовт имел с писарем своим Деодатом Септением не краткую беседу. Слышать ее не могли ни Маргарита, ни Франтишек, ни их дети — Симеонка и еще сосунок Франтишек. А шел в великокняжеской канцелярии — в самом сердце славного места Виленского — совсем не славный разговор; проклятие за проклятием сыпалось там с побледневших от злости и дрожащих от гнева уст воеводы Виленского Альбрехта Гаштовта, а небольшого росточка Деодат Септений, казалось, еще более ужаснулся и поник возле выпученного вперед пуза небывало разъяренного магната. Альбрехту Гаштовту будто не хватало воздуха:

— Э-э-эт-т-того проходимца, прройдоху, котторый ппопрал ччесть ммоего ннаилучшего приятеля Альбрехта Прусского!.. Эттого гггада, змия, пподдбирающегося и к ммоей гггруды!.. Схизматика! Яззычника! Ммой Статут — ему? Я е-ему так тискану — не пискнет! Я е-ему!.. Тиснуть Статут! Для кого?! Для быдла безродного, поспольства хамского?! Магнатам крови голубой — и то не каждому дам в руки! Радзивиллам, Ильиничу, Пацу, Черторийским — не дам, а он замыслил для свиней золотом писанный закон тиснуть! Довольно!..

В более продолжительной паузе, когда Альбрехту Гаштовту

потребовалось отдышаться, Деодат Септений все же осмелился вроде бы возразить:

— Скорина уже печатал книги — всем...

— Всем не достанется, если мы их сожжем! — взревел Альбрехт Гаштовт. — И пусть этот неуч радуется, что у нас все-таки есть Статут. Однако он, Деодат, не для него, — продолжал магнат, — не для него — помните это. Чего захотел?! Русчизна нас объединяет?! Нет у меня с ним ничего общего! Русчизны я на пагубу ни ляхам не отдам, ни полоцкому душегубу! Помните это, Деодат! Или вы помните наизусть только свои панегирики? Помните, что сей самозванный Лютер не должен дале находиться в нашем вольном крае! Вон его отсюда! Вон! Почему вы молчите?!

Деодат Септений отозвался тихонько:

— Он же честный человек, совершенный... Да и под юрисдикцией капитула, секретарь епископа Яна...

— Долой в таком случае и епископа Яна, и все капитулы, если они за смердючего купца! О, купца! Вы меня поняли?! Неужто первый человек в моей канцелярии меня не понимает? Пусть себе честный, пусть доктор, но, если купец, ловите его на его мошенничестве! Даже если и не мошенничает, объявите, что мошенничает, что долгов не отдает, что от долгов скрывается! Пустите, наконец, нужный слух, и вы найдете того, кто поймает его в нечестном деле за руку, и он будет наш! Наш!..

Альбрехту Гаштовту, однако, все еще казалось, что, ошарашенный его гневом, великокняжеский писарь его, Гаштовта, недостаточно понимает. И он снова заерзал, заговорил с раздражением:

— Это знают все, Деодат, а вы не знаете? *Aurum recludit cuneta!* Золото отмыкает все! Вам невдомек, что ли, кому оно не пахнет, кому руку позолотить, чтобы та железными клещами обхватила горло виновника?!

Но Альбрехт Гаштовт уже выдыхался, гневный пыл его угасал, и воевода становился философичней, рассуждая намного спокойней и чуть вообще не впадая в задумчивую мечтательность:

— Золото отмыкает, золото замыкает: если нужно — уста, если нужно — замки. И не обязательно башни Чертова Отца. Но тот, кто хочет быть Отцом то ли у черта, то ли у бога, пускай сперва посидит в темнице. И чем дальше она, темница эта, будет от Вильны, тем лучше. Отцом своим чужаки чужака не назовут. Отец нам единый пан бог в небе. Отец мне дед мой единый — славный Ян, и сам я не кто иной — отец... Некий там Скоринюк? Долго не покрутится на крючке! Не покрутится!..

И Альбрехт Гаштовт потер от удовольствия руки, и совсем уже

примириительно, пожалуй, чересчур даже добродушно после недавних вулканических выкриков зашептал виленский воевода своему секретарю Деодату Септению:

— Это же конец света настанет, досточтимый мой Деодат, если дать быдлу в лапы Статут, дать печатную книгу. Что ж ты, милый Деодате, конца света жаждешь или хотя бы конца этой великокняжеской канцелярии, где ты первейший писарь? А на что будет писарь, когда в великокняжеской канцелярии застучит печатный станок?

Деодат Септений конца великокняжеской канцелярии Альбрехта Гаштовта не жаждал.

Маргарите было худо. Совсем худо. И осознание этого пришло к Франтишеку во всей своей неизбывной тяжести. Он места себе нигде не находил: «Худо!..» Он казался себе ничем, ибо что он такое, когда ничем не может ей помочь? А ведь мог как будто все. Падуанские ученые мужи, удивленные, лишь молча кивали головами, когда он по Гиппократу, по Галену, по Авиценне, точно похваляясь силою и знаниями, отшпаривал ответы на вопросы, мудро ему заданные. С богом самим лицом к лицу был, став перед ним на колени, но долу головы не склоняя, только взгляд опустив. Тут голосов, задающих вопросы, не было. Тут, как перед богом, он опускался на колени возле ложа Маргариты, голову перед ней склоняя, глаза долу не опуская. Экзамен казался вечным уже — экзамен, который невозможно сдать...

Вслух тех слов не произносил, но согласно им поить отварами пересохшие уста Маргариты не переставал, слабеющий пульс внимательно прощупывал, черную венозную кровь изредка все еще пускал. «*Ut aliquit fiat. Ut aliquit fieri videatur*» — были те слова: «Хоть что-нибудь делать, дабы казалось, что что-то делается». Так поступали до него все лекари, когда уже не могли ничем помочь; так будут поступать после него все лекари, когда ничего уже придумать не смогут. Понимание своей беспомощности, чувство безнадежности, унижительные до слез, повергающие в прах, Скорина пережил еще возле смертного одра Одверника. Там уже была жалкая попытка спасения — там. Но там она предпринималась ради живой Маргариты, а тут — тут она была связана непосредственно с ней и только лишней раз подтверждала неизбежность страшной утраты. И эта безысходность мучила его, и казалось, что вот-вот он сам не выдержит — потеряет сознание.

Но сознания Франтишек не терял. И видел не только, как измученно поднимались и опадали Маргаритины перси, будто их давили пудовой

тяжестью тонкие и бледные руки, скрещенные на них. Видел не только немеющий взгляд поблекших, пригасших глаз, но и, как некогда на пальце Одверника, того же достоинства и лишь поменьше размером да поискусней работы перстень. День за днем, час за часом, как и глаза Маргариты, пригасал тот перстень — подарок Маргарите Юрия Одверника. С подарками у них было бог знает что. У них — это у Маргариты и у него, Франтишека. Ведь перстень Маргариты вроде как был подарком Одверника и ему, Франтишеку. Подарком на счастье или на горе? И на счастье, которое одновременно явилось и горем — смертью Одверника. И на горе — вот это, которое случилось теперь уже с его Маргаритой!..

А тут еще и память о той песне:

Любил тебя девицею,
Люблю тебя молодичею,
Еще семь лет ждать буду,
Пока станешь вдовицею.

«Не ждал я семи лет! Не желал я семи лет!..» — кричит мысль Скорины — исступленная, неистовая. Страннику, каким всегда был он, разве позволительно заводить семью — страннику и книжнику?! Он же ведь согласился, чтобы книга забрала у него все, даже светлый облик Маргариты. В жизни, чтобы что-то сделать, нужно чем-то жертвовать. И вот он, печатник, сознательно пожертвовал Маргаритой. На что согласие дал, то и случилось. И после он уже не желал ничего, не ждал никого. Ни семи лет, ни даже одного года. Но его постоянной памятью о ней была попытка увековечить ее лицо — в его Библии. Не мог же он лишь собственное изображение оставить, не мог не прославить ее, хотя и не свою, — с самым красивым для него девичьим лицом, с распущенными, точно у русалки, волосами, с веночком из цветов над выгнутыми, как ласточкино крыло, бровями. Однако это было лишь воспоминанием о ней, мечтой, грезой. Было прощанием с нею, с молодостью, было отречением от нее. «Не ждал я, не ждал я семь лет, пока станешь вдовицею!» — вновь и вновь этим криком своей души стремился он избавиться от чувства вины перед Юрием, как пробовал уже не раз и прежде, но и сейчас ничего у него не выходило, но и теперь не мог он утвердиться в справедливости. Ведь гаснет же на пальчике, гаснет Маргаритин глазок — подарок Одверника. Забирает Одверник Маргариту к себе, забирает. Забирает или отбирает? Подарил, чтобы забрать? Подарил столь ненадолго: хоть бы семь лет

обождал!

— О боже, снова эти семь!.. — вслух простонал, сам того не желая, Скорина.

— Семь? — переспросила тихим, невнятным шепотом Маргарита. — Семь вечера? — спросила. — Дети... спят? — спросила. Франтишек с трудом разбирал ее слова.

Дети спали. Было уже далеко за полночь. Не спал всю трудную ту ночь лишь Франтишек — ночь долгую-долгую, в продуваемом подповетье на пепелищном Маргаритином подворье под густозвездным пологом. И будет вспоминать ту ночь Скорина до конца дней своих. Ночь стояла безмесячная, и звезды высыпали крупные. Какое было тогда число? А впрочем, не все ли равно: это у дня есть дата, у ночи даты нет, какая она ни долгая, какая ни темная. И Скорина сидел, замерев как статуя. Маргарита бредила, тяжело дышала — с прерывистым хрипом, и хрип тот возникал в ее груди все чаще. Начинался бред, и холодный пот выступал на челе Скорины. И по просторному Маргаритиному подворью возле треугольной рыночной площади, и по всем улицам и переулкам Вильны вообще расползались, выбираясь из земли, мокрые блестящие дождевые черви — предвестники мора, как все тогда полагали. Скорина топтал тех червей и одновременно как бы видел себя топчущим их — заядло, остервенело: «Вытопчу — потопчу — вытопчу, Маргарита!» И то ли на пропахшем дымом подворье Маргариты, то ли на обезлюдевшей рыночной площади напротив пустых, выгорелых окон Маргаритино дома, то ли по всем половицам Вильны стали выползать и змеи, и другие гады — предвестники мора, каковыми все их тогда считали. И Скорина топтал и их и опять словно сам себя видел, как топчет их, хоть они и жалят ему пяты, обвивают веревками ноги. Топчет, однако, топчет он их до изнеможения, до холодного пота. Маргарита! Туман забелелся уже, пробиваясь на ее подворье и вкатываясь волглою волною в подповетье, подступая к ногам Скорины. Туман — кому это не известно? — первый сват мора! И видит себя Скорина: он пытается топтать и туман, однако тумана его нога не чувствует, ни в чем не вязнет, просто упирается в землю — упирается! Как же растоптать мглу-туман? Как?!

Восход солнца в продуваемом подповетье на пепелище Маргаритино подворья, над еще не остывшим Маргаритиным телом встречал уже только он один — вдовец Скорина. Красным глазом глянуло то холодное солнце на Вильну. И показалось Скорине, что это никакое не солнце, а шар. И не знает он, в какую из двух ваз бросят этот красный шар мудрые экзаменаторы Падуи — все ее 24 профессора и среди них сам приор —

Тадеуш Мусати? Зеленая ваза — неодобрение мудрецов, красная — их признание, что экзамен Франциском, сыном Луки из далекого Полоцка, сдан успешно. Но красный шар солнца, всплыв над Вильной, спокойно поднимался над нею выше и выше, не скатываясь ни в какие вазы.

«Кто ж это сказал: amor vincit omnia?! Любовь побеждает все?!» — посматривая на молчаливое солнце, с неистовством думал Скорина, и в душе его разрастался болью, растерянностью, отчаяньем единственный вопрос: почему же его любовь к Маргарите не одолела всего лишь ее смертельного недуга?!

Познаньская эпопея, или глава седьмая, последняя и самая невеселая, повествующая о сто девятнадцатом дне и сто двадцатой ночи в познаньской тюрьме Франтишека Скорины — секретаря и придворного лекаря виленского епископа Яна, а также о том, как в тюрьме вели себя давние знакомцы Великого Печатника доктор Фауст, пан Твардовский, шут короля Жигимонта Станислав Станьчик, человечек из глины Голем и другие.

Нет разума против правды.

Мартин Бельский (1495—1575),

автор «Хроники всего мира»

В мае месяце 1532 года в Познани Франциск Скорина, неожиданно для него, был арестован познаньскими магистратчиками и брошен в тюрьму. Задержали его на основании официальных документов вавельской канцелярии, скрепленных именем короля Жигимонта. В Познань Скорина приехал как секретарь виленского епископа Яна — по делам виленского капитула. Но был задержан как лицо не сановное, а частное, якобы задолжавшее деньги варшавским купцам Лазарю и Мойше — сыну и зятю варшавского еврея Мойши, прозванного Мойшей Старым. Это было уже не судебное дело, что началось еще при жизни Маргариты — сразу после смерти брата Франтишека Ивана, — это была расправа. Попранными оказались и юридическое право, и само достоинство Франциска Скорины

— секретаря виленского епископа Яна, доктора наук, просто человека и просто сына купца и брата купца. Битву со своей стороны Скорина повел не на жизнь, а на смерть, и потому она и переросла в эпопею скорининской жизни — так называемую познаньскую.

Документации познаньской эпопеи сохранились полностью: и два предписания с Вавеля на арест Скорины, и два распоряжения от имени того же короля Жигимонта освободить Скорину, а также материалы судебного разбирательства от 17 июня 1531 года. Своеобразным прологом к 1532 году были события 1529 года, когда в Познани Скорина и его племянник Роман побывали первый раз и когда по всей тогдашней судебной форме Роман рассчитался со всеми, кому его отец при жизни задолжал. «Со всеми», — так думал Роман. «Со всеми», — так, по-видимому, полагал и его дядя Скорина. Ведь и впрямь все, кто предъявил иск, были удовлетворены. О тех же, кто этого иска на то время не предъявил, — что о них мог знать Роман, а тем более — Франтишек Скорина?!

Отец Романа умер в июле 1529 года. 23 октября 1529 года городские власти Познани произвели протокольную опись и оценку шкур, ранее конфискованных ими в подвале Якоба Корба — купца познаньского. Всего было описано и оценено 47 468 шкур, так что купеческий размах у брата Франтишека Ивана был весьма внушительным и торговал брат Иван не без участия Франтишека и его жены Маргариты. Вслед за описью и оценкой товара товаром же Роман и рассчитывался с претендентами на имущество покойного, как-то: с Клаусом Гоберландом — купцом и радчиком познаньским, которому он положил товара на «пятьсот минус четыре злотых польских»; с женой Франтишека Скорины Маргаритой, которой передал — через Франтишека Скорику — товаров на сумму в двести четыре копы польских грошей; с самим Франтишеком Скориной, который получил двадцать венгерских дукатов как возмещение расходов, понесенных в тяжбе, и одиннадцать коп — за отрез ливонской ткани, который был должен ему брат Иван. Наконец, Роман рассчитывался и с Ешкой Стефановичем — слугою умершего отца, удовлетворившимся за десять лет своей службы ста копами литовских грошей, и с Барбарой Корбовой — вдовою Якоба Корба, — которой было выплачено пятнадцать злотых за хранение шкур в подвале и еще пятнадцать в погашение ссуды, взятой у нее когда-то купцом Иваном «на определенного возчика». В документе против фамилии каждого из кредиторов значилось, что каждый из них Романа Скоринича от долгов освобождает и отпускает «свободным как наследника навсегда и навечно». И действительно, если сын должника Ивана Скорины отпускался его кредиторами «свободным... навсегда и

навечно», то каким же образом мог попасть в несвободу ненаследник Ивана Скорины Франтишек Скорина?..

Нельзя сказать, что Роман очень торопился избавиться от кредиторов: отец умер в июле, и до октября оставалось три месяца — срок немалый. Почему же тогда не объявились варшавские заимодавцы Ивана Скорины? Познаньский торговец Клаус Гоберланд успел со своими претензиями вовремя, они же — не успели? Зато успели добраться до Вильны, как то свидетельствует из первого указа короля Жигимонта против Скорины, где имеются слова короля: «Когда мы совсем недавно были в городе нашем Вильне». Первый указ против Скорины датируется 5 февраля 1532 года. «Совсем недавно» для короля Жигимонта, по-видимому, означало конец 1529 года, когда он верховенствовал на суде Маргариты, а потом — на сейме, на котором избирался Жигимонт Август. Выходит, Клаус Гоберланд знал, где истребовать долги у Романа Скорины, а вон какие дельцы — старый Мойша с сыном и зятем в Варшаве — о том не догадывались, но перед отъездом короля из Вильны к нему из Варшавы в Вильну подскочили. Зачем? Видать, не слишком их занимали шкуры в подвале Якоба Корба в Познани, — для них куда важнее было бросить на Франциска Скорину тень, опорочить его в глазах короля Жигимонта уже в Вильне, уже в конце 1529 года, чтобы, подготовив почву, примерно год спустя приехать на Вавель и требовать дискриминации Франциска Скорины. В Вильне жалоба касалась невозвращенных 266 грошей, притом дельцы уверяли Жигимонта, что Франциск Скорина «взял себе все добро брата». И это, по-видимому, говорилось одновременно с тем, что делал в октябре — ноябре Роман Скорина, рассчитываясь с кредиторами, и о чем не могли не знать варшавские купцы. А что нового сообщили варшавские купцы королю при выпрашивании у него санкций против Скорины перед тем, как получили-таки их 5 февраля 1532 года?.. Из первого указа Жигимонта явствует — что именно: «Названный доктор Франциск бежал из города Вильны, переезжает с одного места на другое, бродяжничает и произвести им выплату означенной суммы не хочет». Но ведь такова была служба, и секретарь Виленского епископа Яна и впрямь не мог не оставлять Вильны, не мог не переезжать с одного места на другое по делам епископа Яна и виленского капитула, но это вовсе не означало, что он от чего-то увиливает, бродяжничает. Он просто выполнял функции секретаря виленского епископа, а в Вильне еще и лечил самого епископа Яна, душой своей не думая и не гадая, что неким варшавским торговцам он чего-то там задолжал. Но как раз в то самое время он был уже определен первым указом короля Жигимонта как «человек беглый и имущий». А потому

бывшим кредиторам Ивана Скорины разрешалось, где бы они сами, либо их поверенные, либо слуги ни обнаружили его, Франциска Скорину, сообщить местным властям, а тем, в свою очередь, предписывалось задержать и не освобождать означенного Скорину до тех пор, пока 266 грошей заимодавцам возвращены не будут. Местом, где решено было выследить Скорину, варшавские купцы избрали Познань. И как только оказался Скорина за воротами Познани, тут же другие ,ворота перед ним распахнулись — магистратской тюрьмы. Задержан, таким образом, Скорина был, но денег от него кредиторы не получали, а время шло. Время, которое поначалу кредиторы, наверное, сами тянули, сами судебную волокиту затевали. И магистрат Познани, по-видимому, не в силах был убедить Скорину в его якобы очевидной неправоте. А может, Скорина стал уже завоевывать симпатии у бургомистра или радчиков, ведь если он мог их завоевать у Лютера и Альбрехта Прусского, то почему не мог завоевать у магистратчиков познаньских? Варшавские купцы тут определенно забеспокоились. Иначе почему они во второй раз отправились на Вавель? И произошло это уже в начале мая — спустя три месяца после получения кредиторами первого указа короля, санкционирующего арест Скорины.

Скорина, разумеется, не знал, что же вменялось ему в вину в первом указе Жигимонта, а затем и во втором. А когда все открылось на допросах в магистрате, он поначалу просто поверить не мог, что в *таком* способен *его* обвинить король Жигимонт, пусть он даже и не запомнил его по делу Маргариты в виленской ратуше.

Из второго указа Жигимонта по делу Скорины, врученного варшавским ростовщикам 2 мая 1532 года, можно узнать много чего нового. И прежде всего то, что в поимке Франциска Скорины варшавские купцы выказали исключительное рвение. Король весьма легко нашел, за что похвалить непосредственных исполнителей его первого указа. И король Жигимонт хвалил: «Мы одобряем старание ваше, которое вы проявили при выполнении нашего указа, представленного вам евреем Мойшей». Сумма скорининского долга в новом указе определялась уже в 206 коп грошей. Но в это же время старый Мой-ша из Варшавы уполномочил Якоба Бжоску, еврея из Познани, ходатайствовать о выплате ему Франциском Скориной 412 флоринов. Аппетиты барышников росли!

Росло, однако, и сопротивление Франтишека Скорины. Минули уже давно первые дни, когда он возмущался, недоумевал, впадал в немую протрацию. Теперь его все чаще охватывало отчаяние: дети же дома остались! Какой там досмотр без него? Как там они вообще без него?! Была да прошла уже и надежда, что это — недоразумение. Исчезла уверенность,

что не сегодня, так завтра, послезавтра все разрешится. Сколько этих «завтра» и «послезавтра» превратилось во «вчера» и «позавчера»!

Итак, варшавские ростовщики то сначала тянули дело — ни сами они, ни их поверенные на вызовы магистрата внимания не обращали, в магистрат не являлись, — то вдруг решили еще одним королевским указом подстегнуть неспешно тянущуюся тяжбу. И били они тем вторым указом снова по Скорине, а заодно и по самим познаньским магистратчикам. Для последних ведь напоминание короля было всегда велением короля служить ему еще усердней — в данном случае решительней и расторопней осуществить «надлежащую и немедленную справедливость в отношении названного Франциска...» Вот именно: «немедленную»! Это было явное насильственное ускорение дела. Скорина тем самым оказывался у ростовщиков в мешке — только что не завязанном. «Завязать! Завязать!..» — не терпелось им.

Того, что Скорина, словно каторжник с какой-нибудь галеры, рискнет бежать из тюрьмы, варшавские ростовщики не опасались. Но что, если он примется по их примеру подкупать радчиков, лавников, бургомистра? Вот и нужно, чтоб в мешке был, нужно, чтобы ваша королевская милость еще раз подтвердила познаньским магистратчикам: «Не освобождать этого доктора Франциска до тех пор, пока над ним там же, на месте, не завершится правосудие. И иначе не поступать...» Иначе не поступать! Это воля короля — слышите, магистратчики! В правосудии оба Мойши — отец и зять, а с ними и сын Старого Мойши, — уверены. Они знают, чем завершится правосудие. Конец обманщику!

В Познани короля Жигимонта магистратчики слушались и освобождать Франциска Скорину никто не торопился. Торопились только, очень торопились закончить тяжбу кредиторы Ивана Скорины. Торопился в те дни и еще один человек — племянник Франтишека Скорины. Торопился из Гданьска, где служил, на Вавель — к самому королю Жигимонту. Франтишек Скорина о том не знал, и тем более король Жигимонт, который одобрял в своем указе старание познаньских магистратчиков.

Любой подвал любого дома, любая пивнушка и на любом подворье могут стать тюрьмой, если нет справедливости, а есть на свете запоры железные, замки и ключи, чтобы ими замки закрывать. И даже необязательно, чтоб окно было зарешечено. Подпол может быть и без решетки. Решетка — это признак уже цивилизованной тюрьмы. И сидел Скорина просто в темном, хоть глаз выколи, подполье-подземелье — только узенькие щелки в массивной, окованной железом двери, через которые не то что комар, по и лучик света чуть пробивался в черную сырость его

тюрьмы. Не по этому свету в двери считал он сутки, а по приходу привратника, что приносил ему темное пойло из воды и чего-то еще то ли из дубовой коры, то ли из горькой полыни, что выдавалось за хлеб. Правда, дверь тогда со скрежетом отворялась, и обильный дневной свет слепил Скорину почище самого яркого солнца в зените — так, что в глазах, привыкших к темноте, больно покалывало.

Иногда он даже мечтал о решетке, чтобы помериться с ней силой рук, приткнуться к ней горячим лбом. Руки — словно связанные, разум — словно связанный, как в любой тюрьме любого времени. И ты — ничто! Доктор наук? Под охраной капитула, под защитой епископа Яна? Нет, и не доктор, и не под защитой, ежели руки тебе за спиной скрутили и, хоть ты и не упирался, в спину кулаками толкали и с видом победителей гнали перед собой как вершители правосудия. Да, был такой приказ, да, они — исполнители. Тем, что отдавали приказ, дано все знать, а исполнители — всего лишь исполнители. Что ему, Скорине, обижаться на исполнителей?! Его негодование вызывают те, кто задумал всю эту мерзость, кто заимел на нее бумагу. Как они заимели ее: выпросили, вымолили, попросту купили? Заимели! От самого короля Жигимонта! На Вавеле. Может, и от Боны, от ее канцеляристов. Кому и сколько они заплатили? Какая Скорине разница! Но Скорина знает, кто платил, — тот, кто обвиняет его, кто выпрашивал бумагу на арест его, кто сделал его в глазах короля вором, разбойником, бродягой беспутным, должником, лгуном. Но зачем это нужно старому варшавскому Мойше, чтобы он, секретарь Виленского епископа Яна, сидел тут, — зачем была ему эта тяжба, которую он может не выиграть, потому что он, Скорина, невиновен, — все ведь очевидно! Подкуп писарей из вавельской канцелярии — дело весьма дорогое. Скорина это знает, как, собственно, и все в королевстве и княжестве. А первый пример тому — Бона, от нее пошло: она берет, продавая претендентам должности, староства, берет и ее челядь — канцеляристы, только уже кладут в свой карман, а не в карман Боны. И все-таки зачем старому варшавскому Мойше было раскошелиться столь щедро на сомнительное предприятие, да еще дважды раскошелиться, поскольку два распоряжения на задержку Скорины он получил на Вавеле? И даже тогда, когда Старый Мойша выигрывает тяжбу, покроет ли вырученная по делу Скорины сумма затраты на вавельских писарей? «А может ли пойти торговец на гешефт, который для него не окупается?» — вот мысль, досаждающая Скорине. «Гешефт непременно должен приносить торговцу барыш. Что же тут перепадет Мойше?» — не устает думать Скорина. Думай, Скорина, думай!..

...Когда человек один, он — вовсе не один, он — лишь наедине со своим прошлым. И видит сам себя Скорина в разных своих ипостасях. Как, однако, эти ипостаси не похожи одна на другую — как будто не одного человека они. Вот перед Скориной белоголовый хлопчик — чуб выгорел на солнце, чуб тот словно дозревающее жито. И прижимается хлопчик к плипфе полоцкой Софеи, точно к светло-розовой заре. Скорина спиною как бы ощущает и сейчас тепло той плинфы, особенно когда ненароком прислонится к сырой, заплесневелой стене своего подземелья...

Видит себя явственно-Скорина и в голубпице Софеи: вязь кириллицы — Франтишек не налюбуется ею! А вот он в костеле бернардинцев. Первый урок латыни. Латинские буквы круглые-круглые — бокастые, как маленькое солнце! Он потому, наверное, и делал более круглыми, более бокастыми буквы своего шрифта, чтобы каждая из них непременно походила на солнце.

Солнце связано с небом, как небо — с солнцем, а костел бернардинцев был еще для Скорины с самого детства воротами в небо — воротами, соединенными с небом, и ему казалось, не через них ли проходил сам Христос, прежде чем вознестись на небо. Теперь же вспоминались перво-наперво пять бернардинцев — сверкающие кресты, заткнутые за пояса, как мечи. Отвадили бернардинцы его, взрослого, от своих ворот мигом, когда он по приезде в Полоцк к своему брату Ивану заглянул и к ним.

«Брат Иван! За твои долги я тут...» Однако нет обиды у Франтишека на брата. Не за брата ведь он здесь. «Что-то не *так* тут, брате Иване!..» Но разве можно так обращаться к умершему? Не грех ли это? Но если у тебя уже нет брата на земле, а есть только в небе, то разве перед Вратами Небес нельзя так обращаться к брату?..

— Нельзя! — рычат пять дородных бернардинцев — серебряные кресты, заткнутые за пояса, справа под рукой у каждого. Но, присматриваясь к каждому, Скорина вдруг начинает распознавать в них вовсе не бернардинцев. Вон серебряный крест под рукой одного из них превращается в серебряный ключ, а следом на месте светлородного ключника встает полная высокородства фигура апостола Петра — с ключами от рая в руке. Хотя и без ключей в руке, но такими же стражниками у входа в рай Скорине видятся сейчас уже очень отчетливо и с большим горбатым носом Мартин Лютер; и черный, что головешка, Магомет — прославленный; и папа римский Адриан; а вот и сам Будда — толстяк с круглым-круглым лицом, аж расплывающимся в улыбке от удовольствия. А Скорине совсем не радостно: сколько ж этих стражей на земле при Вратах Небес! О боже, сколько!..

А в небо надобно собираться. И вот он собирается Но пока что не в небо — в дорогу. Вот и собрался уже — в свою первую дорогу, в Краков. Мать утирает слезу. На его ногах вышитые ею — мереей — поршни. На плечиках — кафтан-кабат, хоть из норского, самого дешевого, но все же из сукна. На голове — картуз, чтоб не продували ветры. Мальчонка худощав и тонок, отчего и кажется высоким, хотя высоким никогда не был. Сейчас Скорина, правда, еще ниже, чем был всю жизнь. Годы взяли свое, пригнули его, ссутулили. Ссутулили не одни лишь годы, но и печатный станок, конторка, за которой столько просидел, выводя слова, читая, переводя. За конторкой — это любимый его собственный образ, как на портрете в книге Иисуса Сирахова. И — главный!

Каким он был тогда, однако, молодым, хотя и пристарил сам себя на портрете. 28 или 32 было ему тогда?.. Он точно знал, сколько ему было. Мысленно сравнивает себя нынешнего с тогдашним... Само спокойствие! Человек уверен в себе, сосредоточен. Он — весь в работе, в мыслях, в книге. Все под рукой, и все как бы в собственной руке: жизнь, судьба, будущность. И — главное — он тут, на портрете, словно без бога, точно вне его. Портрет в священном писании, в книге о боге, а человек на нем — среди вещей, среди фауны и флоры, среди предметов быта и даров природы. Он — таков! Человек при боге и сам по себе бог, вышедший на свой путь и совсем не думающий, что путь этот — Голгофа, что мука — удел, назначенный человеку. Нет, человеку предначертаны уверенность, покой, труд. Крест — не его, он — Христов. А каким бы нарисовал себя Скорина сейчас — себя в этой тюрьме? Себя после смерти Маргариты?.. Себя, семь лет не имеющего возможности стать за печатный станок?.. Волос теперь не нужно будет подбирать под тонкую ленточку, чтоб не мешали глазам при вычитке или письме, ибо давно уже залысины врезались в его чуприну, делая все более высоким, сократовским его лоб. Хотя... Берет надел бы и мантию надел бы и сейчас. Но какое выражение придал бы он своему лицу на сегодняшнем портрете? Ясно, что не спокойствия! Какое спокойствие, когда столько пережито, когда столько морщин легло на чело и разбежалось двумя веерами от глаз, как лучи от солнца. Глаза его по-прежнему полнятся густой голубизною, губы пунцовеют, как у молодого, как нецелованные. И лицо все время загорелое, обветренное: он все время — человек дороги, Одиссей. Но этого на гравюру не перенесешь. Только черными извивами краски живет гравюра, и если те извивы так пристарили некогда его молодое лицо, то как бы пристарили его сегодняшние морщины! Четырнадцать лет, дважды по семь, две семерки — эти семь да семь лет его жизни, ожиданий, усилий — эти

две семерки словно содержат в себе некую фатальность. Так что же, печать фатальности легла бы сегодня на его обличье, если бы он свой новый портрет вырезал? Нет и нет! У человека всегда ведь впереди надежда. И он, Скорина, сегодня с портретов своих лишь напряженнее всматривался бы в грядущее, и взор его предупреждал бы, что всякое там, впереди, может быть, что разное там, впереди, есть: добро и подлость, искренность и коварство, рождения и смерть. И радость охватит сердце, и боль сожмет. Жди и того, и того. Будь смелым. В лицо бьет, хлещет и просто ветер, и ветер времени — вечности. Он смотрел бы сегодня в вечность сегодняшним непокоем своей души. Не спокойствием давнего портрета, а непокоем мудреца, насколько мудрецу непокой присущ. Ведь разум, склонный все объяснить, всегда себе все и объясняет, а потому он всегда спокоен. И лишь бы отчаяния вы не увидели на моем лице — а еще растерянности, жалобы, мученичества. Доктора — не мессии, а ученые; печатники — не мученики, а работники; лекаря — не утешители, а врачеватели. Только разумом самым совершенным и хотел бы он смотреть со своего нового портрета — разумом, истиною вдохновленным, чтобы всех призывать к разуму, к доброму, славному, вечному, к человеческому. Разумом, который знает всё — даже то, что все знать невозможно. И такой портрет он себе еще выгравировывает: вот будет печатать новую книгу и в новой книге тот новый портрет свой и поместит...

Мантии. Мантии... У датского короля писарем — в мантии. Перед профессорами в Падуе — в мантии. На облучке фуры перед Вроцлавом — в мантии. Свидетелем по делу слущкого князя — в мантии... Как будто в мантии родился. Да он уже просто сам себе опротивел в этой мантии!.. И Скорина готов себя видеть кем угодно, но только не человеком в мантии. И он сейчас бежит от нее на вавельский детинец, а с того детинца торопится в бурсу — на улицу святой Анны, бывшую Жидовскую. Их восемь записалось из Литуании — вместе с ним, в тот год, когда он пришел в Краков таким, каким отравила его мать в большой незнакомый мир. Если б, однако, знала, что ждет его в бурсе, то разве ж отравила бы?! Прокурор во Вроцлаве кричал: «Мало вас били в Краковской академии!..» Немало. Всем восьмерым из Литуании перепало достаточно, и не столько от магистров, не столько от надзирателя бурсы, сколько от своего старшего камрата — бурсака. Магистры — те били по руке линейкой, ставили в угол на колени, посыпав на пол гороху, не забывали в злости и о березовых вениках. А бурсаки — те изгоняли из прямодушных первогодков простака. Хама изгоняли, смерда. Сам Скорина вряд ли задавался вопросом, почему его время так не любило смерда, простолюдина? Но ведь не любило. И

потому отчасти, что шляхтич считал смерда трусом, который не взялся за меч, а схватился за рало. А что на свете появилось прежде — рало или меч? Древней оказывалось рало, но почеть отдавалась мечу. Мечу и кресту — младшему брату меча, похожему на меч: возьми меч не за рукоять, а за лезвие, и вот уже меч над тобой — крестом, Но зачем скребли им спины, словно тупиком в его отцовской хате шкуры на юфтевые сапоги, — отскребали их молоденькие спины — точно от коросты, точно от скотиньего запаха, точно от дегтя? Это в целом и называлось изгнанием простака. И, как все литуанцы его года-прихода, Франтишек должен был не гнусава, а со всей пафосностью декламировать обязательную для всех новичков деклинацию^[150] хама — склонять его оскорбительные клички в разных падежах:

Тот грубиян
того хамулы
тому дьяволу
того жулика
о грабитель!
тем разбойникам

те окаянные
тех мошенников
тем лгунам
тех лентяев
о мерзавцы!
теми коварными

Вот из каких ипостасей хама переводили в элиту первогодков-бурсаков их старшие камраты! Те была традиция! Традиция университетов Европы! Первогодки при декламации тыкали друг в друга или один во всю остальную компанию пальцем и выкрикивали что было мочи: «Тот грубиян!..», «Те окаянные!..» — и трясли над головой кулаками: «О грабитель!..», «О мерзавцы!..» Но, видя себя сейчас в шеренге декламаторов деклинации хама — себя, нескладного подростка, худощавого, волосы на голове копной, — Скорина заулыбался...

О, впервые за все время тут, в тюрьме, так заулыбался он, Скорина! Казалось бы, плакать нужно при откровенном насилии над тобой, при насмешке и издевательствах над твоим достоинством, а Скорина —

улыбаются. Скорина, который никогда не улыбался, который страшился улыбаться, потому что мать его вообще не любила веселья. Оно и действительно: какое веселье в церкви или в костеле, когда там на стенах распятия, возле стен в земле — мощи? Какое веселье в междоусобных сечах и на рыцарских турнирах, когда вот-вот рыцарь рыцаря копьем проткнет либо, подцепив копьем, низринет под копыта копя? Какое веселье в аудиториях академий, когда диспуты — дело серьезное, а сочинение трактатов — и того более? И вообще, разве сызмальства не слышал Скорина: «Смеяться — бесу угождать». Или: «Горе вам, кто смеется сегодня, ибо восплачете и возрыдаете», И карали не короли, а церковники за смех епитимьей: тому, кто смеялся до слез, три дня поститься, «сухо ясти» и 25 поклонов на день. А захотелось тебе, чтоб от слов твоих люди смеялись, то и на все 300 дней епитимья будет на тебя наложена — творить поклоны! В тюрьме Скорина и без епитимьи сухо ел, однако чтоб еще и поклоны бить — извините! Скорина заулыбался в непроглядной темени своей тюремной конуры, но мир его улыбки не видел. И не увидит!.. Нет и не будет улыбающегося Скорины, как нет и не будет Скорины в слезах.

Но прежде, чем о слезах, еще немного все-таки о веселье, ведь разве ж вместе с тем его недоставало в средневековье на пиру у князя — при медовухе и браге; в цеховом застолье, когда челядник становился мастером и выкатывал на весь цех бочками пиво, как того требовало Магдебургское право; да и в корчме, где горелым вином торговали; да и на ярмарках, что роились гомонливыми скоморохами? Если на княжеские пиры Скорина и не попадал, то с челядью своей пива не пить не мог, и ему, наверное, как некогда он сам с однобурсниками магистру Леонарду, подливали в кружку самое душистое вино на бакалаврском диспуте, поскольку такова была традиция. Да и помним же мы любовь Скорины к «Вальдштейнской господе» на Малой Стране в Праге и к пивнушке возле треугольной площади рыночной в Вильне. Не забыли и как с братом Иваном они выбирали-спорили в родном Полоцке, в чью корчму пойти — к Миклошу или к Степану Пушкаревым? Так не будем же думать, что не было в жизни улыбающегося в застолье Скорины, а был только насупленный человек в мантии за конторкой. И все-таки — и все-таки средневековье не любило радости, любило слезы. Слезы из глаз богородицы. Бог никогда не плакал. Не плакали апостолы, ибо — учителя. Доктор ^[151] — тоже учитель. Учитель не может плакать. Доктора не плачут. И вы не видели и не увидите слез Скорины — никто не увидит: ни тот, кто его сюда, в тюрьму, упек, ни тот, кто надзирает за ним тут — высокомерно, глумливо:

того жулика
о грабитель!

Вором сделали, разбойником! Но еще посмотрим, кто виноват, а кто прав?! Кто вор, а кто человек совершенный?!

Мало, однако, утешило Скорину возвращение в бурсу на улицу святой Анны. Изгнать-то из него простака изгнали: он и впрямь в среде своего поспольства никогда не видел ни безъязыких, ни безруких, ни безглазых холопов, которым властители отрезали язык, отрубали руки, выкалывали глаза. Да и холопов необезъязыченных, необезрученных, неослепленных не включал он в поспольство. Это и в голову ему как мстичу не приходило, оставалось вне понятий, усвоенных им от своих учителей. Холопов как бы не существовало, и того, что перво-наперво потомки именно холопов станут спустя столетия воспевать Скорину, знать Скорине не было дано. И было это его неведение безгрешным, потому что вины в нем скорининской — ни грана... *Ignoti nulla cupido*^[152].

Безгрешным, однако, человеком Скорина себя в познаньской тюрьме никак не считает. Человек — греховен, и он, Скорина, тоже греховен. Только его грехи — совсем не те, в которых его обвиняют варшавские купцы. Грех его первый—Маргарита. Не приходит она к нему в сны. Одверник не пускает?.. Подарил на мгновение, чтоб забрать навеки?..

Девичьих кос он ей не расплетал. Не в русалочьем венке под венец вел. Русалия^[153]. Русалка. Русалка из русалии — из троицы, от единого в троице бога. Да какой она грех — русалка? Какой она грех после греха?..

Взял он ее не в фате, а в чепце, не в шнурованном на девичьей груди казакине, а в повойнике. Это он единственно в свои буквицы-инициалы рисовывал голых молодлиц, точно бесстыдник некий, а сам ведь только в суконном сарафане траурном, словно в сутане, и помнит Маргариту.

Счастье человеческое, что ты такое?..

Скорина вопрошает об этом ночь не свою, в которую сидит он здесь, в мрачном тюремном склепе, а ночь Маргаритину, последнюю, куда мыслью своею все возвращается и возвращается. Только что она скажет — ночь? Иное дело — солнце, продолжающее всходить для него после Маргаритиной ночи как ничейное. Ничейный шар! Ни в красную вазу одобрения не вкатывается, ни в зеленую неодобрения! Громаднейший шар, да как ничейное счастье. Ничейное и вечное — там, в раю: райское солнце, райский месяц. А тут, на земле, — твое, мое солнце и такое короткое счастье, как будто его и вовсе нет, не было, не будет. И не потому ли руки

человеческие так жадно тянутся к солнцу — принадлежащему всем и никому?! Что заставляет их, однако, тянуться к тому, к чему не дотянуться?.. «Своим солнцем в Библии, сопряженным с рождающимся месяцем, я жаждал не райских солнца и месяца, а земных — над землею всходящих в доброте и ласке, мудрости и справедливости. Боже, грешные мы!..»

Во многих уже ипостасях вспомнил — представил себя Скорина, но, как ни удивительно, в одной из них, которую он сам с таким упорством жаждал увековечить, врисовывая анфас и в профиль свое лицо то в буквицу «о», то в «я», в темноте подземного склепа своего, где, казалось бы, самое яркое прежде всего и должно было явиться мысленному взору, Скорина себя не видит. Что это — отречение от самого себя? Или перестал ты, Скорина, заточенный в темницу, быть человеком-солнцем?..

И отвечает тут сам себе Скорина: «Солнце — не солнце, когда оно за тучею...»

И все-таки обида, мука душевная, боль от нелепого стечения обстоятельств охватывают его, и еще пуще терзает его тревога за детей, которые остались где-то далеко-далеко — сиротки. Симеонке — семь. Третий годик Франтишеку. Темень. Зеркала нет. Своего лица Скорина не видит, но чувствует, что на нем: опустит голову на руки, сожмет пальцами виски, и прикосновением их будто бы видит себя, ощупывает в темноте свои мысли, свою обиду, свою судьбу.

...Судьба. Где ее начало, где конец? Начало своей великой Судьбы Скорина осознает полностью: оно только там — в типографии досточтимого Павла Северина на Старом Мясте пражском. И видит себя Скорина выпрямившимся рядом с печатным станком. В руках — первый экземпляр Псалтыри. И он читает: «Скончилась Псалтырь...» Окончилась? Началась! Началась!!! И он — молодой, высокий в приземистой с узкими оконцами типографии многоуважаемого Павла Северина! Начало августа, и он — полный молодых своих сил в том Дне Первом 6 августа 1517 года. Музыка Псалтыри — первое его открытие гармонии, существующей в мире вне человека, открытие, приобщающее человека к таинствам этой гармонии. Шестое августа. Спас. Праздник Преображения, Перевоплощения — в сиянии света Фаворского. Музыка — словно свет; свет — словно музыка. Радость превращения: слова — в книгу, письмен — в печать. Счастье превращения, обнаруживающего гармонию, приближающего к ней — и тебя и все попольство, которого ты — частица. И как же, однако, он в этом счастье превращения прекрасен! Скорина сам сейчас не верит, что он таким красивым мог быть, был. Зачем же ему от той

красоты нужно было куда-то спешить, бежать?!

Оп, конечно, бежать по земле торопился. Жизнь — бег, да еще и наперегонки. Но если он и бежал по собственной воле, то особенно с Дня Первого. Он, по-видимому, в тот День Первый сразу не осознал счастья Дня Первого во всей полноте его, как не осознает человек радости дня своего рождения и трагедии дня своего последнего, ибо после Дня Последнего его самого уже нет. Об одной-единственной последней слезиночке, что в последний миг жизни человека высвечивается на его ресницах, Скорина слышал еще от матери своей. Слеза прощания живого с живым. Слеза прощания со счастьем жизни. Мать объясняла по-другому: слеза радости приобщения к богу, к вечному счастью на том свете...

А бежал он от книги к книге, от печатного станка к печатному станку. И не будет ему роздыха, пока он жив. Его счастье в этом беге, в этой спешке, в этом его деле, в котором он закрутился, которым одержим. Был у его счастья печатника и день второй — виленский. Два года — 1522-й и 1525-й — как бы слились теперь для него в один день. Когда события отделяются от человека грудой лет, они сближаются во времени. И сегодня для Скорины будто не существует временного промежутка между «Малой подорожной книжкой» и «Апостолом». Но что — семь лет он только и ждал, чтобы в тюрьму сесть? Где же третий день его счастья печатника? Где?..

И снова в темени своей познаньской заулыбался в свой уже поседелый ус Франтишек Скорина: какой из него, однако, эллин-бегун? Ни ростом не вышел, ни статью, чтобы шагом широким путь свой мерить. Идет. Ступает. Приземистый, коренастый человек — странник неутомимый. Одиссей, тот на веслах шел, а у него — только собственные ноги. Давно уже истоптаны им поршни, вышитые материнской мереей; разбиты и сандалии, купленные в Падуе на скудные средства; изношены и аккуратные галоши, приобретенные в Праге; и слякотью обхлестанные сапоги, которыми тяжело стучал на таможне во Вроцлаве; и сапоги юфтевые — свои, полоцкие. Этими ногами, сейчас упершимися в сырой пол ею темницы, он пол-Европы перемерил, и он может сказать, что счастье — в дороге.

Но лучше бы он себе ничего не говорил. Образ дороги вызывает в его воображении облик Маргариты. И ему уже не до рассуждений о счастье. Чувство вины перед Маргаритой вновь распирает ему грудь. И, как прежде, он снова казнит себя за свое приключение с Кёнигсбергом — за ту безрезультатную отлучку. Ведь Маргарита его стала таять на глазах, как воск, именно после пожара. Будь он во время пожара возле нее, может, и не испугалась бы так Маргарита, не впала бы от страха в беспамятство, когда

на глазах обрушился дом ее матери, дом ее с Франтишеком судебной голгофы. Балки трещали, проваливаясь вниз, как огненные раскрыленные ласточки. И хоть Маргарита стояла поодаль, крепко прижимая к груди своей сосунка Франтишека, ей, однако, все время казалось, что, взрываясь раз за разом куполом искр, балки рушатся в огне и дыме не поодаль, а прямо на голову ей и несчастному ее сыночку.

И почему дорогу спасения души человеческой видят только в пути Христовом — пути страданий? Страдания все равно ведь не переведутся на земле, ибо где человек, там и страдания. Уменьшать, как Христос, страдания страданиями? Но это ж ведь увеличивать на свете страдания, а не уменьшать! Он, Скорина, уменьшал страдания Маргариты цветами, отварами из них! Если б, однако, могла страдания человеческие уменьшать красота цветов! Но, может, именно потому, что красота цветов не в силах уменьшить их. она в своем чарующем таинстве есть и принадлежность мира, и что-то существующее одновременно вне мира, над миром. Цветок льва, ромашки, василька, шиповника, мака, клевера, куколя, щавеля, колокольчика, ландыша... Его Библия — не только Библия пророков, но и цветов, которые вплел он в буквы-инициалы. Он и она, Адам и Ева стоят у него там, в Библии, и в тени древа, и под лепестками цветов. Он и она — древо; он и она — цветок. И не только солнце из своего герба врисовал Скорина в букву «Я», но и цветок, чтоб читалось: «Я — цветок; я — человек-солнце, и я — цветок». И, возможно, столь усердно хлопотал он, вознося вместе с Библией к богу цветы, именно в глухом предчувствии, что и к богу он обратится с молитвой о спасении и к цветам. Он, разумеется, этим своим усердием отдавал дань цветам как лекарь, поскольку цену цветам знал как лекарь. Потому хотел он, чтоб и красою цветов отличалась его Библия. Но, как сейчас он думает, не только знания вели его к цветам — вело и незнание. По его разумению, счастье — в знаниях, знаниями добро на свете человек творит. Но, может, если посмотреть с другой точки зрения, есть свое счастье и в незнании: глаза не видят, душа не болит; ну а разум не тревожится, душа и подавно не заболит?

И Скорина вспоминает Гиппократ: «Иметь счастье — это значит делать хорошее, а его делают люди, обладающие знаниями. Иметь несчастье — это, не обладая знаниями, делать худое. Если ты неуч, можешь ли иметь счастье?» И Скорина вновь благодарен дороге, что дала ему знания — Краков, Падую. Дала знания, а значит, и счастье. И вернула из огромного мира домой — со счастьем узанного, увиденного. Однако в счастье ли вернула?..

«Фортуна. Фемида. Фама. Это ж вы или не вы — самолично —

подсаживали меня, Скорину, на коня во время зазывания весны на капище возле Полоты?» Не успел Скорина задать себе новый вопрос, как снова болью резануло в сердце: тогда же на капище он впервые увидел Маргариту. Тогда же хоровод, справляя обряд, признал ее своей избранницей — гостью из места Виленского. И это Маргариту подсаживали тогда на коня, а не его. Его никто, нигде и никогда на коня не подсаживал. Такое могло ему лишь пригрезиться в пражских мечтаниях о ней. И вообще, его ли это конь — игривый, с венком на изгибистой шее, с колокольцами, с золотой уздечкой да в серебряной сбруе — белый конь на празднике зазывания весны? Нет, не его этот конь, как, впрочем, уже и не Маргаритин. Черные кони с черным катафалком видятся снова ему на рыночной площади возле Медницких ворот...

Кони снятся — к недоброму. К недоброму, если топчут они тебя во сне, если они белые или черные. Средневековье это знало. Знает и Скорина и только в толк не может взять, что же самого первого друга человека делает во сне неприятелем человека. Конь пашет, конь везет, конь гарцует под рыцарем. Вообще говоря, коня забрал рыцарь. Оруженосец рыцаря, и тот коня имеет. А где и когда он, Скорина, особенно подъехал верхом или в возке, на сапках или в карете? Разве что во время кулика, когда попал в его круговерть еще бакалавром где-то в дороге своей возле Варшавы? Да еще добирался на коне через Альпы в Падую — за талеры, заработанные у датского короля, когда они еще позванивали в его кошельке. А так — пешком, пешком, даже если кони и рядом, как те, что везли его фуры с книгами из Праги в Вильну по битому Янтарному шляху. Тех коней Скорина помнит. Он благодарен им. Не арабским скакунам родня, а более гнедкам, которых впрягают в рало. Кони-тяжеловозы. Не до танцев им под спесивым седоком с султаном на шишаке шлема. Их судьба — упираться в землю, как Святогор, топтать болотистую дорогу и месить грязь, выбивать подковами искры из камней. В чем-то это и его судьба, хотя, как Святогор, не входил он по пояс в землю от натуги за ручками рала...

Значит, если не поднимали его на коня там, на капище Перуна за озером Воловье, что возле Полоты, то и не был он никогда на коне? Доктора не смотрятся на коне. Их назначение — сидеть за конторкой, а не на коне. Капитан Гатомалытта вон как смотрится в центре Падуи! Будут ли так смотреться на бронзовом коне Ольгерд, Дмитрий Донской, Константин Острожский? Тоже ведь славные вой. А конь, белый ли, буланый ли, из бронзы — бронзовый...

Как плохо, однако, что человек сам не может увидеть себя ни в будущем, ни в купели своей. Скорина думает, что вообще о человеке

думает. А думает он о христианине — том человеке, который крещен. Как тут ни крути, а каждое время прикладывает к человеку свои мерки. Но человек, того не замечая, думает о себе как вообще о человеке. Скорина — не исключение. Но если он жалеет, что не может увидеть себя в купели, то трижды об этом должны пожалеть мы, поскольку лишены возможности узнать, кто его крестил — ксендз или поп? Хотя... И в том и в другом случае христианина крестят водою. И его, Скорину, крестили водой — из Двины, изреки, над которою он родился. Двинская вода — родная вода. Она живила его и живить продолжает. Волны Двины мелькают, серебрятся в его глазах и сейчас, и от их света светло в его глазах и здесь — во тьме его познаньского заточения!..

И видит Скорина мигание серебристое не только волн Двины, но и Вислы — краковской, а для Белой Руси реки Белой Воды; видит он и красивую Влтаву, где она сливается с любимой речкой славян Лабой и где сошлись на свою первую легендарную встречу Лех, Чех и Рус; видит и красноватую волну Brentы. И когда из каждой из этих рек он пригубливал пригоршнями волны их, то разве он заново не омывался ими, разве не были они все новыми купелями ему как всеславянскому христианину, всеевропейскому христианину?..

Всеевропейский интеллигент.. Эти слова, относящиеся к людям средневековья, подобным Скорине, мы уже знаем. Но Скорина действительно еще и всеевропейский христианин — тот, в крови у которого нет ни капельки религиозного фанатизма, нетерпимости к иноверцам, к другим народам! И он возвышается над вероисповеданиями как таковыми и здесь, в тюрьме, ибо не считает, что сюда его заточили по своим соображениям либо католики, либо православные, либо иудеи. Его заперли сюда несправедливость, насилие, произвол. Такова уж его судьба, что он здесь, таково попущение божье. Но это не только его беда — несправедливость, она — несчастье всех и каждого: и католика, и православного, и иудея; над всем и каждым она повисает и кружит, как коршун.

С высоты, однако, падают не только коршуны, не только молнии. Не они крестят, не они благословляют. Дождь на май, жито, как гай^[154], — говорят у него над Двиной. А он тут, в познаньской тюрьме, вспоминает другой май — 1519 года. Как же в тот год ему работалось — свыше тысячи страниц в Праге он тогда напечатал! И когда он вроде бы в мае напечатал книгу «Бытие», то ему казалось, будто благословляли тот его труд сами Градчаны — со своими зарослями золотого дешта^[155] на пологих склонах.

Да, он в те дни и правда крещенным тем золотым дождем цветов чувствовал себя в Праге — и всю его судьбу до рези в глазах просвечивал ослепительный, небывалый пражский златый дешт — его единственный в жизни золотой дождь... Книга, напечатанная им, золотого дождя не породила. Но он и не думал о таком дожде и не надеялся на него ни в Праге, ни в Вильне.

«Не думал? Не надеялся?! А правда ли это?..» — спрашивает он у самого себя и сам себе отвечает: «Правда, да не вся. Пролейся золотой дождь, не молчал бы долгие семь лет мой станок. Хоть бы капли того дождя упали!.. Капель я ждал, жаждал, посчитал бы их заслуженными, нужными для продолжения дела. Но если я жаждал капель, значит, жаждал и дождя! А разное это — не грех?!»

Скорина понимает, что это — не грех. Но теперь он при всем при том видит и что-то большее, поскольку начинает осознавать разницу в ожидании плодов от его труда им самим и теми, кто помогал ему в первую голову, кто его, молодого, отправлял в место Пражское, взяв на себя типографские расходы в Праге, а потом — в Вильне. Здесь прежде всего и не скупился Богдан Оп-ков, о чем сам он, Скорина, свидетельствовал в специальных приписках к своим пражским книгам 1517—1518 годов. «А то сат стало накладом Богдана Онково, сына радцы мѣста Виленскаго». Приписок таких было шесть, а может, и больше — Скорина точно сейчас не помнит, как не помнит конкретных дат, когда он те приписки делал, кроме той, что на Псалтыри, — приписки Дня Первого, от 6 августа. Но почему Онков стал против них возражать? Не потому ли, что он писал их от руки? Он, Скорина, по молодости лет не подумал тогда, что это может исподволь повлиять на их взаимоотношения. Не таков был человек Богдан Онков, чтобы вслух, во всеуслышание высказать свою обиду. Но если бы не от руки делал те приписки он, Франтишек Скорина, а тиснул их на печатном станке, то, может статься, и не прекратились бы на втором году денежные поступления от Богдана Онкова?..

И вспоминает тут Скорина, что все-таки Богдан Онков еще в самом-самом начале, а не Якуб Бабич первым загорелся печатать книги, первым вызвался поддержать его, Скорину. Должно быть, сказала в нем добрая память об отце Онке Грицове, который водил приятельство с князем Федором Ивановичем Бельским. Бельский — из рода Гедимины, правнук Ольгерда. Это у князя Бельского отец Богдана Онкова видел напечатанные кириллицей книги Фиоля. И не сам ли отец Богдана Онкова помогал своими пенязями Фиолю-печатнику? Сын жил памятью отца, сын понимал значимость нового явления и ту выгоду, которую можно было из него

извлечь. Человек с деньгами, с широкими торговыми связями и с не менее широкими замыслами — он и сделал ставку на книгу как товар.

«Как товар?! — ужаснулся Скорина своей внезапной мысли. — Но ведь так думал Онков — наверное... И не потому ли Онков умерил свой пыл и щедрость уже шт втором году моих пражских трудов, что *этот* товар не обернулся для него *золотым* дождем?!»

Так про Онкова думать Скорина не хотел бы. Он попросту не вправе хоть чем-нибудь оскорблять память Богдана Онкова — своего старшего и щедрого приятеля, который стал его первой опорой. Ведь это же он сам, Скорина, так перевозносил, так боготворил Онкова — особенно в Праге. Вдалеке, издалека все всегда видится в свете самом выгодном, тем более когда тебе благоприятствуют обстоятельства. Сквозь кристалл далека все красивым видится,—кто этого не знает! А вблизи и вещи выглядят иначе, и люди. И в том он, Скорина, возвратившись из Праги на родину, известно же, убедился. Но многому Франтишек нашел и объяснение. В том же Богдане Онкове, который ближе к старости сделался прижимистей, да и просто обеднел, коварно обманутый своими должниками. Но по-прежнему он оставался для Скорины искренним, честным человеком, говорливым, неунывающим. Он рад был его, Скорину, видеть, обнимать, беседовать с ним, хоть место помощника Скорины-печатника занял уже немногословный, дородный Якуб Бабич. Свято место пусто не бывает, и тот, кто занимал это место, воспринимался Франциском как святой. Нет, на Богдана Онкова и на Якуба Бабича никакой обиды Скорина не держит!

Впрочем, оба они годились ему в отцы и оба впрямь по-отечески относились к нему — младшему: в молодость его верили, в ученость, в сноровку, в деятельный его характер. И радовались Франтишеку, гордились им как сыном, а не компаньоном. С Одверником Юрием Скорина был ровесником. Так вот и разделил их возраст: Онков и Бабич — пара отцов, он и Одверник — пара сыновей. О троице Скорина теперь не очень хотел думать, тем более — о третьем лишнем. Онков. Бабич. Отцы! Словно отцы! Таковыми он видит их перед собою сейчас и будет видеть всегда; он в пояс готов им кланяться. И кланялся, когда были в живых...

Теперь он не знает, живы они или нет. Разница у них в годах как-никак большая. Бабич уже шесть лет тому назад вышел из магистрата, пять лет тому назад — годом позже Бабича — покинул виленскую раду и самый старший из них Богдан Онков. Что ж, потрудились, поволновались, похлопотали! И они после «Апостола» уже и в силу возраста своего не могли оставаться в прежних отношениях с ним, Скориной. И не хочет здесь снова-таки сказать себе Скорина то, что ему не очень приятно вообще

кому-либо говорить. Ибо годы годами, но если уж все вспоминать про Вильну, поведать придется и об этом своем наблюдении. Находясь там со своими первейшими помощниками лицом, что называется, к лицу, Скорина вскоре после выхода «Апостола» стал все больше и больше замечать, чувствовать, что Бабич и Онков как члены магистратского и радницкого братства все-таки чем дальше, тем определенной держатся интересов этого братства — Виленского патрициата, а не поспольства, на службу которому Скорина ставил свое дело. Вроде бы ничего и не изменилось в его отношениях с ними — с Якубом Бабичем и Богданом Онковым, и вместе с тем что-то изменилось. Этих перемен, однако, так отчетливо, как сейчас, в тюрьме, не видел, не осознавал Скорина. Удивительно, но так явственно, как начинает осознавать сейчас, не осознавал...

И все ж они были купцами и отходили от него потому, что им уже не светила выгода, — хочется верить Скорине. Отходили и закрывались в своей скорлупе патрициев. Его служение «всему люду языка русского» как-то перестало их волновать, и, как понимает он теперь, оттого и не выказали они особого пыла, когда он изложил им свои планы относительно Кёнигсберга, речь о котором он повел тотчас же после выхода «Апостола» и принятия присяги королю Жигимонту князя Альбрехта Прусского перед Марьятским костелом в Кракове. И даже слова Якуба Бабича о великом князе московском Василии Ивановиче, за ориентацию на которого он прежде ратовал, стали, точно мхом, обрастать боязнью утратить в Вильне свое положение патриция. Но то ли Скорина уже так думал тогда, в Вильне, то ли, может, сейчас, в тюрьме, в своем одиночестве, он все чрезмерно заостряет? Ведь если он остался без Одверника, без них, без Маргариты, он остался один.

Один?..

Когда хворала Маргарита, он в душе не однажды упрекал их, что не приходят. И впрямь не приходили...

Один?..

Хоть живы они еще, многославные, многодостойные виленцы, — его Якуб Бабич, его Богдан Онков, или, может...

Один?..

В познаньской темнице сто девятнадцатый день истекал, как Франтишек Скорина оставался один. В одиночестве коротал он в ней и сто двадцатую ночь.

И в ту ночь Франтишек Скорина ждал Прекрасных цветков, да пришли не прежние знакомцы — явился Палач. И хотя он был не философ, а палач, начал с самых сущностных вопросов.

— Как же вы, Франциск, наиученейший муж, забыли обо мне? Я ведь — тоже средневековье. Что, не Прекрасный цветочек? Закрыли мое лицо мешком, лишь прорези для глаз оставили, а я ведь — тоже мастер, профессионал. Вы свои портреты в Библию — навеки. А где же мой портрет, чтобы — навеки? Разве я не дышу под мешковиной, разве не такие у меня глаза, как у вас, хотя и через щели в мешке на свет божий смотрят?! Нет! Неразумно забывать истинную житейскую мудрость: от тюрьмы да от сумы не зарекайся! И от палача тоже — не зарекайся, доктор!.. Что, каетесь теперь, Великий Печатник и Великий Должник? Долги великие — кара великая. Я, конечно, всего лишь исполнитель. Но вы теперь от меня никуда не убежите. От палача невозможно убежать, разве что, когда вас будут вести на плаху, вы какой-нибудь вдовице броситесь в глаза... Но вряд ли такая найдется, что после Маргариты в вашу сторону глянет!.. А я не из тех неумех, у которых что ни взмах, то — ах! Взмахну снова — и с плен голова!..

Палач был из наглых. Палач никогда не жалел своих жертв. И со Скориной не церемонился. Но, оказалось, не очень сочувствовал Скорине и пан Твардовский, потому что когда он по своему обыкновению появился в познаньской тюрьме в сто двадцатую ночь скорининской отсидки первым, то, ни разу до сих пор не выказав никакой меркантильности, сейчас продемонстрировал прежде всего самую обычную меркантильность. И вот по какой причине: веем чернокнижникам всех времен было известно, что, ежели таинств чернокнижного своего ремесла не передашь при жизни никому из живых, кончина твоя будет очень трудной. И пан Твардовский, услышав при входе в темницу слова палача о неизбежной плахе, тут же решил, что лучшего кандидата для передачи ему своих чернокнижных принципов и приемов, чем обреченный на скорую смерть доктор Францискус, он вряд ли когда-нибудь сыщет. И он тут же выложил свое предложение все еще огорошенному речью Палача узнику. Скорина сразу вспомнил поговорку: «Если дьявол старится, он хочет быть монахом». Но, будучи в мудрости своей, как всегда, деликатным, не успел ничего ответить, а пан Твардовский уже горячо продолжал:

— Если я легко жил, то почему я должен трудно помирать? Облегчите душу мою, достославнейший наш Францискус, ибо никакой ксендз мне ее, тысяча дьяволов, не облегчит!..

Палач при этом заметил:

— Да-да, перед плахой всегда о душе вспоминают... Но вообще, как мне известно, ваше *disputio ab animo*^[156] осталось неоконченным, а ни один солидный человек ни одного серьезного дела оставлять на свете

неоконченным не должен. Так что мне понятна выказанная тут забота о душе...

Палач, к сожалению, имел в виду заботу о душе не пана Твардовского, а Франтишека Скорины. Видя такое дважды неуважение Палача к Франтишеку Скорине, Голем, который, как, впрочем, и доктор Фауст, тоже присутствовал уже в темнице, не выдержал:

— О, будь у меня душа, Франтишек, я пожалел бы вас всей душой!..

Не выдержал и доктор Фауст, который все всегда подсчитывал. Он — с долей раздражения и легким передразниванием не очень жалованного им Голема — промолвил:

— Третий раз вы уже влезаете со своим «пожалел бы вас»!.. Да помолился бы наконец как нужно, этот ваш рабби Лем и вымолил бы вам наконец душу! Что, у рабби Лема нет времени помолиться, что ли?!

— Время — деньги, — только и ответил покорно Голем. — Время — деньги, — повторил с нажимом, как будто собеседники его не услышали.

Но это вообще чуть не вывело из себя всегда такого солидного и флегматичного доктора Фауста:

— Ergo, значит: если у человека нет души, он просто глина!

И тут случилось невероятное. Должно быть, от большой обиды Голем неожиданно заплакал навзрыд. Но из его глиняных глаз и с его глиняных ресниц слезы катились не чистые, как роса, а желтые, точно вода в китайской речке Хуанхэ, — глиняные слезы!

Всем стало не по себе. Первым спохватился Станьчик:

— Но ведь если человек плачет, то, выходит, есть у него душа! Может, рабби Лем своими молитвами уже вымолил вам душу, Голем? И теперь мы все будем с душами, кроме уважаемейшего доктора Фауста!..

Доктор Фауст, видя, как недолюбливает его Стальник, тут же забыл о своем раздражении, поскольку надо было снова становиться философом. И он, как всегда, растягивая фразы, сказал:

— Как человек, который имел душу, а теперь не имеет, я должен подчеркнуть, что человеку не иметь души в сто раз выгодней, чем иметь ее. Бездушный человек — образец, идеал. Чувства прежде всего и подводят, обманывают человека. Отбросьте их, и ничто уже не станет обманывать вас. Это же элементарно! А вы, Голем, возжаждали чувства! Так что я вас не без жалости поздравляю, друг мой Голем: веселая теперь у вас, одушевленная начнется жизнь!..

— О, лишь бы мне быть с душой! — стал проявлять эмоции Голем. — Если у меня будет душа, то непременно открытая, как у славянина. И тут я сразу покаюсь, дорогие друзья мои, что я ошибочно до сих пор полагал, что

душа вообще не может быть совершенной, а может быть либо торгашеской, либо пиратской, либо льстивой, или же отдельно иудейской, отдельно христианской, отдельно мусульманской и в своей этой отдельности всегда остается несовершенной. Я таки, друзья, зря думал, что универсум вне конкретности.

Слезы сочувствия Скорине действительно вроде бы что-то затеплили внутри у Голема. И от непривычного того тепла в своей глиняной груди он заговорил, как никогда, мечтательно:

— Всяк на свете всегда имеет о чем сказать — особенно когда у него есть душа!..

— Не душа, милый Голем, а разум, — уточнил Фауст.

— И то, и другое, — молвил Скорина.

Голем, не подумав, тоже попытался обобщить:

— Так пусть на меня пан Станьчик не обидится, если я скажу, что только досточтимый муж Франциск Скорина имеет и то, и другое.

Щеки Станьчика заметно порозовели, и он сказал:

— А почему я не должен обидеться, уважаемый Голем, если я ценю и разум и душу?..

Философски принялся разрешать вопрос Фауст:

— Если ваша честь обижается, то где же у вашей чести ум, хоть ваша честь и является шутком короля Жигимонта? Разум — не в чувствах. Обида — разуму не сестра.

— Сестра! — воскликнул Скорина. — Ибо за обидой стоит правда. Кто чувствует обиду, чувствует правду. А правда — разум, ибо с ней справедливость совершенная.

Доктор Фауст аж привстал, обращаясь к Скорине:

— Так не хочет ли многодостойный доктор сказать, что Станьчик — совершенная справедливость?..

Скорина молчал. Скорина вновь, как прежде, отмалчивался — как на двух своих портретах в книге Иисуса Сирахова. Но по тому, что Скорина все-таки произнес две фразы, Прекрасные цветки разом поняли, насколько одинок в своей познаньской темнице Скорина и что все мысли у него — о кривде и правде, о произволе и справедливости. И что не о спасении души он беспокоится, но поскольку Голем никак не может выяснить, есть уже у него душа или нет, то именно из великодушия Скорина о душе с ним думает — о душе Голема.

Голем плакал, Голем всем своим существом убивался, полагая, что это в нем вовсе не душа сочувствует Скорине, когда он рыдает и сотрясается комками твердой глины. Может, не ту душу ему рабби Лем вымолил?

Может, не ту молитву употребил?

Фауст подчеркивал:

— Не всякая молитва, многодостойные мои коллеги, богу угодна! Единственно лишь молитва костела нашего...

— А вы еще не лютеранин? — поддел Фауста Станьчик.

— Ни одного из его 95 тезисов не принимаю!

— А если бы Лютер платил за вступление в его веру, то неужели на том вы хотя бы полталера не заработали?

Фауст возмутился:

— Спекулятивный ум философа только шуты могут путать со спекуляцией душою.

— Чхать я хотел на спекулятивный ум, — чихнул, как простолюдин, хоть был шляхтичем, не разобравшись, что к чему, пан Твардовский, и доктор Фауст вытер свою лысину белокрахмальным носовым платком.

Но сжалился над Големом и пан Твардовский, сказав:

— Хоть вы, дружище Голем, и тщедушный мой коллега, но коль на то пошло, то я посоветовал бы вашему рабби Лему перебраться если и не в Краков, то уж по крайней мере под Ошмяны, где он бы вам наверняка вымолил истинную душу, ибо у нас, под Ошмянами, нет молитв хороших или плохих — все и богу угодны, и королю по нраву.

— Все? — скептически спросил Фауст. — Тогда какая из них, — продолжил,— была вложена богу в уши, что наивыдающийся муж в науках Франциск Скорика оказался тут — в этой темнице?..

...Парадокс, однако, — жизнь на свете белом, поскольку парадоксы любят! Скорина, сам законник из законников, — жертва беззакония! Насилие средь бела дня! Дыба! Раскаленные до пурпура кандалы, надетые на руки ему и на ноги! Обруч, что пылающей материей своей сжимает лоб, голову, мозг, разум!..

Пусть он не Моисей, принесший на каменных скрижалях своему народу законы-заповеди; пусть не Давид, восславивший Моисея и законы. Но законодателя Моисея и законника Давида и он почтил, издав свою пражскую Библию, во весь голос утверждая то разумное, что брал в Писании сам, чтобы тем разумным и почитаемым устраивалось на свете поспольство, чтобы только в любви и добре воспитывался человек, чтобы всячески совершенствовалась, всячески украшалась жизнь человека на земле. Чья же это мудрость в таком случае — его или Моисеева, его или Давидова? «Праведность возвышает народ, беззаконие — бесчестье народов!», «Правдою укрепляется посад!», «Без мудрости и без добрых

обычаев не ест мощно почтиво^[157] жити людем посполитым на земли!»! Все это его, Скорины, слова. Но это что — мудрость?! Но это что — добрый обычай: взяли и схватили, взяли и впихнули сюда — в эту яму, где ни солнца и ни молодого месяца, ни Мидовицы и ни Зари?! Читали или не читали его насильники в его и не только в его книгах: «Веи законы и права ими же люде на земли справоватися имають». «На земле!» — а это значит, и во всей Короне; «на земле!» — это значит, и здесь, в Познани. «Людское естество двояким законом бывает справовано... То ест прироженным, а неписаным». Прирожденным — данным богом каждому от рождения. Писаным — дарованным его милостью королем Жигимонтом Великому княжеству Литовскому уже целых три года тому назад, — дарованным Великому княжеству Литовскому, а следовательно, и ему, Франтишеку Скорине из Полоцка — ныне виленцу, дарованным ему прежде всего как виленцу, а не доктору наук. Но что Закон перед беззаконием, Статут перед лихою волей?! С большой буквы пишутся, да малым тюремным склепом обращаются, издевательством обращаются, насмешкой, горечью и болью души!..

Какой он, однако, наивный?! «То чинити иным всем, чего сам хочеш от иных имети». А они, те, которые сюда его упрятали, — что же? — неужто и для себя того же хотят, что ему сделали-учинили?!

«Прирожденные, извечные законы написаны ест в сердце каждого отдельного человека...» Написаны... Ой, да написаны ли?! — злится, иронизирует сам над собой Франциск Скорина. «...почтивый, справедливый... потребный... пожиточный... подлуг обычаев земли, часу и месту, пригожий, явный, не имея в себе закрытости, не к пожитку единого человека, но к посполитому доброму написаны...»

Сам ведь и вправду писал — точно в насмешку над собою!.. А его — сюда, как бродягу, конокрада, грабителя, смерда безъязыкого, безголосого!.. О смердах ты и вовсе позабыл, что они ест — с отрезанными языками, потому что чересчур высовывали их, болтая лишнее перед наместниками, воеводами, кастелянами, войтами; с отрубленными руками, потому что поднимали их на шляхтичей, на рыцарей и бояр; с выжженными глазами, потому что, может, осмелились взглянуть на паненку из шляхетской загородки или просто не опустили их долу перед неким ясновельможным паном! Я — вашесть, и ты — вашесть, а кто нам хлеба напашет? Я — в чести, и ты — в чести, а кто будет свиней пасти? Соболь — для пана, лис — для подпанка, а что же им? Кнут! Самый лучший русин — казненный? Вот и его сюда не для любезничанья бросили — покарать жаждут, да еще как покарать — чтоб ни следу не осталось, ни духу! Кланяюсь не брату, а

его наряду! Никаких нарядов: сорвали с плеч мантию, сорвали с головы берет, сорвали с пальца перстень! Уж теперь-то поклонись — низенько в ножки всем поклонись, нам поклонись!.. Кому это, однако, он должен кланяться? — не соображает Скорина. — Набрешники, следчики, загонщики — бобровые, олени, зубрины, где вы и кто вы, что он тут сто девятнадцатый день бодрствует, не бодрствуя, — где вы и кто вы?..

— Уже не сто девятнадцатый день, а сто двадцатую ночь, — осторожно заметил Голем.

— А сто двадцать первой ночи не будет, — сказал Палач.

— Вот почему все мы гуртом и пришли к вам наконец снова, — с галантной радостью проговорил великий мистр пан Твардовский. — Пришли, да еще с первой зоренькой, чтоб подольше побыть с вами, полюбоваться вашими светлыми синими глазами...

Это уж было слишком, и доктор Фауст, по обыкновению до йоты все обдумав загодя, тут же в нехарактерной для него манере пану Твардовскому буркнул:

— Не лезь в пекло поперед батьки!..

И только после этих слов доктор Фауст уселся на скамье с ничуть не меньшим достоинством, чем у всех радчиков, лавников и самого бургомистра неславного делом Франциска Скорины места Познаньского.

— Многоуважаемый, многодостойнейший, выдающийся ученый муж Францискус Скорина! — велеречиво обратился к узнику Фауст. — Мне всегда хотелось называть вас только очаровательным. И только так я называл бы вас всегда, если б не святая инквизиция и если б я не страшился, что мое слово станет доносом на ваши чары ума и души. За донос я, правда, получил бы третью часть вашего имущества, как то полагается каждому, когда святая инквизиция делит скарб колдуна между доносчиком, собою и святейшим папой римским. Но я — не каждый. Я мог продать душу за знания, однако ж не за треть имущества!..

В это мгновение доктор Фауст показался прекрасным не только Скорине. И тут надобно сказать, что ничего не поделаешь, что так уж устроен сей белый свет и даже доктора черной магии не свободны от желаний в глазах осужденного человека в последнюю встречу с ним обелять себя. Но Фауст быстро и сам это понял и сказал:

— Извините, коллеги, мое увлечение своей особой. Однако я действительно больше вашего думал о творящейся тут несправедливости. И вот к каким выводам я в итоге пришел...

Тут доктор Фауст сделал паузу, ставя свое грузное тело на обе свои ноги, твердо покоящиеся, как всегда в том был убежден сам доктор Фауст,

на твердой основе готской классической философии. И тогда Фауст сказал:

— Итак, коллеги, здесь перед нами не история христопродажничества в новом своем варианте, хотя Иуды в этой истории, конечно, имеются, но выйти из нее новым Христом наш достославнейший Франциск не может. Ибо это дело предусматривает не распятие и воскресение, а всего лишь бесславный в своей бесславной неизвестности конец нашего наизнаменительшего Великого Печатника. Кто не хочет, чтоб его печатнический труд продолжился за его печатным станком, тот и виновник. Я полагаю, что моим любезным друзьям Прекрасным цветкам достаточно известно, кто не желает, чтобы великий Статут Великого княжества Литовского был напечатан. Так что во главу угла прошу вас, уважаемые, ставить имя именно того, кто, подобно мне, понимает, что славное дело Великого Печатника тотчас превратится в бесславное вместе со смертью бесславного бродяги, ашуста^[158], беглого человека, грабителя, за которого выдают нашего славного секретаря виленского епископа Яна и выдающегося ученого мужа великие ростовщики Варшавы Старый Мойша и его сын Лазарь. Запоешь тут Лазаря! Не побирушкой — нет! — хотят сделать нашего богатою духом и любовью Франциска Скорину. Палач свою добычу всегда чует. Палач недаром тут сегодня.

Все Прекрасные цветки разом глянули в сторону Палача, который продолжал оставаться в их компании, не будучи, как то считали Прекрасные цветки средневековья, Прекрасным цветком.

— Я вас пожалел бы... — начал было снова выразить свое сочувствие Скорине Голем, но, упершись глиняными глазами в философски холодные зрачки Фауста, тут же осекся.

И в этот момент выступил вперед великий мистр магии пан Твардовский, заняв, однако, вовсе не философскую позицию доктора Фауста, хотя доля спекулятивного миропонимания в его то ли песне, то ли афоризме, несомненно, выказала себя, когда великий мистр принялся восклицать:

Полюбимся, как братья,
Рассчитаемся, как евреи!..

О «полюбимся» Прекрасные цветочки из уст пана Твардовского уже слышались достаточно, хотя это «полюбимся», особенно в Вильне, было у пана Твардовского обращено обычно не столько к братьям, сколько к сестрам. Сейчас же всех Прекрасных цветочков средневековья, а также

Скорину пан Твардовский объявлял своими братьями и предлагал своим братьям вести между собою расчеты по примеру особ, названных им во второй части своего афоризма. Будь Старый Мойша в это время в темнице Скорины, захопал бы он тут в ладоши, с откровенной радостью захопал бы!..

Но дело в том, что Скорина рассчитываться не хотел. Не с кем ему было рассчитываться, потому что никому и копейки не задолжал. Счет Старого Мойши? Фикция! Но так не думал великий мистр пан Твардовский, полагая, что Великий Печатник на этот раз действительно нарушил классические правила расчета в королевстве Польском. И хоть пан Твардовский не опускался до лексики Старого Мойши («Хулиган!..», «Бродяга!..», «Вор!..»), однако неожиданно для Скорины заговорил он как будто с его голоса:

— Кровные, ростовщические пфенниги, шиллинги, талеры, марки, эскудо, динары, золотые, широкие польские гроши, серебряные тройки, только что введенные в оборот монетным двором короля Жигимонта, не отдает!.. Требующие свои законные ростовщические серебряные тройки варшавские купцы — вовсе никакие не иуды, хотя и иудеи, потому что не о тридцати сребрениках тут речь. Речь о недостойности вроде бы достойного, непочтительности вроде бы учтивого, недобродетели вроде бы добродетельного. А кто выявил все это? Ростовщики! Ростовщики — праведники. Ростовщики — герои...

Вот как на сторону праведников-ростовщиков, словно собираясь у них завтра одалживать деньги, стал великий мистр пан Твардовский, чего Скорина и предвидеть не мог, поскольку вовсе не знал о сантиментах пана Твардовского, вызванных симпатией к ростовщической гильдии!..

— Я вас пожалел бы... — вновь попытался посочувствовать отзывчивый Голем, но на этот раз его опалил пылающей чернотой глаз пан Твардовский:

— Как можно сострадать тому, кто рассчитываться не умеет?!

Но тут свой указующий перст поднял кверху доктор Фауст:

— Наш многоуважаемый доктор Скорина, да будет сие известно великому мистру, подответствен вовсе не нашевской конституции «Nihil пові», а Статуту Великого княжества Литовского. И хотя вообще, не имея души, я не могу быть защитником сострадания, но, ратуя за свободу выбора и, как и многочтимый Францискус, за вседозволенность, я на этот раз всей отсутствующей у меня душой поддерживаю многочуткого Голема, ибо выступаю, *erste*^[159], за свободу сострадания, а также являюсь, как и Великий Печатник, апологетом человека совершенного, которого мы и

видим в лице многодостоного...

Конца сентенции доктора Фауста пан Твардовский дожидаться не стал:

— Байды^[160] тетки Алебайды! — прогремел он своим мощнейшим басом и продолжал: — Какой же он, этот ваш человек, совершенный, когда он то губастый, то брюхастый, то хромой, а то кривой. Какой он мудрый, когда глуп, и почему умен обычно, как поляк, — одумавшись? Какой добродетельный, когда зол и глумлив?..

Скорину подмывало сказать на это: «Зол, как поляк, когда тот голоден. Если ж человек добродетелен, он — мудр, а если мудр — совершенен». Да так ничего и не сказал, продолжая молчать, как на двух своих портретах в книге Иисуса Сирахова. А пан Твардовский настойчиво декларировал, и Фауст его не перебивал, в своем философском сочувствии к судьбе Скорины-узника в последнюю ночь перед их окончательным расставанием решив, что черные мысли Великого Печатника о насилии и глумлении как нельзя лучше переводит в русло более спокойного философского спора именно пан Твардовский. И пан Твардовский напористо возглашал:

— Ваш совершенный человек добродетелен только для себя, а не для других, только о своей славе и своем деле печется, а не о других. Демагог он в своем обращении к поспольству — демагог!.. На спине поспольства мечтает въехать в рай, достичь вечной славы. И если он мудр, то лишь в свою пользу.

Скорина тут хотел было сказать: «Только посполитой пользой мудрость венчается!..», по, словно уловив его мысли, пан Твардовский грозно спросил: «А что венчает жадность, алчность?!»

«Яма, которую лихоимец другому копает, да сам в нее попадает», — был уверен Скорина, однако в яме пока что сидел он, словно сам-то и был он и жадным, и алчным...

— Да, яма! — вновь, будто услышав внутренний голос Франтишека, согласился с ним пан Твардовский. — Вот любезный пан и в яме! — ужалил он своим павлиньим пером Скорину.

— Я вас пожалел бы... — обращаясь к Скорине, еще более плачущим голосом завел свою песню затюканный Фаустом и Твардовским Голем.

— Veto! — пробасил пан Твардовский.

— Да здравствует вседозволенность! — твердо процедил сквозь зубы Фауст.

— Вольностей, вольностей всем захотелось?! — заголосил пан Твардовский. — Мы, шляхта, заполучили их, и довольно. Зачем еще кому-то вольности, если они уже есть у меня! Vivat, таким образом, маркграф Гаштольд! Vivat тот, кто Статутом своим дал себе вольность, а не вшивому

смерду, смердючему купцу и челядпику!..

Тут, не отводя какое-то время от Скорины взгляда, непосредственно ему, Скорине, промолвил Фауст:

— А вы еще хотели печатать *это*...

Скорина молчал, а пан Твардовский, точно бурсак, бушевал:

тот грубиян!
того жулика!..

те окаянные!
тех мошенников!
тех лентяев!
о мерзавцы!

Все определения из declination хамы, кажется, уже прозвучали, но словарный запас пана Твардовского был намного богаче, и потому с его пухлых губ продолжало сыпаться, как из рога изобилия: «Бродяги! Пакостники! Холуи! Лакеи! Развратники! Блудники! Мымры! Глупцы! Шуты! Скоморохи! Тупицы! Волю! Ослы! Быдло!..»

Короче говоря, пан Твардовский, не принимая вседозволенности, сейчас показывал пример вседозволяющей распоясанности, при которой Скорина, весь трепеща душою, вспоминал возвышенные, такие некогда напевномелодичные в устах Тадеуша Мусати слова и фразы:

«...За вседозволенность человека совершенного, знающего, что такое чувство меры...

Почитание кумира, не преврати человека в посмешище,
Ненависть — в зверя,
Любовь к женщине — в развратника,
Чаша вина — в пьяницу, вора, убийцу,
Сребреники — в скупца, ростовщика, Иуду!..»

На этот раз мысли Скорины как будто читал Фауст, и под мрачными сводами скорининской тюрьмы голос Фауста зазвучал отчетливо и торжественно:

— Наша вседозволенность, пан Твардовский, не распространяется на ложь, поклеп, насилие, издевательство, слезку, убийство, подкуп, измену, разбой! Наша вседозволенность непременно соседствует с мудростью и ученостью, с жаждой знания...

Пан Твардовский прервал речь Фауста нетерпеливо:

— Если уж вседозволенность, то вседозволенность, и незачем огород городить: тебе дозволено, мне дозволено! Почему не дозволено купцу Мойше посадить купца Скорину, если тот...

Пан Твардовский стал искать словцо покрепче, но эту его заминку с ходу использовал Станьчик — с ударением произнес:

— ...Невиновен!

— Как невиновен?! — возмутился пан Твардовский. — Король Жигимонт аж два указа на его арест не давал бы, если б...

— Короля Жигимонта обманули, — твердо сказал шут короля Жигимонта Станьчик.

— Наисправедливейшего короля королевства Польского, его королевскую милость Жигимонта обманули?! — прямо-таки напирал всем своим могучим телом пан Твардовский на более низкого ростом Станьчика и спрашивал резко:

— А где вы были, ваша шутовская приближенность к его милости королю, когда того обманывали?!

— А там, где и вы, уважаемый пане Твардовский, — молвил спокойно Станьчик. — В королевстве Польском. Да, в том же королевстве Польском, о котором поэты еще напишут, что оно:

Рай — ростовщикам,
преисподняя — селянам,
чистилище — незнатным,
и царство — родовитым!..

Ведь разве шляхтичи не чувствуют себя в этом королевстве, как на небесах, а мещане — как в чистилище, а холопы — как в аду?! И только бесконечный рай тут — ростовщикам, рабичковичам, Мойшам Старым!.. Рай — посульщикам! Они ввели в уши моему любимому королю Жигимонту тот навет, который низринул вас, славный Франциск, в эту адскую яму-тюрьму! Кто посульщики? Да те, кто выпрашивал у его королевской милости короля указы на вас! Те, и никто другой!..

И Станьчик посмотрел в сторону Голема.

Голем! Бедный Голем! При чем тут был он, у которого, еще неизвестно было, есть душа или нет ее?! И тут в пору было сочувствовать самому Голему, когда он опустился на колени и, заломив над своей глиняной головой свои глиняные руки, зашептал:

— О пресветлый образ, созданный фантазией моего родного

пражского гетто, моего народа, — о мой отец рабби Лем! Твой лик, однако, светел для меня не только потому, что ты меня самого из глины вылепил, что своими вдохновенными молитвами вымаливаешь душу мне и всем людям на земле! Твой образ, рабби Лем, светел, ибо не кровав, — ты не жестокий царь библейский Давид, не вероломная, коварная Руфь! И эта светлынь твоя, отец мой Лем, хоть покамест, возможно, и нет у меня души, мне темнить не позволяет, быть несправедливым — не позволяет, не осуждать несправедливость, ложь, посулы, подлое — не позволяет! Позор же Старому Мойше, который обманом с помощью разных там Гамратов, Шидловецких, Олифио выкупал на Вавеле указы на ваш арест, дорогой Франтишек! Позор!..

— Ха-ха-ха! — как бык заревел пан Твардовский.— казалось, он давится хохотом. — Голем — против Мойши?! Голем — против короля и Вавеля? Против Гамрата, Шидловецкого, Олифио? Когда шут юродствует, это понятно, ведь он — шут. Но сострадалец в позе прокурора?! Невиданно!.. Да сгниет он тут, в этой яме, ваш купец ли, не купец, гений ли, не гений, люблю я его лично или не люблю, — истлеет ваш Франциск бесславно! И если вы Печатнику настоящие друзья, — все вы, кто именует себя Прекрасными цветками всех времен, — то пора уже всем нам поставить и точку над «і». Пора!.. Ибо не будет у него другого мавзолея, кроме этой тюрьмы. Не Тамерлан же он! Не Медичи! Не Владислав Ягайло! И никто не оплачет его, и никто не укажет, где бросят тело его — за какой оградой какого кладбища. Так, уважаемая публика, ставим точку над «і» или не ставим?..

— Какое «і», какую «точку»? — не понимал даже Фауст.

— Простаки! — улыбался во весь свой рот великого мистра черной магии пан Твардовский. — Простаки!.. Надобно отпеть душу Франтишека. Ave pia anima! Будь благословенна, душа набожная! Где ваша докторская мантия, doctoris artium и лекарских наук доктор? Где берет, перстень? Нужны и свечи, да не свиные, а из чистейшего воска, ибо наичистейшего воска пчелиного заслужила-таки чистая душа, какой она была у Франтишека, пока он не попал в долговую яму?! И чтоб перезвон колоколов шел по всей Познани! Не ксендз он? Так что же?! Выше любого священника был, как вы знаете, пока не влез в свой злополучный долг к Мойшам! Но пока правосудие не признало нашего Франциска вором, бродягой, грабителем, а то и, может, даже конокрадом, даже фальшивомонетчиком и вагантом-беглецом, скрывающимся от долгов, это просто уже наш долг — устроить ему самое великое, историческое отпевание, — устроить именно тому Франциску Скорине, которого мы

знали как Великого Печатника. Где же моя митра? Где мой пасторал с курватурой, крест наперсный, туника, — да чтоб из самого белого альбарусского полотна! — рукавички где?!

И тут надобно сказать, что, как только пан Твардовский предложил отпевание, среди Прекрасных цветков в тюремном познаньском склепе тут же произошел раскол. Доктор Фауст наотрез отказался присутствовать на нем, заявив, что он уже не католик, поскольку перешел в лютеранство. Станьчик, слышав, что пан Твардовский требует митру и другие аксессуары кардинальского сана, воскликнул с непривычной для себя резкостью:

— Кошунство!

И на этот раз не пан Твардовский, а Станислав Станьчик сказал: «Veto!» — и оставил подземелье познаньского магистрата.

Голем же пребывал в растерянности: как быть с отпеванием ему — иудею? Но так как он помнил, что похож на Рабичковича, которому король Жигимонт жаловал шляхетское звание, и что кредитор Езефович получил от короля рыцарскую цепь, Голем в надежде на возможное королевское внимание и к своей особе решил на отпевании остаться.

Для Палана, оставаться на отпевании или не оставаться, проблемы не было. Он даже не шелохнулся на своем месте.

А пан Твардовский, завидев, что среди Прекрасных цветков из-за отпевания вышел раскол, — о, как тут возрадовался пан Твардовский, как возликовал! Он торопко напяливал на себя отличительные кардинальские знаки и аж захлебывался словами, как никогда прежде:

— О, то — превосходно! О, то — превосходно! Если раскол — значит, дело стоящее, верное. Ведь было хоть одно серьезное дело, да чтоб — без раскола? Святое нигды^[161]: не было и не будет! Чуть только появилось христианство — расколосось на Рим и Византиум! Только появилось лютеранство — Лютер, Мюпцер! Появилось мусульманство — шииты, суниты! Если раскол среди Прекрасных цветков, значит, правда моя! Наша! — говорил пан Твардовский, уже махая кадиллом и еще более затемняя фиолетовым фимиамом и без того темную скорининскую темницу под познаньским магистратом.

— На колени! На колени! — приказывал пан Твардовский, посверкивая черными молниями глаз, и, как подобает, вел отпевание, от которого аж гудело в ушах:

— Молись и трудись! Молись и трудись!..

— Молись за нами!..

— Именем бога!..

— А вечный свет пусть ему светит!..

Так как ни Кембриджа, ни Сорбонны, ни даже Падуи пан Твардовский и в глаза не видел, то латынь в его устах звучала с весьма заметным ошмянским акцентом.

И пока раздавалась в подвале познаньского магистрата громогласная, хоть уши затыкай, твардовскиана, ни Станьчика, ни Фауста здесь не было. Но это вовсе не значит, что в их отсутствие не произошел один весьма неожиданный для тюремного подпола инцидент, порожденный уже давним-давним обстоятельством. Еще во время самого первого прихода Прекрасных цветков в типографию достоправного Павла Северина на Старом пражском Мясте был представлен тогда еще совсем молодому Великому Печатнику Франциску еще один и тоже знаменитый Цветок средневековья, а именно — Великая Болезнь. Однако случилось так, что по своей женской, а может, еще и девичьей стыдливости или просто из-за нехватки свободного времени Великая Болезнь такой верной и неотлучной спутницей Франтишека Скорины, как Цветки-мужчины, не стала. Но вот не побывать на отпевании она посчитала для себя противоестественным, и она очутилась в Познани, добравшись сюда не откуда-нибудь, а со ступенек храмовых очень далекой от Познани Москвы. Такой уж обязательной была в средневековье Великая Болезнь, что, если дело касалось жизни и смерти, она непременно оказывалась тут как тут, — на месте. Хотя, по правде говоря, на этот раз в Познани она была не совсем на месте, поскольку стояла всего лишь возле двери тюрьмы Франтишековой и тихонько в нее постукивала, просясь войти. Этого стука, оглушенные в подполье басом пана Твардовского, ни Палач, ни Голем, ни Скорина, однако, не слышали. Первым услышал его пан Твардовский. Но великий мистр и не подумал пускать Великую Болезнь в тюремный подпол: никогда не была с Францискусом, на кой ляд она теперь нужна! И к чему на панихиде бабы? Мужское это дело! Может, больший интерес к Великой Болезни как молодежи и проявил бы пан Твардовский, не будь он в кардинальской митре. А то едва примерил кардинальскую митру и сразу на тебе — нарушение целибата. Нет, этого не мог себе позволить даже пан Твардовский! Так Великая Болезнь и оставалась на низеньком крылечке при позпаньской магистратской тюрьме, в которой томился Франтишек Скорина. Но просто так сидеть на крылечке, будучи блаженной, Великая Болезнь не могла, а крылечко это познаньской магистратской тюрьмы или белокаменные ступеньки чудотворного храма, какая разница для

блаженной?! И блаженная Великая Болезнь, пока внизу шло отпевание, словно пророчица Сивилла, крепко-крепко сомкнула веки и принялась с закрытыми глазами что-то бормотать, что-то выкрикивать, глотая то слюну, то звуки, то целые слова. Кто слышал, тот слышал, тот улавливал и «я», и «Франциск», и «бесица, трясовица, дочь Ирода», и «разжени очи, руцы железные», «власы верблюжьи», «злые пакости творити, кости иссушити, млека иссякнути, младенца сжещи... младенец будет сожжен... будет... в Пражском мясте, а не в Познаньском... Франтишек сын Франтишека... не Франтишек... сын Франтишека омрачит очи человеческие... суставы расслабит...» Словом, в склепе было свое, на крылечке склепа — свое:

— Ora et labora! Ora et labora!..^[162]

— Бесица, трясовица — дочь Ирода!.. Бесица, трясовица — дочь Ирода!..

Молиться, оно можно было, а как трудиться?

Не для того Скорину в тюрьму заточили, чтобы он трудился, чтобы дело свое продолжал. Ora! Ave pia anima!^[163] И как хорошо, что пророчеств, исторгаемых в неистовстве на крылечке его склепа блаженной Великой Болезнью, — как хорошо, что Скорина совсем их не слышит!.. А кто слышал, тот слышал, как уже и голосила, и рыдала, и рвала на себе волосы Великая Болезнь, возглашая:

— Я — Трясея, я — Огня, Ледея, Гнетя, Кашля, Глухя, Ломя, Пухня, Желтя, Крутя, Немя...

И лихорадочно тряслась, судорожно корчилась, внезапно деревенела, как полено, и вновь колотилась Трясея, когда цедила сквозь сжатые зубы: «Огня!.. Огня... Все в огне... Возле ног моих, и ты, ты, Франциск, литвин, книжник... Не на меня ль ты похож лицом в книге Иисуса Сирахова? Нет, не на меня. Ведь ты — Книгея, а я — Огня... Где — Книгея. там — Огня, там... Малая подорожная книжица... Почему — Малая, если я — Великая?.. Немалая дорога тебе выпадет, немалая — до белокаменных ступенек, на великий огонь, великий — на все великое, ибо Огня — я...»

И было так, что уже закончилось в склепе магистрата познаньского отпевание, которым заправлял пан Твардовский, а на крыльце возле тюремной двери — в корчах, в судорогах, с пеной на губах — Великая Болезнь все мучилась, все неистовствовала...

Скорина никак не мог услышать Огней и по той причине, что, хоть и закончилось во тьме его тюрьмы его отпевание, однако все на этом не завершилось, потому что если наличествует раскол, то на скорый конец чего бы то ни было надежд всегда очень мало. И если пан Твардовский

думал, что он в том расколе — первая голова, то лучше бы он вовсе так и не думал, поскольку оно ведь никогда не известно, чьей голове в любом расколе быть первой: т[®] ли того, кто раскол учинил, то ли того, кто остался при своем.

При своем непоколебимо оставались доктор Фауст и шут Станьчик. Как только в склепе установилась тишина, они вновь туда вернулись и, обращаясь к пану Твардовскому в два голоса, сказали одно:

— Вы покрыли позором наше время!

Пан Твардовский не согласился:

— Несчастные! Я вознес ваше время на самый высокий щит!

— Сам несчастный! — не сдержался Фауст. — А еще считает себя знатоком Гусовского, да, может быть, и «Слова о полку Игореве», летописи Полоцкой, «Прусской войны» Яна Вислицкого?! Так что же щит поэзии мира нашего — панихиды или слова похвальные Игорю Святославичу^[164], князю Витовту, королю Жигимонту? Не отпевание, а воспевание — наш щит! Ему воспой славу, — смотрел Фауст на Скорину, а говорил пану Твардовскому, обращаясь к нему на «ты», — ты, ошмянская кость!..

И тут все в тюремном склепе могли воочию убедиться, что доктором черной магии Фауст действительно был, что его заклятие и впрямь несло в себе силу Фауста, который душу свою продал за эту силу Мефистофелю.

— Эта ночь в подземелье у Скорины последняя! И если темные силы уже справили по нем панихиду, то я, доктор Фауст, не столь уж темная сила, чтобы не понимать, чего достоин наш Великий Печатник и над чем он возвышается. Я, доктор Фауст, недоволен Вами, Средневековье! Где приход-пришествие Христа? Где шествие люда знаменитого и черного, над которым он, доктор Франциск, возвышается и который его превознес бы, как сам он превозносит бога в троице единого, солнцу молодому серповидному при том уподобляясь? Где?!

Средневековье! Я Вами недоволен!.. — вновь повысил свой и без того звучный философский голос доктор Фауст. — Если человек сам себя не похвалит, кто ж его похвалит, тем более что каждый знает сам себя лучше, нежели знает его кто-нибудь другой. Так пусть начнется карнавал! Прошу у Вас, Средневековье, карнавала у ног Скорины, апофеоза — Скорине, похвалы — Скорине! Солнце его не взошло — молодое серповидное солнце. Солнце всходит после ночи. А это — последняя ночь подземелья скорининского. Это и моя ночь — Вальпургиева! Прошу! Прошу!!!

Доктор Фауст оказался куда более галантным, чем пан Твардовский. Он перецеголял его и своими широкими жестами, и реверансами со старательно вытянутой перед грудью рукой, словно кланялся от всей души,

хоть, как известно, душа в груди доктора Фауста давно уже не ночевала. Но сила черной магии была силой черной магии, и то, что обернулось явью в подземелье познаньского магистрата в последнюю здесь ночь Скорины, который и не знал, что она — последняя, — так вот все то сейчас, когда с той ночи минуло немало времени, пожалуй, даже в пятидесятитомной энциклопедии средневековья не изложить бы. А происходило тут следующее.

— Прощу! Прощу!!! — настаивал высокий и звонкий философский голос Фауста, и следовали пришествия, и начиналось шествие. Однако силы небесные были, по-видимому, доктору Фаусту неподвластны, как были они неподвластны и духовному его отцу Мефистофелю. И потому из небесных сил никто не объявился. Иное дело — силы земные.

И было то ли перед пришествием кого-то, то ли в момент самого пришествия некий сторонний, спокойный, уравновешенный голос вещал:

— Пришествие его королевского величества короля королевства Польского и великого князя Великого княжества Литовского!..

И впрямь появился король, которого Скорина не видел со дня Маргаритинового суда. Король в своем любимом одеянии из одамашека в пышных стилизованных цветах — розово-солнечных и зелено-багровых — шел медленно, с гордо поднятой головой, из-под короны выбивались седые волосы. Король шел, безразлично уставившись глазами в темень, будто вовсе не видел Скорины, не узнавал его, даже слова не припомнил из его отточенной по всем правилам риторики речи на Маргаритином суде. Шествие одного! И этот один воспринимался теперь Скориной далеким-далеким прохожим, будто бы вовсе и не за своей подписью выдавал Старый Король указы Старому Мойше на его, Скорины, задержание в любом уголке королевства Польского и Великого княжества Литовского.

А меж тем сторонний, чрезвычайно равнодушный голос вновь объявил:

— Его княжеская милость, воевода виленский, канцлер Великого княжества Литовского Альбрехт Гаштовт!..

Гаштовт шествовал тоже в одиночестве. Его плотная фигура; жупан, перехваченный широким поясом; в собольих шкурах кунтуш; закинута за плечи вылета — длинные, до пола, с прорезьями рукава кунтуша, — все выдавало в нем родовитость, кичливость, пренебрежение к подлым рукам, позволяющим себе пачкаться в навозе и типографской краске. Дышал Гаштовт тяжело, так как тяжело было нести перед собой огромное брюхо, поддерживаемое поясом. И смотрел почему-то Гаштовт не перед собой, точно впереди никакого пространства не было, а на свое

брюхо, на руки, положенные на брюхо друг на дружку, словно от них ничего на свете и не зависело: ни Статут; ни бороды, которые подергивал, раздосадованный, у шляхтичей и магнатигов магнат Альбрехт Гаштовт; ни кнуты, которые любил этими своими руками поглаживать первый человек в княжестве. Но особенно поражало Скорину лицо Гаштовта: мясистое, выбритое до красноты в местах, свободных от бакенбардов, — густых, седеющих, полудугами спускающихся к самому подбородку, — по последней тогдашней моде, под Сулеймана Великолепного. Однако ничего не шелохнулось в душе Скорины, хоть и смотрел он на воеводу пристально. Скорина был почти равнодушен к Гаштовту, хотя совсем недавно писем к нему от Альбрехта Прусского добивался, напечатать Статут, Альбрехтом Гаштовтом редактированный и, можно сказать, пестованный, мечтал. «Чего он здесь? — задумался Скорина. — Что он в судьбе моей, особенно в этой — тюремной?..» Однако шествие одиноких на князе Гаштовте не кончалось.

Но прежде чем объявлено было следующее пришествие, раздался такой лязг, скрежет, звон железа, нагрудного панциря, наплечников, наколенников, копий, мечей, алебард и всякого иного сверкающего оружия, что самого объявления пришествия почти нельзя было разобрать. Скорина больше догадался, чем услышал, кто столь многозвонно вышагивает — победитель под Оршей, маршалок, гетман, князь Константин Иванович Острожский. В руке у князя был меч, над ним шелестело около 60 знамен. Топал же он так гулко, словно под ним лежал брусчатый мост, словно шел он по перекидному настилу из замка в замок. В этом топоте потонуло и очередное возвешение пришествия. Сквозь него только и прорывалось зычное фаустовское: «Прощу! Прощу!!», но расслышать фамилии Скорине было трудно, да и не по одному стали появляться в шествии высокие гости, потому что они уже были не столь высокими, как первые, отдельно приглашенные лица. Скорина, кстати, тогда про себя отметил, что король идет без королевы. Почему? В Вильну всегда ведь приезжал с нею? Неужто в Вильне у Боны Сфорцы дел больше, нежели в Короне и тут, в Познани? Ответить себе на эти вопросы Скорина так и не успел, сбиваемый с толку шумом и гамом дальнейшего шествия, которому, казалось, конца и края не будет.

— Секретарь ее королевской милости Боны Сфорцы Людовик Олифио! — звучал сторонний голос.

«А этот итальянец зачем тут?» — удивлялся Скорина, забыв, что через вавельскую канцелярию все служебные бумаги в королевстве Польском проходили, а это значит, не только через руки канцлера Шидловецкого, но и

через руки канцлера Боны — Олифио.

Но в шествии был уже объявлен Ян Лаский. (Скорина снова удивился: как, ведь Ян Лаский в прошлом году умер? Но в позапрошлом умер и князь Константин Острожский, а тоже прошел ведь, и одним из первых!) Имена шествующих продолжали называться: Кмита, Гамрат, Кшицкий, Радзивиллы, Томицкий!.. Скорина только диву давался: неужто его судьба зависела от всех этих утонченных провавельских политиканов, в большинстве своем близких к королеве Боне?.. Но, по-видимому, доктору Фаусту видней, раз он призвал их сюда. А сам доктор Фауст при всем при том по-прежнему оставался недоволен.

— Разве это шествие?! — выкрикивал он. — Разве это карнавал?! — чуть не срывался его высокий философский голос от недовольства объективной реальностью. Он, доктор Фауст, все требовал одного — настоящего карнавала!

Станьчик, наблюдая за страданиями доктора Фауста, иронизировал:

— Карнавал начнется не со Старого Жигимонта, а со Старого Мойши!

— Без карнавала нет средневековья! Это — главное, — поучающе заметил доктор Фауст. — И я прошу, — перешел он на прежний тон, — я прошу: маски надвиньте на свои чёла и на свои носы! Маски!

— Зачем нам еще маски?! — загомонила публика, большой толпой пробиваясь в тесноту познаньского тюремного подземелья. — Маски нам зачем, если наши морды и хари колоритней всех масок на свете?! Мы — театр придворный и народный, мы — опера и батлейка, мы — частушки и моралите!..

До сих пор еще-ни разу ни про театр, ни про оперу и батлейку, ни про частушки Скорина не слышал, но если поспольство средневековья говорит о чем-то таком, то, по-видимому, это поспольство о чем-то таком что-то знает. А поспольство тем временем действительно уже карнавалило. О, боже! Кто только не тиснулся в познаньскую тюрьму Скорины: береты и мантии Краковской академии, Падуи, Сорбонны, Кембриджа, Копенгагена; шапочки бакалавров, подшитые пурпуром; черные ермолки и пейсы лучших талмудистов Мадрида и Кордовы, которые 32 способами читали Библию — справа налево и слева направо; сверху вниз и снизу вверх — по вертикали; с левого верхнего угла до правого нижнего угла и с правого верхнего до левого нижнего — по диагонали; затем в том же порядке, перевернув текст вверх ногами; а затем брался текст не с лицевой стороны, а с обратной, каким он просвечивался оттуда, причем все начиналось сызнова — справа палево и слева направо, сверху вниз и снизу вверх и т. д. 32 способами карнавалили перед Скориной, оглашая библейские тексты,

все лучшие талмудисты и кабалисты всех лучших синагог Мадрида и Кордовы, Копенгагена и Праги. А за талмудистами вышагивали кардиналы, а за кардиналами — инквизиторы: тонзуры на макушках голов круглились и блестели, как нелепые солнца. А за инквизиторами поспешали монахи — обжиралы и опивалы, горлопаны и торбохваты. И горланили они, сколько духу в дыхале: «Я!.. Я!..»

И тут прозвучала в карнавальном содومه первая похвала :

— Я — Средневековье! Я — в похвале! Мои похвалы князю Всеславу Чародею, мои похвалы золотому слову, князем великим Владимиром Красным Солнышком сказанному; мои похвалы князю Витовту, летописями Литвы и Белой Руси увековеченные! Мои похвалы княжеской дружине!..

Следом, как на многоголосом вече, раздалось:

— Осуществись же похвала купцу!

— Осуществись же похвала монаху!

— Осуществись же похвала Великому Печатнику!

И похвалы стали осуществляться, и Скорина очень обрадовался, что первую зазвучала похвала купцу. Наконец! Купцу, а это значит, и его отцу, и всему честному купечеству Полоцка, и всему честному купечеству вообще.

А похвала звучала:

— Будь же благословенно время, когда купец был гостем, а не ростовщиком, открывателем дорог и земель, а не шкуродером, человеком в дороге, а не мытником на ней! Когда подлеет грош, подлеет и купец. Грош, ты делаешь подлецами несчастных, — грош, не подлей! Да будет чистый путь у купца на суше и на море! Чистый путь, чистоту души обеспечить, и главенствуй вера, а не мера. Купец, ты — сын обмена, а не обмана. Обмен — слава земель, а не обман! Мерить локтем и дюжиной да будет так же незазорно, как владеть мечом! Кто сказал, что купец — трус, если его пути — не только Шелковые, но и Черные, как пути в ясырь?! Купец — это сноровка, расчет, отвага, ум, широкая душа!..

Скорина слушал и думал: «Это ж все как будто и про моего отца родного — Лукаша; это ж все как будто и про моего брата родного — Ивана!.. Иване, за тебя, любый, сижу я тут, в этом подполе познаньского магистрата. Ты был должен, однако ж твой сын Роман сполна все отдал кредиторам твоим. Почему ж не объявились перед сыном твоим те, кто меня сюда упрягал? Объявились бы, и все до копейки получили бы. Так не объявились же. Выжидали. А чего?.. Почему?.. Я ли, Франтишек Скорина, им дорогу перебежал, чтоб меня позарез им нужно было сюда заточить?!»

Доктор же Фауст — тот снова над всеми возносил свой высокий философский голос, покрикивая:

— Веселей! Веселей! Что за карнавал без веселья?! Что за средневековье без карнавала?! Что за карнавал без похвалы?!

— Нам похвалу дайте, монахам! — требовали голоса.

— Монаху — похвала, — последовало в ответ, — но если он — Нестор^[165], начинающий «Повесть временных лет» в Киево-Печерской лавре! Монаху, если он — Франциск Ассизский, богатство отца своего, купца, отвергающий, в нищенские лохмотья облачающийся, чтоб напомнить развращенности и спеси, что есть целомудрие, высокий дух человека, жаждущего идеала, совершенства, братства! Монаху, если он — Лютер, осмеливающийся пойти против налы римского. Если он — Рабле^[166], не боящийся правду о вырождении проворной презренной братии своей сказать. Монаху, который в своем затворничестве каноника сказку Птолемея развенчать не страшится, Землю дитем Солнца провозглашая! Монаху, который вместе с козами в пустыне кофейное дерево открывает, в подвале-пивнушке тайну искристого шампанского вина открывает, в светлице-мастерской облик мадонны в красоте ее неземной вдохновенной кистью открывает!..

Скорина не может не быть благодарным своему коллеге доктору Фаусту за это его старание, но он бы еще хотел, чтоб сейчас помянуты были и монах Кирилл Туровский и монахиня Ефросинья Полоцкая, и иеромонах Ананий, который поучал его некогда, чтоб он книгу воском не обкапывал, и который так болезненно и теперь переживает где-то за богатства духовные святой Софеи в Полоцке. Но Скорина припоминает и пятерых монахов-бернардинцев при костеле, на фронте которого — латынь: «Arcus Caeli». Далеко не в первый раз беспокоит его эта надпись: «Arcus Caeli», «Врата Небес»! Но если при тех вратах — полоцкая пятерка бернардинцев, Скорина сегодня тех небес не хочет! И похвал монаху сегодня слышать больше не хочет!..

А шествие монахов тем временем продолжалось, как и инквизиторов, как и палачей. Только палачи шли с закрытыми лицами в глухих башлыках своих балахонов, а монахи — особенно инквизиторы, — напротив, были с открытыми лицами, словно они гордились своим инквизиторством, своим, благодаря ему, триумфом в самой вечности, навстречу которой они и открыли свои лица.

В своем времени Скорина чего только не насмотрелся, но, когда начался карнавал мощей, даже ему стало не по себе. Мощи — как мощи, они молча двинулись друг за другом, вытягивая перед собою костяные руки, оскаливая костяные рты, топорщась костяными ребрами, —

двинулись друг за другом. Поиссохли мощи невероятно, ведь только через 50 лет кандидат в святые объявлялся блаженным, а на мученика, великомученика еще больше нужно было ждать. Как хорошо, что его, некогда маленького Тишку, не приманила келья, не увлек монашеским житием Ананий! А не местною ли святою стала уже Ефросинья Полоцкая? Через местные — в святые вообще. Из Иерусалима вернут мощи твои, Ефросинья, на место твоего схимничества. Но когда это еще будет? Он, Франтишек, не костями хочет возвратиться в ту же Софею полоцкую. А мощи карнавалили, причем сильно гримасничая и капризничая, когда их не от всей души целовали и в их сторону почему-то не поглядывал Скорина.

О, то было самое что ни на есть средневековье — эти мощи! Впрочем, слава богу, что закрученных в мумийное тряпье мощей тут же оттолкнули в сторону веселые скоморохи, медвежатники, дудники, лирники — музыка благонравная и неблагонравная. А музыке той просто на пятки наступали алхимики и звездочеты-астрологи. И просили похвалы себе скоморохи, и сморгонские медвежатники, и алхимики, и звездочеты. «Пускай мы не превратили глины в золото, железа в серебро, но ведь из наших же тиглей вышел в Европу фаянс!» — заявляли алхимики, а звездочеты похвалялись: «Мы небо лучше знаем, чем землю, ибо каждую звездочку в небе крестили, именем каждого зверя и каждого цветка называли!..»

Настоящий же праздник для Скорины лишь тогда начался, когда началось шествие поспольства. Шли мастера-ремесленники, руки у которых — у каждого! — как у самого бога. Шла челядь цеховая. Шли купцы, лавочники, местичи. И не объяви сторонний уравновешенный голос имени Якуба Бабича, Богдана Онкова, Юрия Одверника, Скорине и так было бы радостно видеть их — высокого дородного Бабича, как сам он, подвижного Онкова, красивого, стройного Одверника.

— Похвалу поспольству! Похвалу поспольству! — раздавались голоса, и шли те голоса перекатами, как волны.

— Вот она! Вот!.. — вдруг зазвучало в ответ на просьбу похвалы поспольству. — Вот она! Вот!.. — продолжало звучать, и все лица стали поворачиваться в сторону Скорины.

И Скорина увидел, что он — совсем не один, что вокруг него, точно красных грибов в лесу, — беретов, точно широких парусов в море, — мантий, точно искрящихся звезд в небе, — перстней, надеваемых на пальцы докторам наук. Доктора шествовали и шествовали, а он, Скорина, оставался на месте. «Доктора, — и впрямь похвала поспольству, если все они из поспольства, — думал Скорина. — Но так ли уж мало среди них и почтенных мужей из шляхты?» И помнил всегда Скорина о Фоме

Аквинском^[167] — докторе-монахе. Это значило, что доктора — похвала не только посольству, но в большой мере университетам Кракова и Праги, Падуи и Парижа, Кембриджа и Копенгагена.

— Похвалу университету! — подмывало тут крикнуть и самого Скорину. — Ведь это в наше время они возникли, нашему времени хвала!

«Я люблю тебя, мое время! — словно райская птица запела в душе Скорины. — Люблю жизнь, мудрость, труд. Люблю Новый Свет, который мы открыли, печатный станок, который мы изобрели, города, которые мы построили, создав песню из камня, гимн небу, поэмы витражных радуг и наполнив сводчатые громады музыкой органов. Мы повесили на колокольни колокола, чтобы их перезвоном славить бога и люд оповещать о вражьем набеге, о пожаре, о моровом поветрии. Мы перед угрозой варварских мечей и копыт первыми опробовали унию — союз: Кальмарскую унию, Шотландскую, Кревскую! Из Крева родился Грюнвальд! Из Крева произросла слава Коропы и Великого княжества Литовского! Слава меча славянского! Слава креста христиан праведных, — не крестоспев! Креста, который благословляет не путь грабежа и разбоя, а подчинен закону Treuga Dei^[168], тоже утвержденному моим временем в его любви к богу и людям, к миру и справедливости. Хвала «законам, богом данным и добродетелью, обычаем и человеческой мудростью предуготованным!..».

На карнавале — как на карнавале: не запеть райской птицей душа Скорины тут никак не могла! Но это райское пенье — лишь несколько мгновений оно и продолжалось: пронеслось порывом ветра утреннего, шелохнулось кустом шиповника придорожного, на который ветер тот налетел. И слышал ту похвалу своему времени Скорина только в самом себе, и не слышали ее те, кто по-прежнему смотрел на Скорину и по-прежнему что есть мочи выкрикивал:

— Похвала посольству — вот! Похвала посольству — вот!..

Скорина смутился: «Я — похвала посольству? А Бабич, Онков, Одверник? Разве стоит выделять одного меня? Разве не ровня все мы друг другу — соратники, сотоварищи, земляки?!»

А голоса — перекатами, как волны:

— Франтишек! Скорина! Вы, вы — похвала посольству полоцкому, виленскому, Белой Руси, Литве, Жемойтии! Франтишек! Скорина! Ты, ты — похвала посольству полоцкому, виленскому, Белой Руси, Литве, Жемойтии! Лада, лада Франтишеку! Лада, лада Скорине!

— Похвала, да только в долговой яме?! — не то спросил, не то

воскликнул Скорина, так как вроде бы крысы вдруг заскреблись, загрызлись — в темноте, под его ногами, возвращая его к реальности, рассеивая дивный сон видений, вызванный волею славного доктора магии Иоганна Фауста.

— Крысы! — крикнул Скорина, поскольку лишь криком и мог отпугнуть этих юрких, осклизлых тварей от своих ног.

И взяла Скорину досада, что *такой* карнавал кончается пришествием крыс. *Такой* карнавал!..

Однако ночь сто двадцатая в подземелье познаньского магистрата для Скорины еще не закончилась. Мгновение карнавала — мгновение крысы, — мгновения, которые друг друга перекрыли, и вновь текло время, чтоб распадаться на некие иные мгновения. И если Скорину оторвали от карнавала крысы, то совсем их не замечал доктор Фауст, обеспокоенный прежде всего тем, чтобы отвлечь Франтишека от его черных дум о несправедливости и направить его внимание на то светлое в жизни, что время Франтишека Франтишеку дарило. Дух противоречия был всегдашним духом доктора Фауста, и он мог бы начать с возражения Скорине — его слову о своем времени. Ведь что ж это за время, которое порождает то, что его же и убьет. Создал свой лучший цветок — город, поэму камня, замки с толстыми-претолстыми стенами, готику *flambeau*^[169]? Но ведь изобрел же и порох, который разрушит и краснокаменные замки, и пылающую готику! Открыл Новый Свет и радуется?! Плакать нужно, что открыл: этот Новый Свет закажет ему путь вообще, закроет его как Свет Старый — Старых Жигимонтов, Старых Мойшей. В пику доктору наук Скорине доктор магии Фауст выдал тут бы сентенцию: «Да здравствуют добрые старые времена!» Но доктор Фауст в своем великодушном желании ничем не омрачить последнюю ночь Франтишека Скорины всеми силами противостоял соблазну возражения, да так и удержался — ничем не ответил Скорине на его похвалу своему времени. Его задача облегчалась тем, что вовсе не по нраву был ему свет Старых Мойшей. Но все же ностальгия по доброму старому времени в дальнейшем поведении доктора Фауста, несомненно, проявилась, и не только потому, что доктор Фауст был сентиментальным немцем, но и потому, что он хорошо знал историю края, выходцем из которого был действительно ему дорогой Франтишек Скорина.

Итак, доктор Фауст хорошо знал, что белорусское средневековье не было б белорусским средневековьем, если б оно рядом с Похвалой не поставило похвалку. Похвалку оно, правда, с большой буквы, как Похвалу, не писало. Но похвалка являлась делом гордости и чести, а где и когда дело

гордости и чести не считало себя великим? Похвалка — заповедь мести. Похвалка Статутом литовским была уже запрещена. Статут не признавал кровной мести. Но Статут вместо нее утвердил закон, направленный против каждого, кто, обвинив кого-нибудь, доказать этой вины его не смог. Так сможет ли Старый Мойша доказать вину Франтишека Скорины, если Франтишек Скорина — невиновен? А то, что Франтишек Скорина невиновен, для доктора Фауста было ясно, как божий день, хоть сам он — ученый муж полночи.

Скамья в магистратском подземелье Познани оказалась на месте. Но кто полезет под нее, когда Старый Мойша — в Варшаве? Да и пан Твардовский, считающий Скорину виновным, тотчас объявился в подполе и уже успел произнести:

— Veto!..

И тут не на шутку разозлился такой всегда глубоко рассудительный, олимпийски спокойный доктор Фауст. Скорина еще никогда столь гневным доктора Фауста не видел; все Прекрасные цветки средневековья, в том числе и пан Твардовский, его никогда еще столь гневным не видели. А доктор Фауст попросту кричал:

— Я — не Катон!.. А Польша — не Карфаген!.. Но, подобно Катону, я скажу, я повторю: «Delenda Carthago... delenda libertas Polonorum»^[170]. Чтоб не торжествовала справедливость, чтоб не торжествовала правда, чтоб собачий набрех бросал в тюрьмы честность и не было никакой возможности загнать того пса — скорченного, с поджатым хвостом, паршивого — под скамью, дабы он там давился своим признанием «смошенничал я, как собака», а после трижды побрехивал, да так, чтоб не только в зале суда было слышно, не только в городе — Виль-не, Полоцке, Варшаве, но по всему Великому княжеству Литовскому, по всему королевству Польскому!.. А он — veto?!

Пана Твардовского, однако, вся эта обвинительная тирада ничуть не тронула.

— Вы, — сказал пан Твардовский доктору Фаусту с невозмутимым спокойствием, — не судья Речи Посполитой, которую сам Эразм Роттердамский назвал прибежищем свободы, образцом толеранции и примером для тиранических правительств. И вы еще вины Старого Мойши не доказали. Правосудие непременно свершится. Правосудие в руках короля Жигимонта Старого, именем которого Польша имела, имеет и будет иметь свои святые свободы-вольности!.. Суд впереди, тысяча дьяволов!..

— Если б у меня действительно уже была душа, я вас, дорогой Франциск, так пожалел бы, так пожалел бы, — снова загорюнился Голем.

— Не горюй, добрая душа, — просветлев лицом, сказал доктор Фауст, запамятавав, что у Голема души нет.

И вновь заплакал Голем, будучи не в силах смириться и забыть, что души у него нет.

И над всем тем, что только что происходило в мрачном каземате познаньского магистрата — в словесной перепалке и в молчании, наполненное радостью и сопровождаемое плачем, — словно венец этой ночи, воспарил, как белый орел-сокол, чистый и под стать юношескому звонкий голос пожилого уже, однако, Станислава Станьчика;

— Да, суд впереди. Суд всегда впереди. И будет суд тот для вас, Францискус, непременно справедливым.

— *J pede fausto*^[171]! — добавил доктор Фауст, молча усмехаясь и не без удовольствия про себя отмечая, что его фамилия звучит в унисон с латинским словом «счастливо».

Утро вечера мудреней. Наверное, сколько помнит себя человечество, столько дружит оно с мудростью этой пословицы. А Скорина мог еще и знать и любить и свою полоцкую поговорку, согласно которой без присловья даже со скамьи не свалишься. Со скамьи, на которой Скорина досыпал свою последнюю ночь в подполе познаньского магистрата, он поутру не упал, но присловье о мудрости утра все же на устах у него поутру было. А чем же мудреней оказалось утро 17 июня 1532 года? Да хотя бы тем, что оно оспаривало мудрость любимых Скориной эллинов и римлян. До утра 17 июня Скорина, к примеру, безоговорочно соглашался, что единственное спасение побежденных — ниоткуда не ждать спасения.

И он, Скорина, в своей познаньской темнице ниоткуда и не ждал спасения, хотя вправе был ждать его, даже должен был ждать его, потому что спасение который уже день извне приближалось к нему, торопилось, обретало черты реальности по мере того, как спешил из Гданьска поначалу сюда, в Познань, а затем на Вавель дорогой племянник Франтишека Скорины, сын его брата Ивана — Роман. Тут, в Познани, Роман был уже в марте месяце, пока лишь просьбами в магистрате добиваясь освобождения из-под ареста своего дяди, одновременно обязуясь выплату отцовского долга обеспечить залогом, а потом, 1 мая 1532 года, составляя в том же магистрате официальный свой протест против содержания в заточенье арестованного без всяких на то оснований доктора Франтишека Скорины. Тогда же, 1 мая, Роман избрал и особого полномочного представителя своего в деле освобождения дяди. Всего этого не знал в своем заточенье дядя Франтишек, зато о всех перипетиях борьбы за его судьбу племянника

Романа были как нельзя лучше осведомлены варшавские кредиторы-ростовщики. И в ответ на повторные усилия Романа выволить Скорину из тюрьмы с гарантией выплаты долга посланцы Мойши Старого, уже известного нам 2 мая 1532 года, выхватывали в королевской канцелярии уже известный нам второй указ, предписывающий и дальше держать Скорину в тюрьме со всей надлежащей бдительностью. Так что вокруг темницы Франтишека Скорины — вне, за стенами ее — вон какая борьба кипела, вон как гоняли своих гонцов между Варшавой, Познанью и Краковом Старый Мойша и его сын Лазарь да зять Моисей!

И когда так ничего и не решилось в пользу его дяди в Познани, то и Роман Скоринич погнал своего белого коня в сторону Вавеля. Конь летел послушно — белый, точно с Погони Великого княжества Литовского конь, и лишь не поднимал над своей головой руки с мечом Роман, а держал в руках сыромятные поводья да мягкими сафьяновыми чеботами побуждал коня поспешать, и тот, весело пофыркивая, машистым галопом нес хозяина через городки и деревни, то ли радуясь молодой траве, душистой сирени в палисадниках постоянных дворов, коротким — с первыми громами — теплым ливням, освежающим траву, сирень и его пышную гриву, то ль вообще как будто понимая, что он — белый конь-вызволитель, конь освобождения скорининского.

Легче было домчать Роману до Кракова, труднее было в самом Кракове. Да и времени дорога меньше заняла, чем хождения на Вавель. Но что было, то было: Роман пробился-таки и в королевскую канцелярию, и к самому королю. Получив аудиенцию у короля, доказал королю и убедил короля, кто и что его родной дядя, многославный ученый муж, *doctoris artium* и доктор лекарских наук Франциск Скорина. И тем проще было скорининскому племяннику Роману изложить королю правду о Скорине, что у него все расписки отцовских кредиторов находились на руках, а в тех расписках черным по белому значилось, что каждый из них Романа «освобождает и отпускает свободным как наследника навсегда и навечно». А если кто-то из кредиторов отца не явился с непогашенным долгом к нему, Роману, то сие на совести того, кто не явился, но буде он предъявит свой иск, то он, Роман, тотчас же готов любой отцовский долг выплатить — вернуть товаром. Он — человек взрослый, полноправный, фортуна ему споспешествует. И когда это вообще долги племянника были долгами дяди, который ни к каким заимодавцам не обращался, никаких расписок им не давал и жил, совсем не зная, что где-то в Познани или Варшаве есть некто, считающий его, Скорину, своим должником!..

Роман был молод, обаятелен, красноречив. Старый Жигимонт просто

не мог нарадоваться, что среди его подданных имеются столь красивые и энергичные молодые люди и что они — племянники особ таких знаменитых, как доктор наук Франциск Скорина, которого он, король Жигимонт, до сих пор почему-то не приблизил к себе, не взял под свою опеку, — он, который считает себя ревнителем законов, неустанно о славе своей как законодателя заботится...

В то время королевский скульптор из Италии Ян Мария Падована^[172], проектируя на Вавеле часовню для короля, уже украсил ее барельефом библейского Моисея, лицом сильно смахивающего на Жигимонта. Одел скульптор своего Моисея в соболью шубу, дал ему в руку скипетр, в другую — пергаментный свиток с десятью заповедями. И как же это он, Старый Жигимонт, поверил Старому Мойше — не учуял коварства, расчетливости, лжи?! Короли никогда не виноваты, виноваты те, кто им подсказывает, советует, — так сывезу считалось не только на Вавеле. Но, по-видимому, впечатление на короля Жигимонта Роман Скорина произвел такое, что чувство вины в нем все-таки зашевелилось, заговорило. А может, сказалось тут и недовольство своей канцелярией, которая подсунула ему на подпись те аж две злосчастные бумаженции с требованием арестовать Скорину?..

Так или иначе, но утро 17 июня 1532 года было мудрым и мудростью короля Жигимонта, который до сего дня превратно истолковывал дело Франтишека, введенный в заблуждение лихими заимодавцами. И читали в то мудрое июньское утро в магистрате познаньском новый королевский указ, привезенный на этот раз уже Романом Скориной и окончательно разрешающий дело Франтишека Скорины.

«Мы, король, желаем засвидетельствовать это всем, кого касается...» (А касались высочайшие слова прежде всего магистратчиков Познани!) Мы, король, «повелеваем этой грамотой, чтобы вышеназванного доктора Скорину не вызывали ни в какие ваши судебные инстанции и не судили ни за какие бы то ни было долги и имущество...» То одобрялась расторопность магистратчиков при задержании и требовалось от них правосудие, а то — никакого суда. Суда не будет! Не будет и — более того: «...чтоб избавили его от нападков и домогательств со стороны всяких кредиторов, какого бы там ни было чина, и чтоб освободили его от долгов, наделанных самим его братом».

«Не судить, так не судить, — это просто! — думали в магистрате. — Но как избавить от нападков и домогательств? Это уже не так просто. Да и как быть с предыдущими указами, тоже его милостью королем подписанными, только в другие руки данными?!»

О, мудрый король! Он предвидел затруднение своих познаньских магистратчиков, и потому следом за неожиданными для них приказами, изъясняя новую свою, действительно справедливую волю, король в конце нового своего указа, дабы магистратчики видели, что король помнит и свои прежние распоряжения в том же деле, написал: «И пусть не явятся тому преградой какие бы то ни было письма любого содержания и даты, выданные нашей канцелярией против того, кого мы вызволяем и объявляем свободным...» Таким образом, указ от 5 февраля и указ от 2 мая королевской рукой аннулировались. Магистратчики обязаны были предоставить своему узнику свободу. Из вершителей правосудия над ним они в одно мгновение превратились в виноватых перед ним. Правда победила, правда на то и правда, чтобы побеждать!..

Мудрое утро, как всякое утро, переходило в день — день чьей победы: Франтишека Скорины или Романа Скоринича? И того, и другого, и в действительности чего-то еще большего, первосушностного на свете, самого на земле великого. Правды? В душе своей Франтишек Скорина этого сказать не мог, потому что его свобода устанавливала справедливость не полностью, не полностью открывала правду. Ведь оставалось непокаренным зло, которое несправедливость породило. Добро с добром, а зло всегда особняком. Особняком и от правды, хотя порой и облаченное в тогу правды, с претензиями на правду, с воинственной защитой себя — несправедливого, но вроде как обиженного. Чем? Правдой!..

При выходе Франтишека Скорины из темницы познаньского магистратского подземелья, кроме радостного Романа да ясного солнышка в небе, на ее пороге никого не было — сразу же пропал, исчез даже тот магистратчик или просто охранник, который отпер склеп, где томился невинный узник. И конечно же, и в помине тут не было главного виновника всей этой несправедливости, первейшего обманщика, зачинщика расправы над ним, насилия, издевательства. Кого же таковым считал Франтишек Скорина? Разумеется, Мойшу Старого: тот, тот виноват, что он, Скорина, в темной яме столько дней протомился, столько дел не осуществил — и виленского епископа Яна, и своих собственных! Ничего из книг не продано, ничего не напечатано. Никто не вылечен, не спасен! А дети-сироты! Кто учтет их слезы, тревожное ожидание отца, страх за него? Может, они уже ходят по городам, по весям, как побирушки, как бесхалупники?! Кто учтет? Кто учтет, что полгода не был он уже на могиле Маргариты — ни подснежников в этот год не принес ей, ни белой, так ею некогда любимой душистой черемухи в черемуховые холода не наломал, ни сирени, уже отцветшей, пока Старый Мойша добивался тут неправого суда

над ним? И на могилу брата Ивана цветов не положил. Маргарита для него — Маргаритка, а вот Ивана он Янкой не называл, чтоб имя его с праздником Купалья, святого Яна связывать. Но когда к дедам-прадедам отошел его брат, то на радуницу кто за него, Франтишека, на Иванову могилу сходит, кто вспомнит верного брата его так, как он, Франтишек? Потери умерших, может, еще тяжелее, чем живущих. Кто же вернет Франтишеку все им утраченное? Кто пополнит то, чего уже не пополнишь, ибо пустые ведра дней остаются пустыми ведрами дней, когда в них не пролились ни грозовой ливень желаний, ни золотой дождь — хлебник, ни горячая слеза отчаянья при неудаче в деле? Потери материальные, потери моральные — огромность тех и других Скорина знал. Но есть ли цена и тем, и другим? Если материальные убытки можно еще измерить пенязями, то чем измерить боль души, смятение духа, твою обиду, чинимую неправедными людьми, твои мучения при мысли, что зло на свете существует и действует, и не без успеха, — какими талерами оплатить все это?! Вот какие думы одолевали Скорину в первый день его свободы. И если то утро было мудрым ею, дарованной Франтишеку волей, то этими думами Печатника и весь тот солнечный день был действительно мудрым.

Но мудрым был тот день еще и словом Скорины...

Он любил вас, Прекрасные цветочки средневековья, ибо каждого из вас было за что полюбить, да и вообще в своей жизни человек любит все: и реальность, и сказку, и явь, и сон. И особенно любит человек выдумку, если она — дитя его времени, дитя его дедов и отцов, да и его дитя. И особенно он любит сны, когда они красочней яви, когда они — отдохновение души, то претворенное дневное, реальное, которое становится чудом, красотой, невозможной наяву возможностью.

Он вас охотно выслушивал, Прекрасные цветочки средневековья, но он с вами, кроме одного-единственного раза, не заговаривал, и вы должны уже были понять, почему не заговаривал. Потому прежде всего, что он принимал вас такими, какие вы есть, и вовсе не стремился что-то в вас изменить, в чем-то вас совершенствовать. К тому же у двоих из вас не было душ, дабы их совершенствовать, а он, Скорина, имел дело прежде всего с душой человеческой. И поэтому он с вами терпеливо молчал — молчал, как на двух своих портретах в книге Иисуса Сирахова. Но молчать он мог только с привидениями, а не с людьми. Ночь — выдумщица, день — хлопотун. И не мог не быть особенно хлопотным для Скорины день после 120 ночей неволи. И первая забота *того* мудрого дня после *того* мудрого утра — обращенное к людям слово скоринипское. Уже в 12 часов — в полдень! — был Франтишек Скорина с Романом Скорини-чем в магистрате.

Там Франтишек Скорина сначала написал заявление, где объяснил властям неправомерность своего ничем не обоснованного ареста. Это — в полдень. А после полудня он выступал перед посрамленными магистратчиками, выступал против Мойши Старого, выступал против Света Старого, выступал от своего имени и не только, потому что за ним теперь было еще и слово короля. От своего имени и от имени короля Скорина клеймил перед магистратчиками тех, кто нанес вред не только ему, но и тому, кого он по службе своей в место Познаньское представлять приехал как его секретарь и лекарь. Скорина говорил, осуждал и совестил, требовал и призывал, настаивал на осуществлении полной справедливости, полагая, что, при всей невозможности возмещения ему и виленскому епископу Яну материальных и духовных потерь, понесенных им, все же определенным образом сумма денег в 6000 коп литовских грошей покрыть убытки может. Заявление на компенсацию было сделано. Требование такой огромной суммы денег, несомненно, выражало цену скорининских утрат в Познани. Но все же с мудрым своим словом обращался в магистрате к присутствующим Скорина не столько из-за тех 6000 коп литовских грошей, сколько — а так всегда было, когда Скорина выходил к людям со словом, — ради во сто крат большего на свете, чем любые золотые и сребреники.

О, как красиво говорил 17 июня 1532 года Скорина в Познани в магистрате! Красиво Скорина говорил, необычайно красиво в Падуанском университете — перед 24 падуанскими профессорами, но тут — красивей. Красиво Скорина говорил, необычайно красиво в радостной беседе с Якубом Бабицем и Богданом Онковым — после выхода «Апостола», но тут — красивей. Красиво, можно сказать, бесподобно говорил Скорина на Маргаритином суде в Вильне — перед королем Жигимонтом, перед панями из Преднейшей Рады, но тут — красивей и бесподобней. И ничего, что перед ним были не доктора-профессора, не друзья-приятели, не король и пань-радчики, — перед ним были просто люди. И наверное, не услышь они, сколь красиво говорил Скорина, вряд ли они были бы так пристыжены, как пристыжены были. А кто не знает, что имеющий стыд магистратчик — уже не тот магистратчик, что стыда не имел; что имеющий стыд тюремщик — уже не тот тюремщик, что стыда не имел и что вообще имеющий стыд человек — уже не тот человек, что стыда не имел. Знал об этом и человек в мантии, заботой которого был человек совершенный. Но, говоря красиво, Скорина себя не обманывал, полагая, что одного его красивого слова достаточно, чтобы Старый Мойша отныне уже никого безвинно в темницы познаньских магистратов не упрятывал. И помнил Скорина о Жигимонте Старом, думая теперь, что он обязательно должен

повидаться с этим монархом, и не для того только, чтоб отблагодарить его. Ведь если добро с добром, злу не очень уютно на этом свете. Так что и закончив свое наикрасивейшее слово в зале познаньского магистрата, Скорина понимал, что он его еще не закончил.

Разумеется, не сидя за конторкой, говорил в познаньском магистрате 17 июня 1532 года Франциск Скорина. И когда говорил, то казался племяннику своему Роману высоким, как никогда, просто на себя непохожим. И один только племянник Роман Скоринич и пожал тогда от всей души крепкую руку своего дяди, лишь тот спустился из-за магистратской кафедры в людную толпу магистратчиков. Но речью своей Франтишек Скорина мог быть недоволен уже хотя бы потому, что зерно падало не на почву — на камень. В чужом монастыре пророками не бывают, — и эту поговорку своей Руси помнил Скорина, и ту, еще более известную на Руси и гласящую, что нет пророков и в своем монастыре. Вот он, Скорина, и познал уже своей жизнью мудрость двух родных присловий. А где же третья поговорка, что была бы непосредственно его? Бог ведь троицу любит. Но — любишь ли ты, боже, Скорину, — любишь ли?..

Post scriptum, или тройная заключительная глава книги о многодостоинном ученом муже Франциске Скорине, в которой во всех возможных подробностях словами *finis*^[173] рассказывается не только о конце жизни Великого Печатника, но и о всех его друзьях и недругах, с судьбой его связанных, и совсем ничего не рассказывается о других и другом.

Omne trinum perfectum^[174].

Латинская пословица

...А если в чем-то ошибусь, умнейшие, поправьте...

Франциск Скорина

1. ПРЕДПОСТСКРИПТУМ

В жизни Скорины это был далеко не финиш: впереди у него было еще около десяти, а может, и больше лет и зим. Год шел 1533-й. И все же то был уже один из эпилоговых годов жизни Скорины, который в напрасных поисках и усилиях пытался дать ход своему делу, хоть, казалось бы, выйдя из познаньской эпопеи победителем, добиться полного торжества своего дела в Речи Посполитой он мог бы вроде уже совсем легко. Но все

получалось наоборот. И было то «наоборот» в своей безжалостности жестоким. Оно рвало жизненный путь Великого Печатника на такие шматки, которые неизбежно становились всего лишь эпилоговыми отрезками-лоскутьями его дальнейшей судьбы. Арлекином, паяцем, шутом чувствовал себя Скорина в этом рванье. На языке горело, сердце болело: ведь не грехи молодости — его книги, не забава юности они! Но разве когда-нибудь кто-нибудь не может подумать о них, что видит перед собою всего лишь проделки затейника, штукаря, свидетельство удали молодецкой, и особенно если он в свои зрелые годы не подтвердит своего печатничества как деяния всей своей жизни, а не только юности?.. В этом была, в этом после «Деяний апостольских» и состояла бесконечная драма души скорининской, неизбывная мука души скорининской — ее недовольство, горечь, обида и досада.

Одиссей, соблазняемый Эльзой Грубляйн? Апостол Павел, прошедший пол-Европы и не свершивший апостольства? Коперник, остающийся при жизни без эха своего открытия? Да! В чем-то Одиссей, в чем-то апостол, в чем-то Коперник, и — ни Одиссей, ни апостол, ни Коперник — Франциск Скорина! Скорина, исполняющий на свете только свое предназначение. И потому, наверное, он такой разный, что сам искал себя во времени и что Новое время само себя в нем искало...

А жизнь и впрямь рвалась на лоскутья, никому не нужные, И подхватывал те лоскутья равнодушный вихрь дней, ночей, месяцев, лет, как подхватывает осенний ветер на свои игривые крылья осыпающуюся листву. Finis! Finis coronat opus!^[175] А у него — конец без конца. После Познани и Кракова он пройдет Вильну, после Кракова и Вильны — Москву, после Москвы — опять Вильну и опять Прагу, где окажется королевским садовником-ботаником Градчан, в услужении у нового работодателя — чешского короля Фердинанда. И обернется на Градчанах дело даже так, что казначеи из Богемской каморы — королевской канцелярии Фердинанда — станут приравнивать его к лодырю и едва не зачислят в шайку воров, которые некие там железяки у итальянцев-архитекторов украдут и будут за это биты и сечены в Пороховне и повешены на Старом Мясте. Но сам-то он, Скорина, знал, что казначеи из Богемской каморы должны ему за службу на Градчанах 200 гульденов и не прекращают вводить цесаря Фердинанда в заблуждение, дабы отвадить его, Скорину, от Градчан и не возратить ему тем самым долг, столь необходимый ему, как, впрочем, и все другие, которых набралось у него немало. В Праге на этот раз — о боже! — он сам стал ростовщиком, заимодавцем. Но все ради одного, самого главного, — не столько ради будущего детей своих, сколько ради нового

печатного станка, который видел он и во сне и наяву, и все будто бы слышал, как скрипит уже тот станок, напрягается, тиснет-печатает мудрость и красоту письмен!..

В новый свой станок Скорина верил уже давно — верил как в правду. Ведь у него всегда вера в дело была верой в правду и красоту. И даже думать, всего лишь думать о правде — это во все его дни доставляло ему величайшее Блаженство. наслаждение. *In medio stat virtus* ^[176]. А его время — действительно срединное, средневековое, как слышал он от полночных голосов Жизни в первую свою полночь после Дня Первого в то еще, тоже первое, пребывание в Праге. Но если он — в средневековье, посередине, то и Правда его — посередине. А если она посередине, то, значит, не может не быть золотой — золотой срединкой. *Aurora media!* ^[177] Заря. Заря Правды, правда Зари...

Но в какой бы срединке Скорина сам себя ни видел, когда бы то ни было прежде или теперь, садовничая на Градчанах, из любых обстоятельств, из любых приключений он рвался-вырывался вперед. Ведь когда это еще время его окажется среди времен прошлых и будущих, — когда?! А в своем времени, устремляясь всегда вперед, он постоянно — как бы на его краю, и край тот — словно мыс земли материковой. Материк врезается в неоглядный простор океана, волны которого, набегая на мыс, разбиваются о него... Впал он в детство, что ли, — Скорина? Ведь некогда он похоже представлял свой родной Полоцк: Островской посад его раскинулся посреди Двины — на песчаном острове в светлой реке времени, на острове, омытом, беспрестанно омываемом водами вечности. Только нет! Не впал он в детство. В Полоцке он был просто с Полоцком, с поспольством его, со всем своим краем — Русью Белой и Черной, Берестейской и Туровской, Поозерной и Беловежской, Полесской и Приднепровской... А тут он, хоть и на Градчанах, хоть и в сердце Праги, но — один. Один на мысу, врезающем свой острый берег в самое вечность: мыс — один, он — один, хотя рядом — лекарственная травка, златы дешт, дубы и буки, днем — солнце над ними, ночью — звезды.

Но смотрит Скорина на траву, кусты, деревья, и все больше они кажутся ему как бы сошедшими то ли с торжественного одамашека короля Жигимонта, то ли с вышивок его матери, то ли с красочно разрисованных стен их полоцкой светелки, — стилизованными, универсализованными. Ужаснулся даже: это же рядом с ним и стилизованные, универсализованные цветы и листья из его Библии! Неживые! Дождь не оставляет на них дождевики, ночь — росинки, снег — звездочки-снежинки.

Ветерок их не колышет, аромата их он не чувствует, трепетанья их, шороха не слышит. Неужто и он среди них под стать им — стилизованный, универсальный живой покойник, труп?! Оглянулся — и видит: за спиной у него — в полнеба, высоко-высоко — птолемеяевская Роза, лепестки завяли, венчики в своей прозрачности окостенели. И едва ли не все его прошлое заслоняет собою Роза и тени — почему-то непроглядные — на все, что под нею, стелет. Ему страшно, жутко. Ему хочется к живым цветам — на берег Полоты, на капище возле Воловьего озера, на альпийские луга, которыми он любовался на пути в Падую.

Скорина понимает, что мыс его — приют одиночества, жилище самой вечности, обитель нетленной славы. Он, однако, не согласен оставаться на нем в одиночестве, полуживым, полумертвым. Да и слава нужна ли ему одному, если она — не с Полоцком, не с Белой Русью, не с Краковской академией и Падуанским университетом, вообще не со славянщиной, вообще не со всем божьим светом?!

И что страшней на свете — конец света или мыс одиночества, оторванность от родной почвы, от поспольства, от люда своего? Страшней конца света — оторванность, одиночество!..

В «Пасхалии» своей он все затмения солнца вычислил для поспольства вплоть до XVII столетия. Мог бы и до XX, до XXI — обычная арифметическая задачка! А жизнь его? Задача, которую решал-решал, разрешается одиночеством, унынием?! Неужто и вправду судьба его — под знаком того затмения, которого так боялась его мать? Чтоб другие матери не принимали затмения за лихие знамения, он и вычислил им в «Пасхалии» все ближайшие затмения. Предупредил. Снял у них страх с души. А вот с души его матери страха никто не снимал. Так неужто страх материнской души не отводил от него беды? Он верит: не мог не отводить. Но, по-видимому, столько бед толпится на свете белом, что сил материнской души не достало, чтобы каждую из них отвести, предотвратить.

Да и солнце не может быть против человека, против его счастья, жажды жить, творить, любить. Оно для того ведь и весну рождает, и лето в спелости холит, и богатую осень человеку дарит. И собой радуется, и молодым месяцем — собой вечным и месяцем обновляющимся. Этой вечности обновления, вечности света и вечности мира нет конца-края и не будет. Но пребывать бесконечно грустным в бесконечном мире, — какая мука!.. Да если б еще одиночество выпало не за одержимость его, не за решительность, не за стремление к мудрости и жажду совершенства, не за память о матери, не за верность земле и слову, из которых он в мир вышел! Боже, прости нам грехи паши!..

И может, это его самый большой грех, что он отмалчивался в своих мыслях, когда ему досаждали чаще навязчивые, чем ненавязчивые Прекрасные цветки средневековья. Ведь именно с ними он бывал не одинок, одиноким будучи или находясь на грани риска, еще не ставшего действием либо уже давшего свершение. Не за такое ли одиночество он и расплачивается теперь настоящим одиночеством?..

Но разве они, Прекрасные цветки средневековья, и особенно многомудрый Фауст, и несдержанный пан Твардовский, и добродушный в своем острословии Станьчик, и истязавший себя гореванием Голем, — разве они в какой-то мере не его же собственная сущность?

Разве они — не ветви его судьбы, а может, и души, если душа есть древо, чья крона ведь — из ветвей? Возможно, что и ветви.

Но есть еще у дерева и ствол, и то, что остается после зеленого буйства листвы, — голые, мертвые сучья. Вот и он теперь такой же ствол — одинокий на мысу материка, врезающегося в лазурную даль небосклона?..

Но мертвым стволом Скорине быть не хочется. Нет! Это не его образ. Он не чувствует подле себя жухлых, палых листьев с ветвей своих. Крона его дерева — вся еще зеленая, стылыми ветрами не сорванная, даже не порыжелая. Он покамест еще — древо листвы не опавшей. И опадать листве с дерева сего, конечно же, не здесь — не на градчанском холме, а отсель далече — на холмах Полотчины, Белой Руси, да и когда еще, в какие времена — далекие ли, близкие ли?..

А сейчас память Скорины никак не может расстаться с доктором Фаустом и таким теперь желанным для него Станьчиком. Это именно они, Фауст и Станьчик, были ему, как братья, или, вернее, собратья. И действительно, он и сам мог бы стать, например, Фаустом. Примись он разгадывать тайны бытия, запродав ради познания вселенной свою душу дьяволу, — и был бы Скорина уже не Скориной, а доктором Фаустом. А разве не мог бы он сделаться праздным гулякой, прожигателем жизни, как пан Твардовский, — пусть не приобрел бы лоска рыцаря-бретера, ибо не шляхтич, но слиться с уличной толпой странствующих школяров мог уже в Краковской академии, мог в поющей, танцующей Падуе, мог, начиная с кулика под Варшавой и кончая днями усердствования за печатным станком в доме бургомистра виленского Якуба Бабича, в окнах которого гудела многоголосая треугольная рыночная площадь, упирающаяся улочкой в Медницкие ворота. Разве во все вообще времена человеку не легче всего предаться именно праздности? Он мог бы запросто употребить свой талант, как Станьчик, на развлечение власть имущих. Мог бы оставаться

бездеятельным и тяжелым на подъем, как Голем. Мог бы... Однако мог ли, если понял иное свое предназначение, твердо осознал его, всей душой почувствовал? Выходит, не мог — не мог умножать ни Фаустов и ни Твардовских, ни Станьчиков и ни Големов. Вот почему он — не их двойник, они — не его двойники, хотя и оказались друг с другом вместе. И то, что его отделило от них, должно было его отделить от них и неотвратимо привести на этот мыс одиночества — сюда, на Градчаны.

Ты один здесь, Скорина, как солнце в полуденном небе; ты один здесь, Скорина, как месяц в полуночном небе!..

Да! Скорина думает, что он здесь один. Но так бы не думало, если б думать могло, одинокое солнце; но так бы не думал, если б думать мог, одинокий месяц. Да так бы не думало и улыбающееся, искрящееся лучами солнце с печатного сигнета Франциска Скорины, не думал бы и молодой месяц, щекой прильнувший к мудрой улыбке солнца на том же скорининском сигнете, — не думали б, если б думать могли. И не думали б прежде всего потому, что в памяти их оставались бы те же разглагольствования Прекрасных цветков средневековья. Ведь в жизни все, что было, кем-то или чем-то помнится. Скорина полагал, что он — одинок, солнце и месяц считали иначе. Да и сам Скорина взглянул бы на все по-иному, обладай в свое время доктор Фауст магическим даром вызова и сил, ему неподвластных и упоминаемых им только всуе. А произносил когда-то доктор Фауст в пражской типографии Павла Северина имена Джордано Бруно, Жанны д'Арк, Мигеля Сервета, Казимира Лыщинского, Яна Гуса, Мартина Лютера, Эразма Роттердамского, Томаса Мюнцера. Но вызвать их для лицезрения — это было не в его власти, ибо властью он обладал не той, — не светлокнижной, а чернокнижной. Да и разве захотел бы он удваивать, утраивать силы Франциска Скорины вызовом на турнирную арену истинных его собратьев по духу, по деяниям, по первопечатничеству. Одно дело дискутировать только с Франциском Скориной. А если во главе с самим Иоганном Гутенбергом созвать всех первоиздателей переводов Библии — Мартина Лютера, Роберта Оливетана, Томаса Кранмера и других, — то это будет уже совсем иное дело. Итак, не будучи в мире одиноким, Скорина, можно сказать, и по воле доктора Фауста пребывал тем не менее в одиночестве — особенно в Вильне, когда от него отступились Онков и Бабич, а теперь и здесь — на Градчанах.

Но почему так ярко сияет над Градчанами солнце, и не только в полдень. Наверное, и солнце и месяц что-то видят не видимое Скориной; наверное, и солнце и месяц что-то слышат не слышимое Скориной. Может, слышат они призыв Джордано Бруно, еще не ступившего в пламя костра,

влюбленного в солнце и мудрость и в этом столь похожего на тебя — Франциска Скорину, — призыв к современникам и потомкам: «Так обратим же лицо свое к восхитительному сиянию света, прислушаемся к голосу природы и будем в простоте духа и с чистым сердцем следовать мудрости, полагая ее превыше всех прочих вещей... Пусть прояснит она наши очи и, подобно орлиному взору, сделает их привычными к восприятию солнечного света, изостряя наше зрение ко все более и более глубокому созерцанию»?!^[178]

А может, словами не Джордано Бруно утешаются солнце и месяц, а совсем другого мечтателя — Томмазо Кампанеллы^[179], который, радуясь достижениям XVI века, в своем «Городе Солнца», восклицает: «В наш век совершается больше событий за сто лет, чем во всем мире их совершилось за четыре тысячи лет; в этом столетии вышло больше книг, чем их вышло за пять тысяч лет!» И в том заслуга и твоя, Франциск Скорина, и твоя! И твои книги листая, говорит свои радостные слова Кампанелла.

Но их листают и твои последователи в Белоруссии. И среди них — Сымон Будный^[180].

Год 1562-й. Городок Несвиж, расположенный вблизи Новгородка, с которого начиналось во времена Миндовга Великое княжество Литовское. Теперь здесь продолжается твое дело — книгопечатное: издается в переводе на белорусский язык «Катехизис» — изложение веры. Сымон Будный — сторонник Реформации. Он — кальвинист. Но он, как и ты, влюблен в язык, на котором излагает догматы вероучения. И он, — слышишь, Скорина! — обращаясь к феодалам-князьям Белой Руси, советует им, заклинает их, «чтобы... их княжеские милости не только иностранные языки любили, но чтобы... и этот, издавна славный язык славянский облюбовывали и на нем речь вести изволили».

А вот и голос Василя Тяпинского^[181]. Он издал почти одновременно с Сымоном Будным в своем переводе Евангелие. Он — тоже деятель Реформации, но его обращение в предисловии к Евангелию адресовано уже не светским феодалам, а духовенству и тем ученым, из которых после тебя, Скорина, никто «через так многий час» не может взяться за печатание книг для народа. Ты слышишь, Скорина, что говорит Василь Тяпинский о народе, о твоём народе, — что он «зацный, славный, острый, довстинный народ»^[182]. И если он стал таким, то это и благодаря тебе, Скорина. И потому и могут радоваться в небе над тобой и солнце, и месяц. С ними ты не одинок, Скорина, хотя и в одиночестве ты на Градчанах...

Однако — нет! Не может и не хочет он, не способен оставаться в таком

одиночестве. И потому как сам не свой все оглядывается и оглядывается, — через время и пространство, — и останавливает взор свой на том, что в нем по-прежнему живо, — на своем живом прошлом, и прежде всего на обстоятельствах, приведших его сюда, на Градчаны, — он всматривается в год 1533-й.

Умирать не будет тот, кто не родился, и это старик умирать должен, а молодой всего лишь может умереть, а не должен.

Был год 1533-й, и Скорина не чувствовал себя старым и умирать совсем еще не думал, хотя могилы родных людей были уже за его спиной — Маргариты, брата Ивана, незабвенных Богдана Онкова и Якуба Бабича. Но свет божий на то и свет божий, что никогда не был без людей: слезами прошлого не воротишь, не сквозь слезы надобно глядеть в будущее, тем более, если хочешь что-то сделать. А дело требует жертв. И не пожертвуй он когда-то Маргаритой, разве был бы у него День Первый Печатника в славном месте Пражском? И не пожертвуй он всего себя «Малой подорожной книжке», «Деяниям апостольским», разве они вышли бы в свет из печатни Якуба Бабича?.. Но чем теперь пожертвовать, чтоб книжное дело продолжилось? Чем? Детьми? Вильной? Привилегиями короля Жигимонта?..

Все это подмывало его, как речная вода берег, закручивало, как водоворот, подслушивало татаканье сердца его, как подслушивает эхо в бору голоса людские. Это неотступно его преследовало, и тому причин было — не сосчитать. Вон какая превосходная «Божественная комедия» Данте — в завершенной троичности своей: три части, по тридцать три главы каждая, написанная терцинами. А у него, Скорины? Не комедия — трагедия! Рая ему не видать. Это он лишь в аду и в чистилище побывал, дважды становясь возле печатного станка. И это он так сдерживает свои торжественные обещания — умножать славу академии Краковской, умножать славу Падуанского университета?!

Магический свет чисел! Весь мир для него, Скорины, теперь заключался в нем, словно стал для него на место света Фаворского. Солнце и тьма, день и ночь, радость и горе — всегда в паре. Возвышается над ними божественность — троица, русалия. И Скорина жил теперь только одним — неутолимим, как жажда в пустыне, желанием полностью проявить себя в Завершенности, Превосходности. Но без третьего раза когда и какое дело на земле было завершенным, превосходным? Месяцу в небе одному — можно, однако не звездам, лучащимся в созвездьях. Орион — его созвездье. И месяц — друг его, Скорины, в трех своих ипостасях — молодой, полный,

ущербный. Солнце — знак вечной нерушимости, круг. Месяц — знак изменчивости, обновления. И хотя под формулу троичности не подходит месяц, поскольку он полный не в третьем разе, а во втором, Скорину привлекает именно полный месяц, но чтоб не во втором разе, а в третьем...

И не хочет Скорина думать, что три раза у него уже были: первый — на Старом Мясте в Праге, второй — в 1522 году, третий — в 1525-м, что полноту и завершение познал он во втором разе, а теперь, как месяц, — на ущербе. Не хочет так думать, потому что — он убежден — «Малая подорожная книжка» и «Апостол» в Вильне — это раз второй в городе втором, а не третьем, это при господаре втором, а не третьем. А? Кто ж тогда его государь — первый, второй? Кто будет третьим?.. Фердинанд с Градчан в его Библию на Старом Мясте совсем не вмешивался. Иное дело — Жигимонт, — в 1533 году, после познаньской эпопеи и особенно — после ноября 1532 года, когда на Вавеле он из рук Жигимонта получил две привилегии. Ну так что же, король Жигимонт твой король, Франтишек, или не твой?..

— Мой, ибо я — виленец, гражданин Вильны, — мог бы ответить на это Скорина, однако он молчит, не отвечает, думает.

«Язык до Киева доведет», — говорила раньше вся Русь, в своем единстве многоплеменном и на землях его Полотчины располагавшаяся. В Киев? Нет! Ибо не в Киев сейчас ведут все дороги, — вся католическая Европа, и католическая Корона, и католическая Литва утверждают, что ведут они сейчас в Рим. Католик Скорина, почему же не в Рим ты собираешься, а из Рима? Неужто Рим для тебя — не вечный город, не священный? Священный, и все же он думает не о Риме, хотя Рим, наверное, думал о нем не однажды и, конечно же, видел в нем блудного сына своего. Ведь не могли же о делах Скорины не писать свои доносы папе в Рим прелаты его из Праги, Вроцлава, Вильны. Мог писать даже сам епископ виленский Ян, который, вполне вероятно, и приближал-то Скорику к себе для того, чтобы дело его попридержать, чтобы мысль его укротить.

Киев? Нет, Скорину зовет не он. Его зовет Киевом рожденное, извечное. И понимает Скорина: то предки его, вышедшие из Руси, что называлась Киевской, передали ему этот зов — памяти, крови. То они, его мать и отец, в многоязыкий мир отправив со словом Белой Руси, ему этот выбор предуготовили, предначертав и решение, что зреет в нем.

...Он помнит, не позабыл он видения своего на полоцком пожарище: как словно меж двумя стенами стоял он, только бревна в стенах не лежали друг на друге, как в хате, сруб которой — *венчиком*, а высились торчмя. Венца славы искать здесь? Безумие! Да и венец не славы его беспокоит, а

дела!.. И, как видел, видит он: огненные столбы то сходятся, и, как сплошная кровавая заря, горит одновременно и восток и запад, то расступаются те огненные столбы и в проемах между ними — синева, а на фоне синевы на востоке — никогда не виденный им в реальности лик Василия Ивановича, на западе — лик еще более постаревшего Жигимонта. Он — меж двух огней, что огнем друг друга только и гасят, глушат, в то время как любой огонь затаптывать нужно. Нужно пройти через огонь, чтоб затаптать его. Нужно!

Кони рвутся через тот огонь: белый конь с Погони, конница воеводы Василия Годунова — под всадниками тоже белые скакуны. Такие кони не затапчут огня — еще больше вскопытят его!.. Был бы он, Скорина, факиром, укротителем огня! А, впрочем, хорошо, что не факир, тем более — не факир на час, а путник, жаждущий вечного мира, согласия, мудрости, добрых обычаев, слюба-согласия братьев-соседей, людей посполитых на земле. Все его дело в конечном счете — ради людей посполитых. Этим он как бы возвышает себя и над королем Жигимонтом, и над великим князем Василием Ивановичем. Не самолично себя возвышает над ними — его возвышает над ними его книга, необходимая и тут, и там, чтоб и монархи и подданные были в равной мере предуготовлены к разуму совершенному, общежитию совершенному.

Нужно!

И то решение ускорили еще, сколь удивительным это ни покажется, и познаньская эпопея, и привилегии Жигимонта, полученные Скориной накануне 1533 года. Они приближали развязку, они подводили скорининскую жизнь к эпилогу. Этот эпилог первым во времени начал собой факт разрыва отношений между Скориной и виленским епископом Яном...

Какие там 6 тысяч коп литовских грошей! Компенсации за познаньское издевательство Скорина не получил, а ведь предполагалось возместить издержки и Скорине и виленскому епископу Яну — последнему даже в большем еще размере. Однако не из-за тех мерок разгорелся сырбор — из-за другого. Виленскому епископу Яну в большом Белом зале капитула напротив королевского Виленского замка мантия Скорины — после Познани, уже на второй или на третий день по его возвращений — показалась вдруг не черной, а очерненной. Королевские привилегии привез его секретарь и лекарь, — да! Но ведь это же *было* — долговая яма, позор. Невиновен? А?! Был, однако ж, там! Сидел там, виновен или не виновен, украл или не украл. Слово-то прозвучало: ви-но-вен. Как же теперь в большом Белом зале будет восседать *виновный*, не черня ее?! И что скажет

воевода Гаштовт, который на второй или на третий день по возвращении Скорины в Вильну едва ли не первым выразил епископу Яну свою озабоченность светлостью большого Белого зала. «Разве на этом скрибе^[183], ваше преосвященство, свет клином сошелся?» — вроде попростецки, с подчеркнутой приязненной любезностью спросил канцлер. Но виленский епископ Ян хорошо знал, что после мягкого, дружелюбного тона канцлера Гаштовта весьма жестко спится тому, для кого не поспешил на подобный тон первый человек княжества. Ссоры, даже малейшего конфликта епископ Ян, и так страдавший все свои виленские годы от магнатских междоусобиц, совсем не жаждал, тем более, что был-то год 1533-й, да еще первая его половина, когда в Вильну король Жигимонт еще не приехал, а из Вильны к нему вереницей шли письма-жалобы.

Гаштовт был как зверь. На 1533 год и впрямь пришелся апогей его своеволия, бесчинства. Придя к соглашению с Радзивиллами, с которыми его помирила Бона Сфорца, — с кастеляном виленским Юрием и его сыном Яном, Гаштовт создал в Великом княжестве что-то наподобие триумvirата, главою которого он стал. На пути скорининском к троице, таким образом, оказалась троица — единственно что не божественная, а гаштольдская. И это было как насмешка над Скориной, над его судьбой, делом, в полноте своей — Скорина в том был убежден — покамест не осуществленным. И гаштольдская троица в палатах королевского замка напротив виленского капитула торжествовала: в большом Белом зале его больше никто не приветствовал секретаря и лекаря виленского епископа Яна Франтишека Скорину!..

Год был 1533-й. Король еще не приехал в Вильну. Ян Хаенский, один из самых верных и приближенных к Жигимонту советчиков, писал ему из Вильны: «Все захватили в свои руки эти трое... Они жестоко тиранят других. Крик и стон доходят до небес, справедливость сгинула». И это было действительно так, ибо после смерти Константина Острожского не оставалось никого, кто бы противостоял Гаштовту, над ним даже не повисала угроза штрафа в 20 тысяч коп грошей за междоусобицы с Константином Острожским. Отныне все было под Гаштовтом! И что же в таких обстоятельствах значила для него королевская привилегия Скорины? Да ничего! Пустая бумажка! Особое расположение короля? «Это еще не божье расположение», — мог гримасничать Гаштовт. «Берем под нашу защиту и опеку»? — «На Вавеле — ваша, а тут — Литва, защита и опека — наша!» — мог выкрикивать он. «Поручаем и настоятельно повелеваем этой грамотой всем и каждому, всякого звания и положения сановникам и низшим земским урядникам, а также всем судьям Королевства и Великого

княжества Литовского, Жемойтского да и других владений наших, а также бурмистрам и радчикам городов и местечек, войтам, лавни-кам, всем гражданам и вообще всем нашим подданным...» Ну, это уже просто раздражало Гаштовта: «Поручаем и настоятельно повелеваем», — тем более что в привилегии перед тем стояли королевские слова, обращенные и непосредственно к нему как воеводе: «Мы освобождаем его от общественных повинностей, а также из-под юрисдикции и власти всех и каждого в отдельности — воевод, старост и других сановников...» Из-под власти других — да! Но только не из-под власти его, Гаштовта! Его тут лес, его и зайцы. Никуда не денется, не убежит. Но что за птица, однако?! Долететь до Вавеля, заполучить у короля Жигимонта *такое*?! Канцлер Гаштовт был взбешен, пена выступала на губах, огромное брюхо его судорожно тряслось. «Добродетельный?! Необычайные познания в искусстве медицины, опытность и умение»?! Но ведь брата не спас, жены не спас! *Doctoris artium* и доктор медицины? Скриба!.. «Дайте пользоваться и владеть... правами, льготами и привилегиями»?! А мы, Гаштольд и весь наш гагйтольдский триумвират, не дадим! «Не смейте вообще вмешиваться в его дела»?! А мы, Гаштольд и вся наша Литва, смеем!..

И напрасно радовались накануне 1533 года, возвращаясь из Кракова в Вильну, и сам Франтишек Скорина, и его племянник Роман. На подъезде к Вильне — в одной придорожной корчме — у них даже до песни дошло. Песня, однако, ждала их в Вильне грустная — сплошь и повсюду: «Не дадим!», «Смеем!»

В Вильне Роман пробыл всего несколько дней и поехал снова в Гданьск — на службу к немцам. А службы у епископа Яна для Скорины уже не было, и это лишний раз вынуждало его искать третий заход к печатному станку. «Тысяча дьяволов! — мог бы тут, как пан Твардовский, воскликнуть Скорина. — Тысяча дьяволов на вашу голову, кто любезность ко мне короля своей нелюбезностью кроет, кто завидует ей, кто радуется моему отлучению от Белого зала капитула!.. Но это отлучение, злопыхатели, — оно же и возвращает меня к долу, к настоящему!..»

Прошло какое-то время, и 10 июня 1533 года Жигимонт с Боной покидали Краков, торопясь в Литву. То было второе по счету путешествие Боны Сфорцы в Великое княжество Литовское, и продлится оно по сути целых три года, поскольку очень уж много дел набралось у королевы Боны в Великом княжестве Литовском. Знал или не знал Франтишек Скорина, что в Вильну едет королевская чета, неизвестно, но так или иначе в те дни Скорине было весьма тяжело, потому что он уже окончательно понял, кто и почему не даст ему дела делать тут, в Литве, в Великом княжестве

Литовском, и ясно осознал, куда пролегает ныне возможная для него дорога и где ныне возможная и полная ждет его удача. И особенно тяжело Скорине было на этот раз от того, что принятым уже в своей душе решением он обижал короля Жигимонта со всей его большою милостью к нему, Скорине, со всем его королевским дозволением ему, Скорине, продолжать дела свои малые и большие. С одной стороны, Скорина отчетливо понимал, что Жигимонт покровителем непосредственно книгопечатания, которое стало уделом его жизни, не был. С другой — тут, в Речи Посполитой, он пребывал под полной опекой короля Жигимонта, охраняемый его привилегиями, о которых можно было только мечтать и за которые можно было только благодарить. Но ведь был же он когда-то благодарен за привилегии и Альбрехту Прусскому. Так что же — и сейчас безоглядно все бросить, точно в некоем бездумье, точно в кошки-мышки играясь? Так что же — и эти привилегии всеопекунства над главным делом твоим поменять уже на сиверный ветер, бьющий в лицо, на рискованное путешествие в неизвестное, на журавля в небе?..

Слышал бы ты, Франтишек, пророчества блаженной Огней на ступеньках познаньской твоей темницы, может, в год 1533-й и не поехал бы из Вильны в ту сторону, в которую поехал. Хотя, по-видимому, все равно поехал бы, потому что не поехать туда ты просто не мог: все твои дороги вели только туда, дороги Великого Печатника, великого деятеля русчизны, Белой Руси. Ты искал себе настоящего опекуна, заступника...

Не обижайся, Старый Жигимонт: лишь тебя одного и назвал он «наиласкавшим господарем» своим, — значит, уважал, значит, любил. И не измену тебе замышлял, как Михаил Глинский, потому что с книгой, в которой называл тебя не только «наиласкавшим господарем» своим, но и королем польским, великим князем литовским, русским, жемойтским, отправился он на восток — в Москву.

Но как же мог не обидеться на Скорину король Жигимонт, если того города, куда поедет Скорина, он в привилегии своей не упоминал. Утверждал: «И пусть названный доктор Франциск в том городе и в том месте, которые он изберет себе для жительства, будет вызволен и свободен от всяких повинностей и городских служб...» «Изберет... Что? Москву, мне, Жигимонту, неподвластную?! А ведь избрал! Неужто ему, почти уже ставшему моим любимцем, не нашлось по нраву города в Великом княжестве Литовском, в Короне?!»

Король переживал. Король был столь взволнован, что, будучи обычно сдержанным в словах, стал необычайно говорливым, и та возбужденность его сильно врезалась в память его тринадцатилетнему сыну, который и

спустя 20 лет — в 1553 году — все еще помнил то, что случилось в пору его отрочества, и в одной из своих цидулок отмечал: «...когда вот во время правления нашего покойного отца один его подданный, руководствуясь богоугодным желанием, постарался святое письмо на русском языке напечатать и издать да пошел в Москву, книги его по приказу князя публично были там сожжены...» У сына покойного Жигимонта, который адресовал приведенные нами слова папе римскому, были свои основания писать так, как он писал: Иван IV, Грозный, именно в тот год предпринимал энергичные попытки получить из рук папы Юлиана III королевскую корону. Поэтому отца его, Василия Ивановича, и бесчестил перед папой римским Жигимонт Август, сваливая вину за сожжение скорининских книг на безвинного. Василия Ивановича к тому времени в живых уже не было. Но Скорина действительно отправлялся в Москву, когда Василий Иванович еще здравствовал...

Как же не в пору, как рано решил Скорина искать свой третий раз в Москве! Точная дата выезда его из Вцльны неизвестна, как, впрочем, и прибытия в Москву. Но все, возможно, складывалось и таким образом. С 21 сентября 1533 года Василия Ивановича в Москве не было: сначала царь молился в Троице-Сергиевом монастыре, а из монастыря поехал на Волок Дамский, в село Озерецкое — поразвлечься охотой. На Волоке Василий III заболел. Прибывали из Москвы лекари — Николай Булев, Феофил, а нога великого князя гнила, гноилась. До самой зимы промучился Василий III вдаль от Москвы и умер в ночь с 3-го на 4 декабря 1533 года. На руках у своей второй жены — молодой Елены Глинской — он оставил двух своих малолетних сыновей — глухонемого Юрия и трехлетнего Ивана, будущего Грозного. Согласно великокняжеской воле, выраженной Василием III перед смертью, регентшей становилась его жена Елена, а великим князем должно было избрать младшего сына Ивана. Но молодую вдову с детьми митрополит Даниил предоставил попечению судьбы — вывез их из Москвы, определил им жить от нее подальше и стал вершить все дела в столице самолично, оказавшись коварней всех своих предшественников, вместе взятых, — и епископа Геннадия Новгородского, который ереси на Руси Московской в злобе называл «литовскими окаанными делами», и игумена Волоколамского монастыря Иосифа Волоцкого, который вещал, что еретика «руками убити или молитвой едино есть», и Стефана Пермского, который учил «не выситися словесами книжными». На чей же суд ты приехал со своим «Апостолом», Скорина — на суд митрополита Даниила? Да еще в междуцарствие?..

А насколько Скорина поторопился, о том не скажет ему также и огонь,

который сожжет его «Апостола», не скажет митрополит Даниил.

И митрополит Даниил очень долго поворачивал и так и этак солидный — во все его три с половиной сотни страниц — томище «Апостола», не то прикидывая книгу на вес, не то взвешивая таким образом свои собственные тяжкие-тяжкие думы.

— Не Лютера ли постыдного ересь сие?.. — первое, что вслух спросил митрополит Даниил, никому — разве только самому себе — не адресуя своего вопроса.

Скорина не промолчал:

— Изобретение, ваше высокопреосвященство, достойнейшего Гутенберга Иоанна из Могунции, который назвал сие искусством над искусством, наукой над наукой...

— Гм?.. — продолжал туда-сюда поворачивать в руках скорининский фолиант митрополит Даниил, пока не приковал его взгляда титульный лист книги. Митрополит видел, читал:

ПОСНЯТЬСЯ • ЗЪПОЛЪНЕ ДОКТОРЪ ФРАНЦИСКЪ СКОРИНОЮ

Взглянул на нижнюю виньетку: слева — солнце с человеческим ликом и прижимающийся к его круглой щеке серповидный молодой месяц, в который вписан профильный абрис лица; справа — совсем непонятные треугольники неизвестного ему и другого печатного знака Скорины. Все более мрачней, наконец процедил:

— Фран...цис..жом! Латиняне сии!.. Соглядатай папы римского?..

Такой вопрос для Франтишека Скорины был неожидан.

— Начинается... А чем кончается?..

И тяжелые черные глаза митрополита уже уткнулись в общее послесловие ко всем частям «Апостола» — в те строки, в которых говорилось о Жигимонте: «...при держании наласкавшего господаря Жыкгымонта Казыміровича, короля полского и вѣликого князя литовьского, и рускаго...»

— Рускаго?.. — сурово переспросил митрополит Даниил, испытующе поглядывая на Скорину. — Не успел преставиться, в бозе почить, вечная память ему, государь наш Василий Иванович, а сей...

Кто сей, Скорине было ясно, хоть совсем не ясно ему было, кто, по мнению и замыслу митрополита Даниила, должен после смерти Василия Ивановича великокняжить в Москве. И тут Скорина со всей очевидностью понял, что он в Москве не ко времени и что, придя сюда и не будучи тут

принятым из-за короля Жигимонта, по существу, из-за короля Жигимонта потерпев тут поражение, он вновь под защиту короля Жигимонта уже вернуться не может.

Но и Москву, и — две-три недели спустя — Вильну Скорина будет оставлять не как загнанное в угол, побитое и посрамленное существо. Стыда не было — было чувство исполненного долга.

Пусть он поспешил сюда или не вовремя прибыл, но теперь придет кто-то другой и сюда и кто-то другой отсюда и в Полоцк, и в Вильну, и в Львов придет. Так что он и вовремя пришел, чтобы путь своим последователям проложить. А если в чем он, может, когда-нибудь и ошибался, то он ведь словом своим тисненым просил уже люд посполитый в том его при надобности поправить. Но тут он не ошибся, нет! Сеятель потому и сеятель, что сеет. А идти, чтобы сеять, туда, где еще не засеяно, разве это ошибка? Такие хождения не забываются: что ходил — помянуто будет; что дело свое делал, продолжал — помянуто будет; что служил единению людей, что учил их единению книгой своей «белорусцей» — помянуто будет!..

И не баннита^[184] он, хоть судьба его, начиная с Москвы, и может показаться судьбою изгнанника, а правильней сказать — самоизгнанника. Уходя сюда, он сам ведь осудил себя на изгнание из Вильны и Полоцка. Хотя... корить себя за этот шаг не корил, потому что не изменял королю, как Михаил Глинский, потому что, как и Богдан Онков до него, ехал сюда купцом, воспользовавшись мирным летом. А у купцов закон единый, и Жигимонтом он тоже подписан, а не только Василием Ивановичем, и ту перемирную грамоту вмиг может вынуть из-под кожуха Франтишек Скорина и показать любому глазу: «А нашим купцом изо всих наших земель во вси твои земли приехати им и отехатп добровольно без всяких зачепок». Вот он, Скорина, купец, и приехал добровольно из Вильны в Москву и отъедет «без всяких зачепок». Если б не умер Василий Иванович, не торопился бы отъезжать и Скорина — столько ждал его в Москве и не дождался. А чего тут ждать теперь? Чтоб и его, как Максима Грека, митрополит Даниил услал на край севера?! Куну^[185] воздел на его руку печатника, а то и на шею, приковал к столбу?! Нет!..

Но болела, ой как болела душа Великого Печатника, что он не может в Москве остаться, что не может осуществить тут главный свой замысел, всю мудрость, величие и славу которого он сам понимает. Дело жизни его — это ж дело жизни его, и оно — ради торжества книги, ради человека совершенного, разума совершенного — при боге, при справедливости. Не

умер бы великий князь московский Василий Иванович, все это, может, и осуществилось бы. С митрополитом Даниилом — не осуществилось...

...И оставлял Франтишек Скорина сперва Москву, а спустя недели две-три — и Вильну. Стоял февраль — сырой, ветреный, зябкий. Медницкие ворота от бесконечной мороси почернели. Тайно вернувшись в Вильну, тайно ее Франтишек Скорина и покидал. Не один — с детьми. Симеонка уже вытянулся в рослого мальчугана; Франтишеку только исполнилось четыре, и отец Франтишек нес его на руках. Выходили, чтоб не обращать на себя внимания. В эту свою дорогу детей своих милых Скорп-на не взять не мог, — он знал, что если не возьмет, то в последний раз на них, прощаясь, он смотреть будет. И взял с собой Франтишек Скорина, кроме детей, еще и завернутый в холщовый платочек, промерзший комочек виленской землицы — с могилы Маргариты. На фурах, запряженных по просьбе заказчика тремя белыми конями, в разрисованных еще полоцкими цветистыми узорами сундуках лежали и «Малая подорожная книжка», и «Деяния апостолов». Но кони ждали Скорину не возле Медницких, бывших Кревских, будущих Остробрамских, ворот, а, как было условлено, в третьем или в четвертом привиленском перелеске. Скорине хотелось, чтоб тот перелесок оказался по счету все-таки третьим.

Был февраль 1534 года. Было сыро, ветрено, зябко.

2. POST SCRIPTUM

Живут люди сообща, умирают в одиночку. Когда умер Франтишек Скорина, с точностью неизвестно, однако не на Градчанах в Праге. Богемская камора все же с ним рассчиталась, и он из Праги съездил еще в летнюю резиденцию Фердинанда I под Веной. Последнее, что мы знаем, — его намерение направиться в Нойштадт. Вполне возможно, что он там на какое-то время задержался. Годом смерти Франтишека Скорины считается год 1541-й (по иной версии — 1551-й).

Год смерти Жигимонта I Старого известен точно — 1548-й. Известны даже день — 1 апреля — и час — «третеенадцатая години». В подробностях дошло и описание его похорон — в похоронной процессии на Вавеле выстроились 30 пар траурных, так называемых марных упряжек, что подвигались едва-едва, поколыхивались, как привидения в тяжелом, мучительно невыразимом сне. Упряжки были покрыты золототкаными покрывалами, и под разноцветными балдахинами-китайками перед ними приглушенно поцокивали кони с гербами монарха на обоих боках. А

впереди всей этой процессии ехал надворный хорунжий — на белом коне, держа изображение коронованного орла и обнаженный меч перед грудью своей. Перед марными упряжками, весь закованный в панцирь, ехал и Ян Тарло, тоже обнажив свой меч, и такой же меч нес за ним его оруженосец. Шли перед марными упряжками и послы, неся королевские атрибуты: меч, яблоко, жезл, корону. Было полно людей с большими восковыми свечами в руках. За траурным кортежем первым шел 28-летний сын старого короля — новый король Жигимонт Август, за ним — вдова Бона Сфорца...

Где, кто и как хоронил тело Великого Печатника и кто присутствовал при этом, пройдя за его гробом, — неизвестно. Могли быть при этом его дети — Симеон, Франтишек. Если отец Франтишек умер до 2 июня 1541 года, то младший его сын Франтишек оплакивал своего отца. Если же Скорина умер после 2 июня 1541 года, то он еще и немислимую утрату сына своего младшего пережил, отнятого у него огнем, пожаром. Как раз 2 июня 1541 года та страшная беда случилась. Чешский летописец Вацлав Гаек из Либочан свидетельствует: «На Пражском замке в огне погибли... в доме священнослужителя Яна из Пухова, проповедника, кухарка Магдалена, да хлопчик Франтишек, сын жившего здесь раньше доктора Руса». Где жил, странствовал в день пожара Франтишек Скорина, мы не знаем. Но огонь был действительно немилосерден к нему.

Первый достоверный документ о другом сыне Франтишека датирован 1552 годом, когда, двадцатисемилетним, он получил на руки от короля Фердинанда I по-чешски написанный высочайший указ, обязывавший всех причастных возвращать ему как сыну Франтишека Скорины уцелевшие вещи из отцовского имущества, книги и непогашенные долги. Не вышло из Франтишека Скорины при жизни ростовщика: он только умел давать в долг, а не стричь проценты с отданного! Симеон Скорина Рус был, как его отец, лекарем. Долгое время жил на юге Чехии, в Крумлёве. След его теряется где-то в Югославии, и только совсем недавно в польской прессе появилось сенсационное сообщение: Станислав Скорина — возможно, прапрапра... и Симеона Руса, и Франтишека Скорины — живет сейчас в Канаде. Он — медик, ботаник, дважды доктор наук...

Князь Альбрехт Гаштовт-Гаштольд скончается в 1539 году, рассорившись с Боной. У него останется единственный сын, который умрет бездетным, и на том род Гаштовтов прервется.

Виленский епископ Ян будет похоронен в Познани в свои неполных 40 лет — в 1538 году, выжитый из Вильны за два года до своей смерти Боной Сфорцей.

Бона Сфорца переживет Жигимонта на девять лет. Ее отравят в

Италии в ее родовом поместье Бари, — спустя год как оставит она Речь Посполитую, а это значит, в 1557 году. Ее второй приезд в Литву и Белую Русь, который начался в июне 1533 года, затянется на три года. В результате — Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское станет давать ей доход в 36 тысяч злотых на год. В результате — в Великом княжестве Литовском и Жемойтском три года кряду будет лютовать жестокий голод и люд полесский возле Кобрина и Пинска прозовет Бону Бабоней. В итоге — в Италии перед смертью Бона одолжила Филиппу II, сыну Карла V, 430 тысяч дукатов, так называемую сумму неаполитанскую, да печаль белорусскую. Если бы те деньги пошли еще на неаполитанские ренессансные дворцы, не так бы сурово и гневно белорусские пуши и леса и до сих пор без ветра шумели. А то ведь они пошли на борьбу Филиппа с непокорными Нидерландами — с умным и веселым Тилем Уленшпигелем, на сооружение непобедимой Армады, которую с треском разгромили англичане. А Скорина должен был зарабатывать гульдену садовником на Градчанах. Шахматная игра на Вавеле, на территории всей Речи Посполитой, когда король оставался на месте, а королева находилась в вечном движении, закончилась совсем не посполитым образом!..

Князь Константин Иванович Острожский, как мы уже знаем, умер в 1530 году. Похоронен он в Киево-Печерской лавре — в самой большой ее церкви, налево от главного входа в лавру. Гроб его в нише наподобие алькова опирается на трех львов, а бронзовая фигура князя — правая нога поджата под левую, свиток в руке, боевая секира над головой, окладистая борода, усы — спит на крышке гроба. Над ним ангелы — левый из них как бы держит занавесь перед альковым, приподняв ее; над занавесью, вверху — корона с крестом. По два орудия — слева и справа. Слева — на тарелочке — улыбающееся, в кудрях солнце; справа — изогнутый, как турецкая сабля, меч. Надпись — растянутая: «...Защищеніем восточного благочестія и храбростію в бранях пресловутый.., вторую Гипсиманию, Пресвятые Богородицы Печерскіе домъ, ущедрить пребогато, в немъ же яко криторъ именитый по преставленій своемъ сподобися положен быти, въ 1533 году». «Ущедрить пребогато», чтобы лежать в лавре. Иную щедрость проявит его сын — Константин Константинович, который в Остроге издаст Библию, станет известнейшим приверженцем и опекуном западно-русской книги и у которого будут находить прибежище и Иван Федоров, и Петр Мстиславец — первопечатники московские. У Константина Константиновича сына не будет. Будет дочь. На ней род Острожских прервется.

Доктор Иоганн Фауст умер около 1540 года. Его личность стала

прототипом одноименного героя великой трагедии великого немецкого поэта Иоганна Вольфганга Гёте.

Легендарная фигура пана Твардовского вдохновила великого польского поэта Адама Мицкевича на создание посвященной ему и названной именем его жены весьма известной баллады. Относительно реального исторического существования пана Твардовского есть несколько версий. По одной из них считается, что великий мистр магии жил в XV столетии, по другим — то ли в первой половине XVI столетия, то ли в самой середине его, — во времена правления Жигимонта Августа. Людей с фамилией Твардовский в XV и в XVI веках было много как в Короне, так и в Великом княжестве Литовском. Однако некоторые историки полагают, что в фольклорно-литературную традицию она попала как перевод фамилии выходца из Нюрнбергии — Лоренца Дура, который вроде бы даже был учеником доктора Фауста, как раз в 1532 году проживавшего в Нюрнберге. Впервые в литературные бумаги фамилия Твардовского угодила благодаря Лукашу Гурницкому — в 1556 году: он внес ее в свою книгу «Польский дворянин».

Голем — не умирал. Этот образ из еврейского фольклора средневековой Праги стал прототипом литературного героя, главного в повести «Голем», написанной немецким писателем Густавом Мейринком, родившимся в 1868 году.

Станислав Станьчик — умер, но когда, неизвестно. Шутами, как и поэтами, не становятся, а рождаются. И нет династии шутов. У династии Ягеллонов Станьчик был один, зато он стал литературным героем очень многих произведений польской словесности. Но апогеем его славы в искусстве явился его портрет, нарисованный в 1862 году знаменитейшим живописцем Польши Яном Матейко. Станьчик у Матейко сидит возле стола в кресле, будто на троне, в роскошно драпированной ярким атласом комнате. Сидит перед окном, в котором виднеется одна из вавельских башен с часами, которые, кажется, только что отбили самые исторические минуты этого мира. Но не в окно, не на часы истории смотрит у Матейки Станьчик: он весь — сгорбленный, с вытянутыми вперед ногами, со сцепленными в пальцах руками, — он глядит не перед собой, а в себя, во что-то свое. И только с колокольцами-побрякушками и, точно у гномика, островерхий колпак на его голове напоминает, что он — шут. Шут, однако ж, не гном, не пигмей, — сухопарый, моложавый, внутренне сосредоточенный, глубоко задумавшийся!..

На портрете не видно, что перед нами — в прошлом рыцарь, человек мужественного меча, участник грозных походов на турок, и неспроста ведь

историки говорят, что будто бы не только за свое шутовство брал дукаты из казны Жигимонта реальный исторический Станьчик, но и за раны, полученные в доблестной молодости своей.

Неизвестно, когда умер и где похоронен еще один человек — любимый песенник Жигимонта на Вавеле белорусский гуслиар Чурилка. И где тот художник, который посадит его, не как Матейко Станьчика, в кресло в комнате с белым кусочком окна, недозанавешенного богатыми гобеленами и фалдистыми пасмами атласа, а под вековечным дубом на замшелом валуне, с гуслиями на коленях, а возле — на тихой траве — заслушавшегося его песней короля.

На картине у Яна Матейко через окно видны не только часы и стрелки на них, но и хвост кометы, пролетающей над вавельской башней. Комета — примета, ворожба. Что ж ворожила она Станьчику, вавельской башне, Чурилке, тоже ведь с Вавеля за ней наблюдавшему?..

Люди — чуткие, и люди вместе с тем — нечуткие. Чутким был Жигимонт, когда слушал песни Чурилкины. А когда оставлял Чурилку на Вавеле, и особенно когда отправлялся в тот край, о котором грустили песни Чурилкины?

Молчал о своем на Вавеле Станьчик. молчал о своем — Чурилка, молчат до сих пор о своем башни седого Вавеля, молчат и Остробрамские ворота в Вильне, которые помнят последний обращенный к ним взгляд Франтишека Скорины.

3. POST POST SCRIPTUM

У птиц всегда остается недопетое, у деревьев — недошумленное, у человека — недоговоренное. Так оно было и в средневековье, когда тоже не успевали за всю свою жизнь договорить что-то и короли, и шуты, и ученые мужи, и чернокнижники, и отцы детей, и дети отцов...

Из героев этой книги не договорили о боге и Франтишек Скорина и король Жигимонт. Жигимонт Старый недоговорил еще и о колоколе своем, по его желанию на Вавельскую колокольню поднят, — о самом большом колоколе на Вавеле и во всей Речи Посполитой, который в народе польском станет называться колоколом-Зыгмунтом и будет до скончания века напоминать ему своим перезвоном о недоговоренном на земле Жигимонтом Старым...

Но более всего недоговоренного остается у словоохотливых. А разве не ими были Прекрасные цветки средневековья?..

Вот пан Твардовский: у него постоянно вертелась на языке поговорка, что не так страшен черт, как его малюют, но он так ни разу и не воспользовался ею, как ни разу не подчеркнул, чем же объясняется его пристрастие к ошмянскому акценту. А дело тут было не просто в некоей изящности выговора, а в том, что, понимая не только польский, белорусский, немецкий, французский и английский языки, пан Твардовский знал, что слово «ошмяна» по-литовски означает «лезвие», «острие». Ходить по лезвию чего-то, быть на острие чего-то — о, пану Твардовскому это всегда нравилось, но, по-видимому, при застенчивом Скорине и он становился чуточку стеснительнее и потому всего-всего о своем самом-самом недоговаривал.

Казалось бы, никакой застенчивостью не отличался и доктор Фауст, однако и он, например, так и не вспомнил о своем прапрапра... , каковым считал Фаустула-пастуха, нашедшего некогда над Тибром близнецов Ромула и Рема и отнесшего их к себе домой на Палатинский холм. И втайне доктор Фауст всегда очень боялся, что кто-нибудь выведет его фамилию из вульгарного слова «кулак». И проступал в том беспокойстве один весьма существенный нюанс. Как известно, у земляков великого доктора магии слова «faust» и «fest» в произношении путались — особенно в Баварии, Тюрингии, Страсбургии. И поэтому доктор Фауст настойчиво выводил и для себя, и для других свою фамилию .не из путаницы немецкого плебса, а из благородной латыни. И сколь ни богато самыми исключительными смыслами немецкое слово Fest, так как означает не только «праздник», но и «силу, прочность, надежность, нерушимость, определенность, постоянство, заговоренность, зачарованность», доктор Фауст всегда наотрез отказывался от него уже лишь потому, что это слово для его соотечественников значило прежде всего «твердый», а уж затем все остальное, и это обстоятельство, по разумению Фауста, могло поставить его, ' доктора магии, на одну и ту же доску с недоучкой Краковской академии, как называл он про себя пана Твардовского.

И невысказанное Великому Печатнику паном Твардовским и доктором Фаустом также составило важный момент в том словесно-смысловом узле, который они за все время своего препирательства так и не развязали, потому что с головой ушли в прозу жизни, а не в ее поэзию. Как ни вертелся на языке у пана Твардовского, да так и не слетел упрек в том, что и фряшками^[186] Великий Печатник балуется, и каноны не только переводит, но и свои собственные втихую пописывает и даже акростихом напечатал в книге.

И, таким образом, зная и об этом намерении своего собрата по магии

пана Твардовского, доктор Фауст наготове держал еще никем не молвленное и, ему казалось, лишь его пониманию доступное слово о *cursus planus* и *cursus velox* Скорины, — слово, которое, будь оно им сказано, прозвучало б так:

— Кто это говорит, что Эрмолаю Барбаре принадлежит утверждение: «Я знаю только двух богов — Христа и словесность»? Но то же самое сказал бы и Ян из Стобницы, и сказали б вы, его ученик Францискус. И если мы от вас ничего подобного не услышали, то, значит, вы попросту не договорили. Ведь что это, спрашиваю я вас, как не торжество *cursus planus* и *cursus velox*. Что это, дорогие мои коллеги, Прекрасные цветки средневековья?!

И тут он, Иоганн Фауст, раскрыв книгу Юдифи, читал бы, читал бы:

«Понеже от прирожения звери, ходящие в пустыни, знают ямы своя; птицы, летающие по въздуху, ведаютъ гнезды своя; рыбы. плывающие по море и в реках, чуютъ виры своя; пчелы и тым подобная боронять ульев своих, — тако ж и люди, игде зродилися и ускормлены суть по бозе, к тому месту великую ласку имають...»

Вот где ваши, Францискус, бессмертные *cursus planus* и *cursus velox* в их нераздельности! Вот с чего будут начинаться Хрестоматии поэзии люда полоцкого, люда Белой Руси, люда славной славянщины! Вот!..

Однако все это недоговоренным так и осталось у доктора Фауста, и он аж до последнего своего дыхания сожалел, что не высказал тех добрых слов своих Скорине.

А Скорина, когда уже прошел Вильну после Познани, Москву — после Вильны, Прагу с ее Градчанами — вновь после Вильны, по дороге из Праги в Нойштадт — с 200 золотыми гульденами, которые выплатила ему Богемская камора, шагал себе по той дороге, думая, что, может, Нойштадт станет, наконец, третьим городом его печатничества. И рассуждал Скорина: «Я люблю тебя — город моего времени, — и Стара Място пражское, и вас, древние звонницы Полоцка, Вильны, Кракова. Но судьба моя новая, — не ждет ли она меня в этом новом городе — в Нойштадте?»

И было так, что в одной из заштатных придорожных харчевен вблизи Нойштадта, по-видимому, как птица в предосенье, чувствуя свой недалекий и безвозвратный отлет из края заветного, вспомнил Скорина иную корчму на подъезде к Вильне, вспомнил племянника своего Романа Скоринича, с которым тогда возвращался из Кракова в Вильну с привилегиями Жигимонта. Все обещало надежду, и он веселился. И радовался его веселью молодой Роман, как только может радоваться человек, у которого жизнь еще впереди.

«Роман теперь в Гданьске, все в немцах, как я в чехах. Неужто нам, полочанам, — думал Скорина, — нам, сынам Белой Руси, судьба такая неприкаянная выпала на свете — рассыпаться по этому белому свету и рассыпаться, дома утешения не обретая?..» Так думал Скорина в харчевне возле Нойштадта — на последней известной нам сегодня дороге своей жизни. И что это недоговоренным осталось у них с племянником Романом тогда — близ Вильны, — вспоминал Скорина, — что?!

А ведь это ж тогда Роман, — молодой, красивый, а голос-то, что у соловушки, — взял да запел песню, которая всегда Скорине душу преворачивала. Вел ее Романка хорошо, звонко:

— Не разливайся, мой тихий Дунай,
Не заливай зеленые луга,
Ходит там, бродит олень,
Ходит олень — золотые рога...

И ходил он, золотой олень, и вроде подходил к крыльцу того постоянного двора, становился передними ногами на крыльцо, поднималась высоко-высоко корона его рогов, и столько в той короне рогов было, сколько было тогда ему, Скорине, лет. (А сколько рогов в той золотой короне сейчас? — думает Скорина, мыслью мысль перебивая.) И когда посветлело в той привиленской корчме от рогов оленя, поднятых им к узкому проему окна, тогда неожиданно у Романа и спросил Франтишек:

— А ты откуда эту песню знаешь? В Полоцке слышал?..

— Нет! — крутил отрицательно головой Роман.

— В Вильне?..

— Нет! — продолжал покручивать головой Роман. — В Кракове!.. На Вавеле... От Чурилки...

То ведь он, Чурилка, и помог ему пробиться к королю Жигимонту, когда Старый Мойша упрятал Франтишека в познаньскую тюрьму. Ни вавельская канцелярия — ни Шидловецкий, ни Олифио. Чурилка! Но, может, и не совсем Чурилка, а песня, на звук которой пошел Роман через молоденькие краковские аллеи, — на одинокий звук одинокой песни одинокого Чурилки.

О Чурилке — вот! — о Чурилке так мало они тогда говорили, так много не договорили, да и что говорили, сейчас, на дороге близ Нойштадта, Скорина, как ни вспоминает, вспомнить не может. А песня продолжала звучать:

— Я тебя, олень, застрелю,
Золотые рога твои сломлю!..
— Не убивай ты меня, молодец,
Выйдет время — я сгожусь тебе:
Будешь жениться — на свадьбу приду,
Золотыми рогами весь двор освечу.

Звучала песня, звучали в душе Скорины гусли — не псаломно, не псалтирно, а, может статься, именно так, как звучали они когда-то в руках трех плененных греками выходцев из Прибалтики — с их признанием: «С оружием обращаться не умеем, а только играем на гусях... Любя музыку, ведем жизнь...» И удивлялся сам себе Скорина: «Какие греки? Какие — трое?.. Он один только и был такой, — один! Чурилка!..»

И тогда спросил Франтишек у своего племянника еще и о другом:

— А не знаешь, Романе, кто там из немцев — Фиоль, Лютер, Дюрер, Фауст? — назвали свадьбу Hochzeit — Высоким Часом? А? Что выше: свадьба или смерть?

И говорил Скорина самому себе, хоть и обращался вроде бы к оленю:

— Нет, не ходи на свадьбы, олень! На похороны ходи, золотыми рогами дворы освещая. Смерть — высокий час человека...

Но почему Роман с ним, дядей своим, тогда не соглашался?.. Жениться как раз собирался?.. Потому, наверное. Однако ж нет, не только потому, ибо Скорина помнил, как, видимо, перед чем-то самым-самым великим, недоговоренным в той их беседе Роман очень тихо-тихо сказал:

— Нет, дядька, нет... Не смерть самый высокий час человека, а бессмертье. Выше бессмертья часа у человека нет!..

И как тогда — в той корчме близ Вильны с той щемящей песней о золотом олене, так и сейчас — в придорожной харчевне под Нойштадтом, где о своем, некогда недоговоренном с племянником Романом вспоминал Скорина, одинаково задумчивые, одинаково мудрые, одинаково вечные земля и небо молчали,

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ

1486 или 1490 — рождение в семье полоцкого купца Луки Скорины младшего сына Франциска. Полоцк ныне — районный центр Витебской области (БССР).

1492 — упоминание имени Луки Скорины в письме великого князя Московского Ивана III к королю польскому и великому князю Литовскому Казимиру Ягайловичу.

1504 — поступление в Краковскую академию в зимнем полугодии «Франциска, сына Луки, из Полоцка».

1506 — присвоение в Краковской академии степени бакалавра «Франциску из Полоцка, литвину».

1512, 6 ноября — пробный экзамен на доктора медицинских наук в падуанском костеле святого Урбана «ученейшего юноши, доктора наук, сына покойного Луки Скорины из Полоцка, русича» Франциска Скорины. Под протокольной записью об экзамене — имена и фамилии 14 присутствовавших профессоров.

1512, 9 ноября — защита в падуанском епископском дворце ученой степени доктора медицинских наук, о чем свидетельствуют две протокольные записи: первая — за подписью 24 профессоров, вторая — с упоминанием Ф. Скорины секретарем короля Дакии (Дации).

1517, 6 августа — Ф. Скорина заканчивает в Праге печатание первой книги Библии — Псалтыри.

1517, 10 сентября — напечатана книга «Иов».

1517, 6 октября — напечатаны «Притчи премудрого Соломона, царя Израилева».

1517, 5 декабря — напечатана книга «Иисус Сирахов».

1518, 2 января — напечатан «Екклесиаст», или «Соборник».

1518, 9 января — напечатан перевод «Песни песней».

1518, 19 января — напечатана книга «Премудрость».

1518, 10 августа — окончено печатанье четырех книг Царств.

1518, 20 декабря — напечатана книга Иисуса Навина.

1519, 9 февраля — напечатана «Юдифь».

1519, 15 декабря — напечатана «Книга судей». Без точных дат в этом

году вышли книги: «Бытие». «Второзаконие», «Даниила-пророка», «Эсфирь», «Руфь», «Плач Иеремии». Не имеют дат вообще «Исход», «Левит», «Числа».

1520, весна (?) — переезд Ф. Скорины из Праги в Вильну.

1522 — выход в Вильпе «Малой подорожной книжки».

1525, март — в Вильне напечатан «Апостол».

1529 — королевский суд в Вильне по делу о доме Маргариты Одверник — жены Ф. Скорины; поездка Ф. Скорины в Познань в связи с делом о наследстве умершего в этом году его старшего брата Ивана.

1530, 16—26 мая — Ф. Скорина в Крулевце (Кёнигсберге), посещение князя Альбрехта Прусского.

1530, 3 июля — пожар в Вильне.

1532, февраль — май — так называемая познаньская эпопея: по вероломному обвинению в невыплате долгов брата Ф. Скорина заточен познаньским магистратом в тюрьму.

1532, 24 мая — приказ короля Жигимонта об освобождении Ф. Скорины из-под ареста.

1532, 17 июня — письменный протест Ф. Скорины познаньскому магистрату о незаконном его задержании с требованием возместить ему понесенные им материальные убытки.

1532, 21 ноября — первая привилегия, данная Ф. Скорине королем Жигимонтом.

1532, 25 ноября — вторая привилегия, данная Ф. Скорине королем Жигимонтом.

1533, вторая половина года — предполагаемая поездка Ф. Скорины в Москву и вслед за этим его отъезд в Прагу.

1535 — ф. Скорина становится садовником-ботаником короля Фердинанда I в Праге на Градчанах.

1538, 27 июня — письмо Богемской каморы королю Фердинанду I с жалобой на «мастера Франциска».

1538, 4 июля — Креме (Австрия). Письмо короля Фердинанда I Богемской каморе с повелением «мастеру Франциску, нашему садовнику в Праге», быть усерднее в посадке деревьев и цветов в парке на Градчанах.

1539, 6 февраля — Прага. Отклонение Ф. Скориной, как безосновательных, обвинений в массовой вырубке им деревьев в парке на Градчанах, о которой сообщала Богемская камора Фердинанду I.

1539, 4 апреля — Богемская камора запрашивает Фердинанда I, из каких средств выплатить долг каморы садовнику Ф. Скорине в сумме около 200 гульденов.

1541, июнь — запись летописца Вацлава Гаека из Либочан о пожаре в Праге 2 июня 1541 года, сообщающая, что в доме священника Яна из Пухова сгорел «мальчик Франтишек, сын бывшего доктора Руса».

1541 — или 1551 — смерть Ф. Скорины.

1552, 29 января — привилегия короля Фердинанда I, данная Симеону Русу с наказом своим подданным помогать ему во взыскании долгов и книг, принадлежащих его отцу Франциску Скорине.

ИЛЛЮСТРАЦИИ





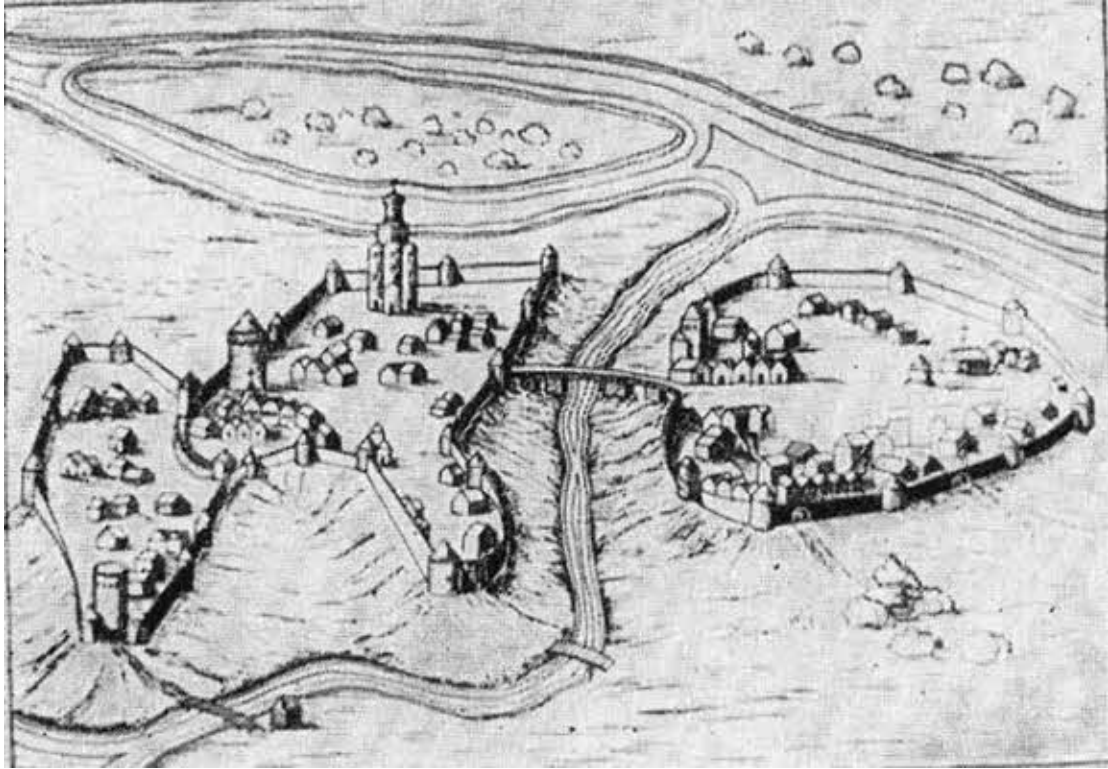
*Борисов камень или Борис-хлебник возле бывшей деревни Маковники
Верхнедвинского района.*



Софийский собор в Полоцке (Софейка). Фото В. Крука.



Горб Полоцка.



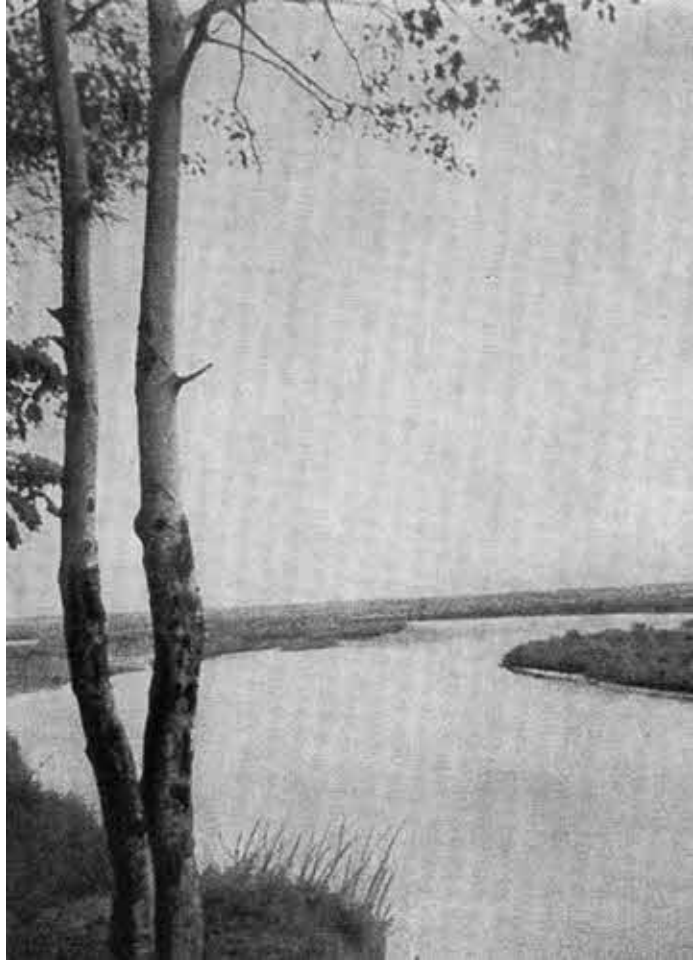
План Полоцка.



Фреска с колонны собора Свято-Ефросиньевского монастыря (между 1128—1156 гг.), предполагаемый портрет Ефросиньи Полоцкой.



Собор Свято-Ефросиньевского монастыря. Зодчий Иван.







Полоцкое Поозерье.



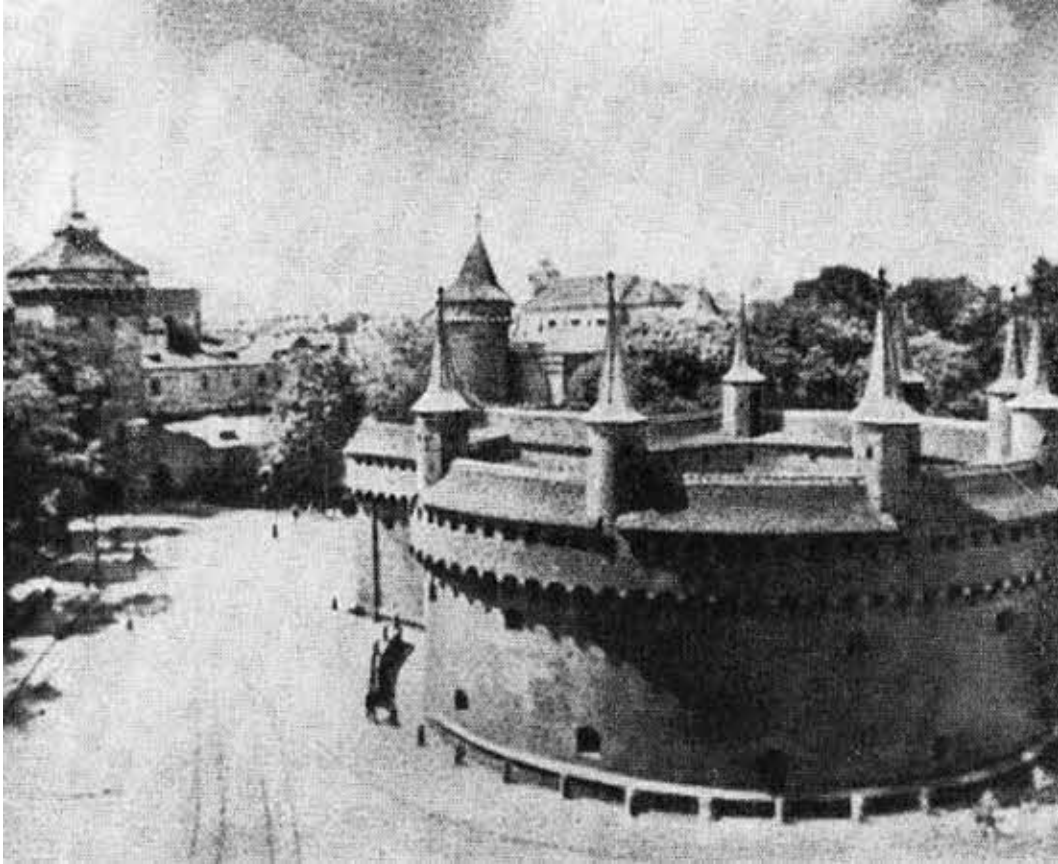
Иконка «Константин и Елена». Камень, резьба, позолота. Середина XII в.



Лазарь Бонна. Крест Ефросиньи Полоцкой. 1161 г.



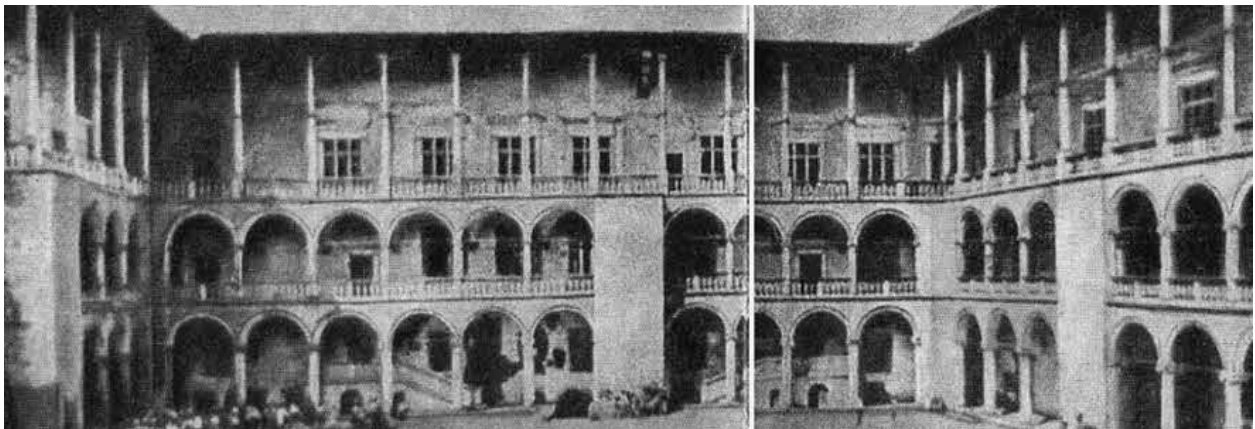
Фрагмент Пелены XVI в. Найдена в Софийском соборе в 1978 г.



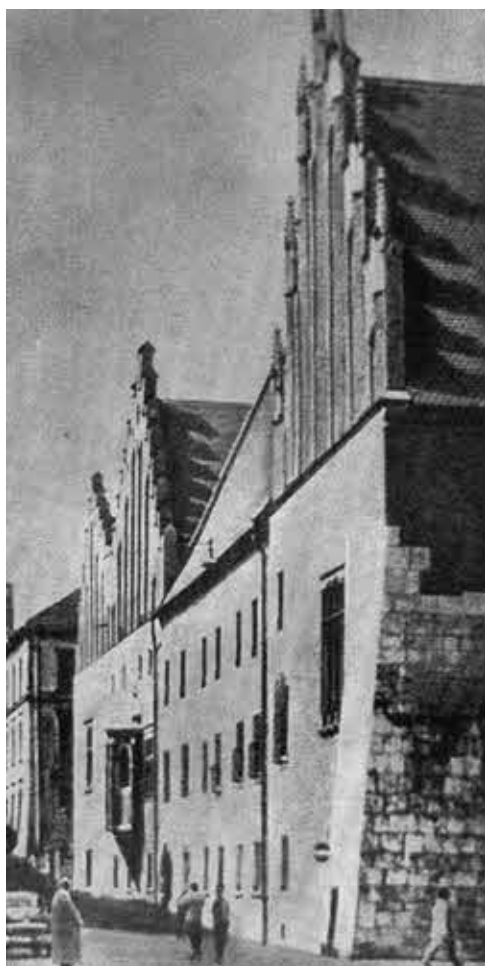
Краков. Барбакан (1498—1499 гг.). В глубине — Флорианские ворота (около 1300 г.).



Краков. Гравюра из хроники Г. Шельда. 1493 г.



Университет в Кракове.



Ягеллонский университет.



Франциск Скорина.

Поздний портрет неизвестного художника.



Ян из Глогова (учитель).



Эразм Роттердамский.

Художник А. Дюрер. Гравюра на меди. 1526 г.



Мартин Лютер.

Портрет Лукаса Кранаха. 1528 г.



Ял Гус. Портрет 1520 г.



Иоганн Гутенберг.



Николай Коперник.





Летописец.



У постели больного (фрагмент гравюры XVI в.).

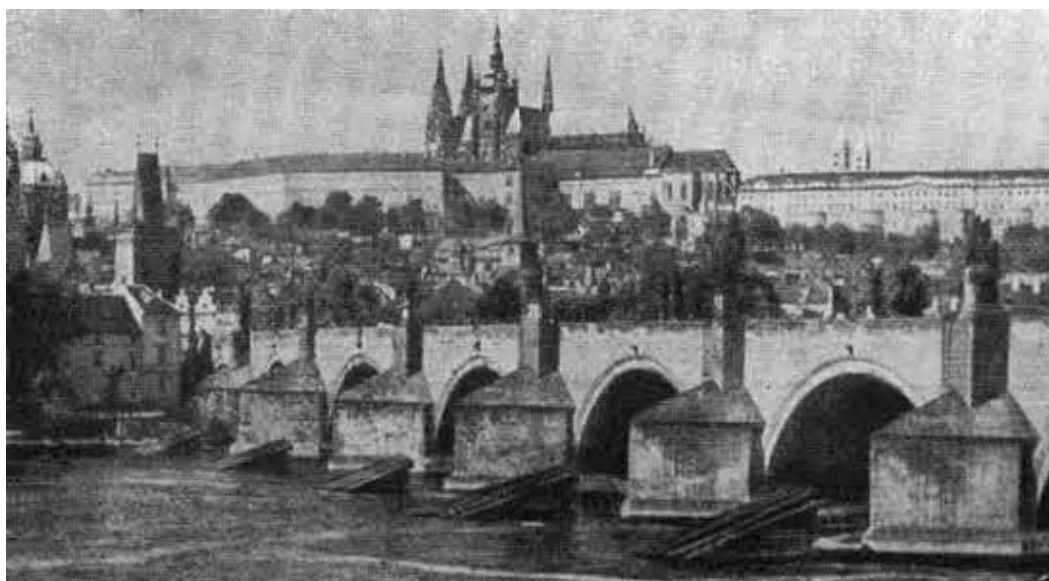


Франциск Скорина. Фреска в зале Сорока Падуанского университета.

Художник Джакомо Форно.



Прага. Гравюра из Книги хроник Гартмана Шеделя (Нюрнберг, 1493 г.).



Карлов мост сегодня.



Старое Миисто сегодня.



Теологический зал Страговской библиотеки в Праге.



В средневековой типографии.



Печатание книг методом Гутенберга в сатирическом изображении.

Французская гравюра XV в.



Титульный лист книги «Премудрость божия»,

19 января 1518 г.



Диспут. Титульный лист книги «Иисус Сирахов».

5 декабря 1517 г.



Библия русская.



Доктор Иоганн Фауст.

Портрет Гаубера. 1921 г.



Меню современной «Вальдштейнской господы».



Станьчик — шут короля Жигимонта I Старого.

Фрагмент картины Яна Матейко. 1862 г.



Пан Твардовский в старости.

Иллюстрация С. Виткевича. 1877 г.

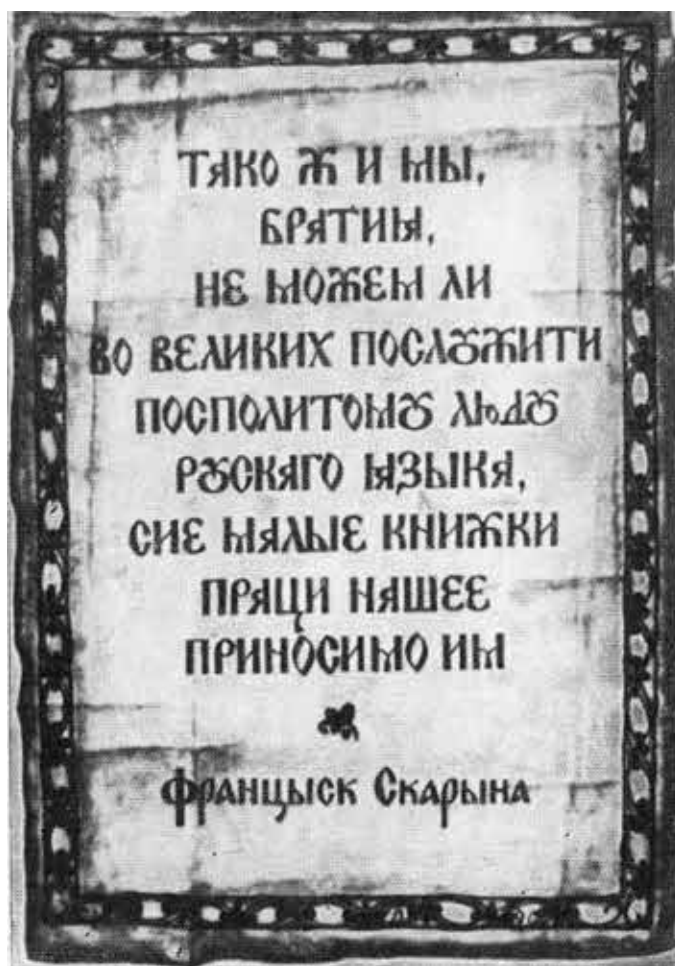




Заглавные буквицы пражских изданий Ф. Скорины.



Заставки пражских изданий Ф. Скорины



Изречение.

А ТО СЛУСТАЛО НАКЛАДЦЮ БОГДАНА ОМ
КО ВО СЫНА РАДЦЫ ЛЕБСТА ВІЛЕНСКАГО

*Надпись, сделанная от руки на первом нумерованном листе пражской
«Псалтири». 1517 г.*



Автопортрет Ф. Скорины, который впервые помещен в книге «Иисус Сирахов». 1517 г.





Вроцлав. Ратуша сегодня.



Ворота в средневековый замок в современной реставрации.



*Кафель с изображением скомороха. Вторая половина XV в. Полоцк.
Местное изделие.*



Дно бочки с гравюрой, изображающей перевоз товаров. XVI в.



Бона Сфорца, жена короля Жигимонта I Старого.



Жигмонт I.



Канцлер Гаштовт (Гаштольд). Надгробие в Виленском кафедральном костеле.



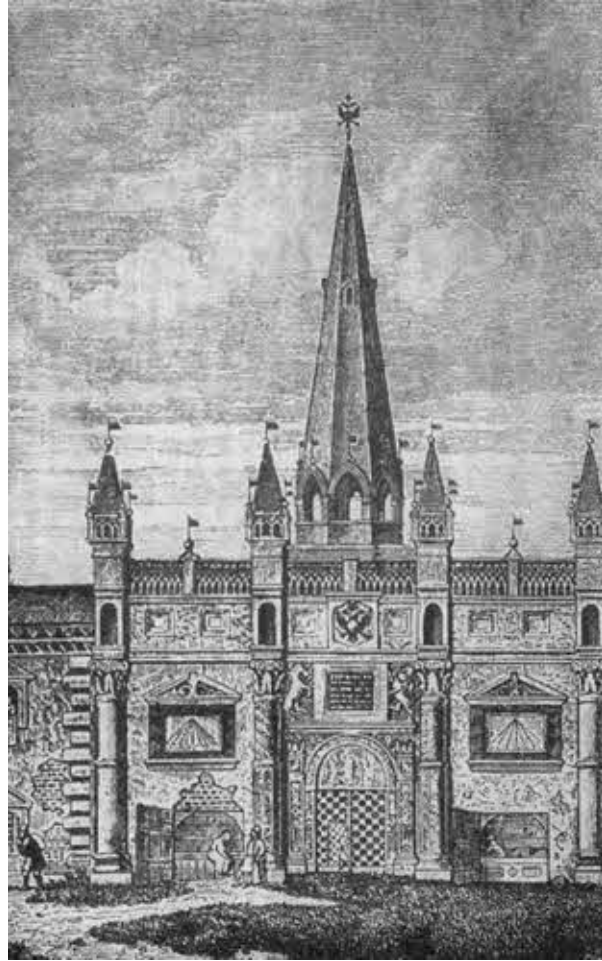
Князь Константин Острожский.



Великий князь Московский Иван III.



Великий князь Московский Василий Иванович (Василий III).



Фасад Печатного двора в Москве. Фрагмент гравюры.

КНИГИ ѿ МОИСЕОВЫ

Искадило различное вони доброе • Камени Омнхн
новые, Иное каминне драгое коокрасе ризы жече
ское, Иполицѣ еже имать быти наперсехъ жерце
выхъ • Яделаютъ ии семтину икуду пребывати
посреди и • Повсему образѣ Храма еже покажу то
бѣ, Исеихъ сосудовъ его • Ятакое ебудете делати •



ВЗОРЪ КИВОТЪ ИЛИ СКРИНИ ЗАВѢТЯ ГЛЪНЫ :-

Гравюра из книги «Исход» (л. 456).



Титульный лист книги «Руфь».

Фрагмент гравюра 1519 г.



Первый лист Виленского Апостола (1525 г.).



Сымон Будный.



Василь Тяпинский.



Иван Федоров и Петр Мстиславец на Московском печатном дворе.

С рис. Л. Моравова.



Книги, посвященные Ф. Скорине.



Скульптурное изображение Ф. Скорины.

Скульптор А. К. Глебов (1954 г.).



Ф. Скорина. Гравюра из одноименной книги М. Садковича и Е. Львова (Минск, 1966). Художник А. Т. Зайцев.



Ф. Скорина.

Гравюра художника В. Савченки



Ф. Скорина.

Художник С. П. Герус (1954 г.).



Памятник Франциску Скорине в Полоцке.

Скульпторы А. К. Глебов, И. Н. Глебов, А. М. Заспицкий, архитектор В. С. Марокин.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Александровіч С. Францыск, Скарынін сын з Полацка.— В кн.: Тут зямля такая... Мінск, Нар. асвета, 1985, с. 3—15.

Александровіч С. Х. Па слядах Францыска Скарыны: з падарожжа ў Кракаў і Прагу. — В кн.: Кнігі і людзі. Мінск, Маст, літ., 1976, с. 7—66.

Алексютовіч М. А. Скарына, яго дзейнасць і светапогляд. Мінск, АН БССР, 1958, 146 с.

Антология педагогической мысли Белорусской ССР. М., Педагогика, 1986, с. 44—55.

Анушкин А. И. Во славном месте Виленском. М., Искусство, 1962, с. 25—44.

Анушкин А. И. На заре книгопечатания в Литве. Вильнюс, Минтис, 1970, с. 22—33.

Баразна Л. Прадмова. — В кн.: Гравюры Францыска Скарыны. Альбом. Минск, Беларусь, 1972, с. 6—12 (текст на белорусском и русском языках).

Белоруссия в эпоху феодализма. Т. I. Минск, Изд-во АН БССР, 1959, с. 113—461.

Белорусский просветитель Франциск Скорина и начало книгопечатания в Белоруссии и Литве. М., Наука, 1979, 280 с.

Варбанец Н. В. Печатники-просветители в XV в. — В кн.: Федоровские чтения, 1979. М., Наука, 1982, с. 35—57.

Владимиров П. В. Доктор Франциск Скорина, его переводы, печатные издания и язык. Спб., 1888.

Gloger Zygmunt. Encyklopedia staropolska. Warszawa, Wiedza Powszechna 1978. Т. I, с. 318; т. II, с. 334; т. III, с. 350; т. IV, с. 530.

Голенищев-Кутузов И. Н. Итальянское Возрождение и славянские литературы XV—XVI веков. М., Изд-во АН СССР, 1963.

Голенченко Г. Я. Новое о Франциске Скорине. — В кн.: Проблемы рукописной и печатной книги. М., Наука, 1976, с. 133—143.

Дорошкевич В. И. Новолатинская поэзия Белоруссии и Литвы. Минск, Наука и техника, 1979, с. 30—38, 178—200.

Иван Федоров и восточно-славянское книгопечатание. Минск, Наука и техника, 1984, с. 224.

Из истории свободомыслия и атеизма в Белоруссии. Минск, Наука и

техника, 1978, с. 56—108.

Калеснік У. А. Постаць Скарыны. — В кн.: Тварэнне легенды. Минск, Маст, літ., 1987, с. 3—122.

Капыскі З. Полацк часоў Ф. Скарыны. — В кн.: 450 год беларускага кнігадрукавання. Мінск, Навука і тэхніка, 1968, с. 83-100.

Караткевіч У. Зямля над белымі крыламі. Мінск, Маст. літ., 1977, с. 67—69, 111—118.

Караткевіч У. Подзвіг Фрапцыска Скарыны. «Беларусь», 1980, № 4, с. 19.

Клышка А. Францыск Скарына, альбо як да нас прыйшла кніга. Мінск, Юнацтва, 1983.

Конон В. М. От Ренессанса к классицизму: Становление эстетической мысли в Белоруссии в XVI—XVIII вв. Минск, Наука и техника, 1978, с. 13, 31—53, 65, 71, 75, 80, 112—114.

Коршунов А. Ф., Чемерицкий В. А. Франциск Скорина. — В кн.: История белорусской дооктябрьской литературы. Минск, Наука и техника, 1977, с. 95—119.

Kosman Marceli. Królowa Bona. Warszawa, Książka i Wiedza, 1971.

Майхровіч С. Георгій Скарына. Мінск, Беларусь, 1966.

Мироцицкий Л. П. Белорусско-чехословацкие культурные и научные связи. Минск, Наука и техника, 1981, с. 9—16.

Немировский Е. Л. Начало книгопечатания в Белоруссии и Литве. Жизнь и деятельность Франциска Скорины: Описание изд. и указ. лит. 1517—1977. М., Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, Отд. ред. кн., 1978.

Немировский Е. Л. Иван Федоров. М., Наука, 1985.

Никольский Н. М. История русской церкви. М., Изд-во политич. лит., 1983.

Османская империя и страны центральной, восточной и юго-восточной Европы в XV—XVI вв. М., Наука, 1984.

Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. М., Изд-во АН СССР, 1959.

Первый Литовский статут. Палеографический и текстологический анализ списков. Часть первая. Вильнюс, Минтис, 1983.

Подокшин С. А. Скорина и Будный. Минск, Наука и техника, 1974.

Подокшин С. А. Франциск Скорина. М., Мысль, 1981.

Полное собрание русских летописей. Том тридцать второй. Хроники: Литовская и Жемойтская, и Быховца. Летописи: Баркулабовская, Аверки и Панцырного. М., Наука, 1975.

Полное собрание русских летописей. Том тридцать пятый. Летописи

белорусско-литовские. М., Наука, 1980.

Полоцкие грамоты XIII — начала XVI в. Подготовка и комментарий А. Л. Хорошкевич. Часть I, 1977; часть II, 1978; часть III, 1980.

Прашковіч М. Францішак Скарына — беларускі першадрукар. Минск, Нар. асвета, 1970.

Слоўнік мовы Скарыны. Том I. Мінск, Вышэйшая школа, 1977.

Слоўнік мовы Скарыны. Том II. Мінск, Вышэйшая школа, 1984.

Флароускі А. В. *Scoriniana*. — В кн.: 450 год беларускага кнігадрукавання. Мінск, Навука і тэхніка, 1968, с. 399—433.

Францыск Скарына. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Минск, Навука і тэхніка, 1988.

Францыск Скарына. Прадмовы і пасляслоўі. Мінск, Навука і тэхніка, 1969.

Штыхов Г. В. Города Полоцкой земли (IX—XIII вв.). Минск, Наука и техника, 1978.

Царанкоу Л. А. Францыск Скарына і яго час. Мінск, Выд-ва БДУ імя У. І. Леніна, 1975.

Cemerickii V., Golencenko S., Hmatov V. Francisk Scorina. Paris: UNESCO, 1979, s. 54—63.

INFO

Лойко О. А.

Л 72 Скорина / Авториз. пер. с белорус, Г. Бубнова. — М.
:Мол. гвардия, 1989. — 349[3] с., ил. — (Жизнь замечат. людей.
Сер. биогр. Вып. 2 (693)).

ISBN 5-235-00675-5 (2-й з-д)

Л 4702010200—022/078(02)—89 КБ—012—024—88
ББК 76.11

notes

Примечания

1

Выделение *р а з р я д к о й*, то есть выделение за счет увеличенного расстояния между буквами заменено курсивом. (не считая стихотворений).
— Примечание оцифровщика.

Голубница — чердачная пристройка с помещением для хранения книг. В Житии Евфросинии Полоцкой, в его рукописном списке XIV столетия, хранящемся в Ленинградской публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина (см: *Погодин*, 869. Сборник, лл. 318 об. — 332 с.), есть сведение и о том, что Евфросиния просила епископа Илью поселить ее «во церкви святыя Софии и каменная, в голубници», где она «и пача книги писати своими руками».

Поспольство, посполство, посполитость, посполитый, посполу — слова, широко представленные в лексиконе Франциска Скорины и имеющие самые разные значения. Так, в самом общем смысле слово «поспольство» обозначает ныне, как и во времена Ф. Скорины, именно общественность феодального города, мирян, ремесленников и купечество, но не магнатов и шляхту или бояр, как назывались дворяне в средневековом Полоцке. В конкретных же случаях у Ф. Скорины слово «поспольство» употреблялось то для обозначения всего города, то лишь простого народа, черни; «посполитость» имело значение ежедневности, будничности; «посполитый» — простого человека; «посполу» — наречие, обозначающее вместе, совместно, сообща.

Кирилл Туровский (около 1130 — не позднее 1182) — древнерусский писатель, епископ г. Турова, просветитель периода Киевской Руси, красноречивый проповедник, автор ряда возвышенно-поэтических «слов» или поучений, за которые он обрел у своих современников прозвище: «Златоуст, паче всех воссиявший нам на Руси».

Опечатка в оригинале.

Денник — хозяйственный двор.

Ганза — торговый и политический союз северонемецких городов в XIV—XVI столетиях во главе с Любеком, осуществлявший посредническую торговлю между западной, северной и восточной Европой.

8

Лашт — весовая мера: 1800—2000 кг.

Одамашек (*старобел.*). — цветастая ткань из Дамаска.

10

Трудом (бел.).

Кирилл и Мефодий — братья, славянские просветители, создатели славянской азбуки, проповедники христианства. Кирилл (около 827—869), Мефодий (около 815—885). Впервые перевели с греческого на старославянский язык отдельные богослужебные книги. В средневековье на Руси язык их книг назывался славянским; Ф. Скорина называл его словенским.

Гутенберг Иоганн (около 1400—1468) — немецкий изобретатель книгопечатания. В середине XV века в Майнце напечатал так называемую 42-строчную Библию — первое полнообъемное печатное издание в Европе, признанное шедевром ранней печати.

Дюрер Альбрехт (1471—1528) — немецкий живописец и график. Основоположник искусства немецкого Возрождения (серия гравюр «Апокалипсис» появилась в 1498 г.).

Сотнями в средневековом Полоцке назывались улицы, концами — кварталы посадов.

Ефросиния Полоцкая (мирское имя Предслава; около 1120—1173) — княжна, игуменья монастыря Спаса в Полоцке, просветительница периода Киевской Руси. Паломничала в Иерусалим, где и умерла.

Франциск Ассизский (1181 или 1182—1226) — итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев.

Заимели (некий скарб).

К равным.

Небольшой круглый щит.

Свет Фаворский — сияние на горе Фавор, по библейским легендам, озарявшее лицо Христа при его вознесении на небеса.

По правую руку (*устар.*).

По левую руку (*устар.*).

Фемида, Фортуна, Фама — в римской мифологии богини правосудия, судьбы, славы.

Наместники, воеводы, тиуны, войты — административные и военные чины и должности: наместник — управитель того или иного региона, назначавшийся королем; воевода — в XVI веке глава воеводства; тиун (тивун) — представитель низовой сельской администрации, назначаемый феодалом главным образом из зажиточных крестьян, в обязанности которого входило распределение и сбор повинностей, а также контроль за исполнением работ на панском дворе; войт — глава городской или сельской администрации, назначаемый великим князем или феодалом-землевладельцем.

Ян Глоговчик (Ян из Глогова) — профессор Краковского университета. Преподавал философию Аристотеля, астрономию, латинский язык. Умер в 1507 году в Кракове.

Матей из Мехова (Меховит) — (1457—1523) — профессор Краковского университета, медик, историк, выдающийся польский географ XVI столетия.

Ян из Стобницы (Стубницы) — профессор Краковского университета (до 1520 года). Преподавал географию, философию, риторику. Умер около 1530 года.

Альба — по-латыни «белое», альбарусский — белорусский.

«Трактат о двух Сарматиях» (лат.).

«Введение в географию Птолемея» *(лат.)*.

Так в средневековье называли эпилепсию.

Иосиф Волоцкий (Иван Санин, 1439 или 1440— 1515) — основатель и игумен Иосифо-Волоколамского монастыря. Возглавлял борьбу с новгородско-московской ересью.

Стефан Пермский (около 1345—1396) — епископ Пермской епархии, автор антиеретических произведений.

Вульгарный язык (*лат.*).

Замечания на полях (*старобел.*).

Жанна д'Арк (около 1412—1431) — народная героиня Франции, сожженная на костре в Руане.

Ян Гус (1369—1415) — национальный герой чешского народа, идеолог чешской Реформации. Осужден церковным собором в Констанце и сожжен.

Иероним Пражский (около 1380—1416) — чешский реформатор, ученый, оратор. Осужден как еретик, погиб на костре.

Доктор гуманитарных наук (*лат.*). Дословно *artium* — художественных; в средневековье гуманитарные науки обычно назывались «вызволёнными», то есть свободными, — отсюда ученые ступени магистра свободных наук, доктора свободных наук.

В ясырь — то есть в плен, на чужбину угонялось крымскими татарами пленное мирное население, подвергшееся разграблению и разорению.

Лех — предок поляков.

Ягайло (Ягелло) Владислав (около 1350—1434) — великий князь литовский, с 1386-го — также и король польский, ставший им в результате заключения с Польшей Кревской унии (в белорусском замке Крево). Уния была матримониальной: Ягайло взял себе в жены польскую королеву Ядвигу. В Грюнвальдской битве (1410 г.) командовал польско-литовско-русской армией.

По торным дорогам безопасней ходится (*лат.*).

Лютер Мартин (1483—1546) — деятель Реформации в Германии. Родился и умер в Айслебене в Тюрингии. Основатель протестантизма. Положил начало Реформации, прибив к дверям замкового костела в Виттенберге 95 тезисов против индульгенций (31 октября 1517 г.). Перевел на немецкий язык Библию (1534).

Весельчак, балагур (*фр.*).

Дискуссия (лат.).

Главный капитан.

Десять джулио составляли одно скудо.

Прекрасная Франческа!
Прекрасная Франческа! (*итал.*).

Александр Невский (1220—1263) — князь новгородский в 1236—1251 г., великий князь владимирский с 1252 года. Сын князя Ярослава Всеволодовича. В 1240 году выиграл битву со шведами на Неве, в 1242-м — разгромил немецких рыцарей в Ледовом побоище. Обезопасил западные границы Руси.

Рогнеда (год рождения неизвестен — 1000) — дочь полоцкого князя Рогволода, жена великого князя Киевского Владимира Святославича, мать князя Изяслава Владимировича, Ярослава Мудрого и родоначальница полоцкой ветви Рюриковичей.

Владимир Святославич (год рождения неизвестен — 1015) — князь новгородский (969), великий князь киевский (980), сын Святослава Игоревича. Ввел в качестве государственной религии христианство в 988—989 гг. При Владимире Святославиче древнерусское государство достигло своего расцвета. В русских былинах называли Красное Солнышко.

Витовт (1350 — 27.10.1430) — князь гродненский, трокский, великий князь литовский (1392—1430), сын Кейстута. Трижды вторгался в Московское княжество, захватил Смоленск.

Андрей Полоцкий (до принятия христианства Вингольт; 1325—1399) — князь. Княжил в Пскове, Полоцке. Сын Ольгерда. Служил великому князю Витовту. Участник Куликовской битвы и походов против Ливонского ордена. Боролся за литовский престол. Погиб в бою с татарами.

Иван III Васильевич (1440—1505) — великий князь московский (1462). Сын Василия II. В правление Ивана III сложилось территориальное ядро единого Российского государства, присоединил Ярославль, Новгород, Вятку, Пермь и др. При нем было свергнуто монголо-татарское иго. Составлен «Судебник» (1497 г.). Вырос международный авторитет Российского государства, произошло оформление титула — великий князь «всея Руси».

Святослав Иванович (год рождения неизвестен — 1386) — смоленский князь, был казнен князем Витовтом.

Весы (*старобел.*).

Миски на весах (*старобел.*).

Каспийскому.

Балтийскому.

«За» здесь в смысле «при».

Забрезинский Ян Юрьевич (год рождения неизвестен — 1506) — магнат, наместник, полоцкий, воевода трокский, наместник гродненский.

«Что это не мещане проявляют такую фальшь и неучтивость, но боярские люди. И мы, виновных найдя, покарали!..» (*старобел.*).

«Государь-король наш знает, как за свое стоять», «есть у нас государь, есть кому нас защитить» (*старобел.*).

Глинский Михаил Львович (1470—1534) — князь. Учился в Италии, Германии, Испании. Влиятельный политик как при дворе польского короля Александра, так и великого князя московского, царя Василия III.

Острожский Константин Иванович (около 1460—1530) — военачальник Великого княжества Литовского, с 1497-го — гетман, с 1511-го — кастелян виленский, с 1522-го — воевода трокский.

Гедиминовичи — княжеский род, основателем которого был Гедимин (год рождения неизвестен — 1341) — великий князь. Внук его Ягелло стал основателем польской королевской династии Ягеллонов. На Руси княжеская ветвь, вторая по знатности после Рюриковичей.

Коперник Николай (1473—1543) — польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира.

Птолемей Клавдий (ок. 90 — ок. 160) — древнегреческий астроном, создатель геоцентрической системы мира. Разработал математическую теорию движения планет вокруг неподвижной Земли, позволявшую предвычислить их положение на небе.

Макиавелли Никколо де Бернардо (1469— 1527) — итальянский мыслитель, государственный деятель, писатель.

Не разрешаю! (*польск.*) Протестую! Ничего нового! (*лат.*).

Вальный сейм — всеобщий сейм, собиравшийся после региональных и местных в городе, определенном королем.

«Ничего нового» (*лат.*).

Скажу (*полъск.*).

Молись и трудись! (*лат.*).

Значит! (лат.).

Соломон — о семантике имени «Соломон» сам Франциск Скорина в «Предисловии к притчам премудрого Соломона, царя Израилева» писал: «Выкладывается же руским языком Саломон еже ест мирный или спокойный...» («По-русски имя Соломон означает мирный или спокойный...»).

Тезисы (*лат., разговорн.*).

Думай о развороте темы, слова сами придут! *(лат.)*.

Курсус планус — ритмическое завершение фразы, когда два заключительных слова имеют ударение на предпоследнем слоге, притом последнее слово должно состоять из трех слогов.

Курсус велокс — ритмическое завершение фразы, когда заключающее слово состоит из четырех слогов и имеет ударение на предпоследнем слоге, а предыдущее — на третьем от конца.

О душе (лат.).

Их.

Толеранция — терпимость к чужим мнениям и верованиям (*лат.*).

В мужском роде (*лат.*).

Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832) — выдающийся немецкий поэт и мыслитель.

Петуха (бел.).

Джордано Бруно (1548—1600) — итальянский философ-материалист. 17 февраля 1600 года сожжен римской инквизицией на площади Цветов в Риме.

Казимир Лыщинский (1634—1689) — белорусский атеист, казненный инквизицией в Варшаве.

Джироламо Савонарола (1452—1498) — настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции. Выступал против тирании Медичи, обличитель папства.

Мигель Сервет (1509 или 1511—1553) — испанский ученый, мыслитель, врач. Обвинен в ереси, сожжен на костре.

Бедби Джон — реформатор, последователь Уиклифа Джона.

Уиклиф Джон (между 1320—1384) — английский реформатор, идеолог бюргерской ереси, предшественник Реформации.

Мюнцер Томас (около 1490—1525) — немецкий революционер, идеолог народного течения в Реформации, предводитель крестьян и городского плебса в крестьянской войне 1524— 1525 гг. в Германии.

Архимед (около 287—212 гг. до н. э.) — великий математик Древней Греции.

Меланхтон (Филипп Шварцерд, 1497—1560) — профессор Виттенбергского университета, друг Мартина Лютера.

См.: Францыск Скарына. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Мінск, Навука і техника, 1988, с. 79—80.

«Вознесите сердце!» (*лат.*).

В средневековой Польше форма приветствия.

Зимний объезд на санях шляхетской округи шляхетскими гостями
(польск.).

«Судьба каждого в его руке!» (*лат.*).

Альбрехт Прусский (1490—1568) — немецкий князь, двоюродный брат Жигимонта I. С 1511 до 1525 года — великий мистр крестоносцев, с 1525 — первый князь прусский.

103

Мужественный, храбрый (*полонизм*).

Непорочная, целомудренная (*полонизм*).

Пока! (*польск.*) — в смысле: пусть будет так!

Василий III Иванович (1479—1533) — великий князь московский (1505—1533), сын Ивана III. Завершил объединение Руси вокруг Москвы присоединением Пскова (1510), Смоленска (1514), Рязани (1521).

Иван IV Васильевич Грозный (1530—1584) — великий князь всея Руси (с 1533), первый русский царь (1547), сын Василия III. При нем покорены Казанское (1552) и Астраханское (1556) ханства. Создана 1-я типография в Москве.

Чоповое — налог на выручку от продажи водки. Чоп — затычка в бочке (*старобел.*).

Магдебургское право (майдеборское право) — феодальное городское право. Юридически закрепило права и свободы горожан, их право самоуправления. Жители городов, получивших его от короля, освобождались от феодальных повинностей, от суда и власти воеводы, старост и других государственных служебных лиц. На основе полученного магдебургского права в городе образовывался избранный орган самоуправления — магистрат, возглавляемый бургомистром. Возникло в XIII веке в немецком городе Магдебурге. В XIII—XVIII вв. распространенным было в Польше, на Украине, в Литве и Белоруссии. Полоцк получил магдебургское право в 1498 году, которое подтверждалось королем Жигимонтом I в 1509 году. Магистрат Полоцка состоял из 24 выборных членов, так называемых радцев или радников, 12 из которых было православного вероисповедания, 12 — католиками. В функции магистрата входила организация ремесленного производства, торговли, реальное осуществление общего городского самоуправления цеховыми объединениями ремесленников и купечества, то есть посполством.

110

Дания (*лат.*).

Валахия (*лат.*).

Эразм Роттердамский (1469—1536) — нидерландский ученый-гуманист, писатель, филолог, богослов, виднейший представитель северного Возрождения.

Фиоль Швайпольт — основатель первого печатного двора для славянских книг кириллицей (Краков, около 1490 г.).

Щедрый (*польск.*).

Деньги не пахнут! (лат.)

Врата Небес (*лат.*).

Больше разумом, чем силой (*лат.*).

Дмитрий Иванович Донской (1350—1389) — великий князь московский с 1359-го и великий князь владимирский с 1362 года. Сын Ивана II. При нем в 1367 году построен белокаменный Кремль в Москве. Возглавил вооруженную борьбу русского народа против монголо-татар, руководил их разгромом в битве на реке Воже (1378). В Куликовской битве (1380) Дмитрий проявил выдающийся полководческий талант, за что был прозван Донским.

Подорожный налог.

Солдатам (бел.).

Учит жизнь, а не школа! (*лат.*)

Заря народного признания? (*лат.*)

123

Для добра посполитого? (*лат.*)

В надежде? (лат.)

Где богатство, там друзья? *(лат.)*

Золотом отмыкается все? *(лат.)*

Изыди, сатана! (*лат.*)

Весовой (*старобел.*).

Фабрика сукна (*старобел.*).

Лес (польск.).

131

Двойное пиво (нем.).

Раздражать (*старобел.*).

Делал выводы (*польск.*).

Часть города.

Стригольники — участники еретического движения, распространившегося в Новгороде и Пскове еще в 70-х годах XIV в. Ими были преимущественно ремесленники, стригущие сукно и бархат (отсюда название «стригольники»), мелкое купечество и низы духовенства — дьяконы.

«Жидовствующие» — новгородская ересь конца XV века. По преданиям, занесена в Новгород евреем Зхария, приехавшим сюда в 1477 году из Киева со свитой князя Михаила Олельковича.

Ярослав Мудрый (около 978—1054) — великий князь киевский с 1019 года. Сын Владимира I. Рядом побед обезопасил южные и западные границы Руси. Установил династические связи с многими странами Европы.

Торговыми ячейками (*бел.*).

Гусовский Микола (около 1480 — после 1533) — поэт-латинист, один из крупнейших поэтов эпохи Возрождения, родом из Белой Руси.

Специально созываемый суд для решения более значительных, криминальных дел, тяжб, исков.

В чью пользу? (лат.)

Пашкевич Ян Казимир — белорусский поэт XVII столетия.

Польша цветет латынью,
Литва цветет славянщиной,
Без этой в Польше не прожить,
Без сей в Литве шутом прослыть... (*старобел.*).

Максим Грек — публицист, писатель, переводчик, филолог. В 1518 году приехал в Русское государство.

Вежливость рождает приятелей, а правда — ненависть (*лат.*).

Лицо — образ души (лат.).

Гиппократ (около 460—377 гг. до п. э.) — врач Древней Греции, один из основоположников античной медицины.

Гален Клавдий (около 130 — около 200) — римский врач и натуралист, автор многих книг по философии, логике и медицине.

Авиценна (Ибн Сина Абу Али) (около 980—1037) — философ, врач, естествоиспытатель и поэт восточного средневековья.

Деклинация — склонение.

Доктор по латыни — значит «учитель», «наставник».

Неузнанное не угнетает (*лат.*).

Троица (*гебрайский, древнееврейский*).

Роца (бел.).

Золотой дождь (*чешек.*).

Диспут о душе (*лат.*).

Вежливо, благочестиво (*старобел.*).

Обманщик (*старобел.*).

Первое (нем.).

Басни, небылицы (*польск.*).

Никогда (*польск.; бел. диалект.*).

Молись и трудись! Молись и трудись!., (*лат.*)

Молись! Будь благословенна, набожная душа! *(лат.)*

Игорь Святославич (1150—1202) — князь новгород-северский (с 1178), черниговский (с 1199). В 1185 году организовал неудачный поход против половцев, послуживший темой «Слова о полку Игореве».

Нестор — древнерусский писатель, летописец XI — начала XII вв., монах Киево-Печерского монастыря.

Рабле Франсуа (1483 или около 1494—1553) — французский писатель-гуманист. Пятитомный роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» — энциклопедический памятник культуры французского Возрождения.

Фома Аквинский (1225 или 1226—1274) — философ и теолог. Монах-доминиканец, систематизатор схоластики на базе христианского аристотелизма.

«Мир Божий» — название закона, установленного Ватиканом в XI веке, по которому феодалам 230 дней в году запрещалось воевать.

Пылающую (*фр.*).

«Надлежит уничтожить Карфаген... надлежит уничтожить свободы польские!» (*лат.*),

Иди в добрый час! (*лат.*)

Падовано Ян Мария (около 1493—1574) — итальянский скульптор, работавший на Вавеле приблизительно с 1532 года.

Конец (*лат.*).

Все, из трех состоящее, превосходно (*лат.*).

Конец венчает дело (*лат.*).

Правда — посередине (*лат*).

Заря срединная (лат).

Дж. Бруно. Из «Ста шестидесяти тезисов против математиков и философов нашего времени». Впервые были изданы в 1588 году в Праге.

Кампанелла Томмазо (1568—1639) — итальянский философ, поэт, политический деятель.

Будный Сымон (1530—1593) — белорусский гуманист, реформационный деятель и просветитель. Продолжатель дела Ф. Скорины, напечатавший в 1562 году в Несвиже в своем переводе на старобелорусский язык «Катехизис», «Об оправдании грешного человека перед богом» и другие произведения.

Тяпинский (Амельянович) Василий Николаевич (около 1540 — около 1604) — белорусский гуманист и радикально-реформационный деятель, продолжатель дела Ф. Скорины, напечатавший в своем переводе Евангелие (около 1580).

«Благородный, славный, остроумный, веселый народ» (*старобел.*).

Писарь в пренебрежительном смысле, писаришка, писака (*лат.*).

Так в средневековой Европе называли осужденных королями на изгнание.

Железный обод.

Эпиграммами (*польск.*).